СЕРИЯ «ШОРТ-ЛИСТ»



Чигози Обиома

Рыбаки

Рыбаки
Чигози Обиома

Аннотация
Чигози Обиома. Рыбаки
1. Рыбаки
2. Река
3. Орел
4. Питон
5. Метаморфоза
6. Безумец
7. Сокольник
8. Саранча
9. Воробушек
10. Грибок
11. Пауки
12. Ищейка
13. Пиявка
14. Левиафан
15. Головастик
16. Петухи
17. Мотылек
18. Белые цапли
Благодарности

Аннотация

Четверо братьев из нигерийского города Акуре, оставшись без надзора отца — тот уехал работать на другой конец страны, ходят рыбачить на заброшенную реку, пользующуюся у местных жителей дурной славой. Однажды на пути домой братья встречают безумца Абулу, обладающего даром пророчества. Люди боятся и ненавидят Абулу, ведь уста его — источник несчастий, а язык его — жало скорпиона… Безумец предсказывает Икенне, старшему брату, смерть от руки рыбака: одного из младших братьев. Прорицание вселяет страх в сердце Икенны, заставляя его стремиться навстречу року, и грозит разрушением всей семье.

В дебютном романе Чигози Обиома показывает себя гениальным рассказчиком: его версия библейской легенды о Каине и Авеле разворачивается на просторах Нигерии 1990-х годов и передана она восхитительным языком, отсылающим нас к сказкам народов Африки.

Чигози Обиома
Рыбаки

«Батальону», моим братьям (и сестрам), посвящается
Заслышав поступь одного, толпа в бегство не обратится.

Пословица народа игбо

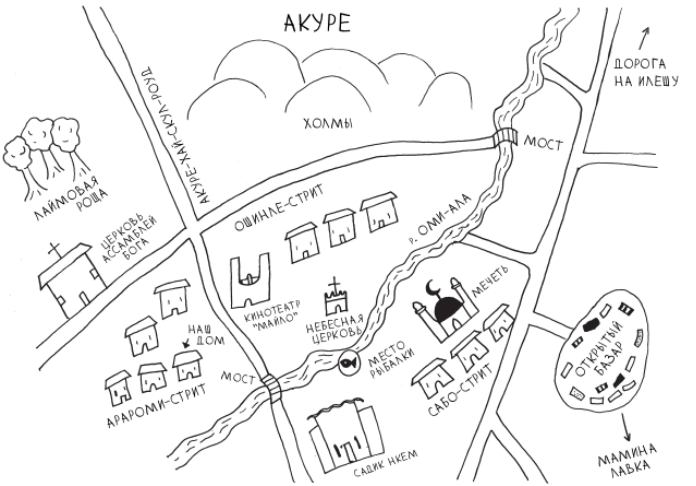
Безумец принес в наш дом жестокость
Осквернив священные места
Назвавшись глашатаем высшей истины
Железом подчинив наших первосвященников
Ах! да, детей,
Что топтали могилы наших дедов,
Поразит безумие.
Отрастут у них зубы ящериц
На наших глазах пожрут они друг друга
И по завету предков
Нельзя останавливать их!

Мазиси Кунене[1]

[1] Примечания: 1
© Мазиси Реймонд Кунене (1930–2006), зулусский поэт и критик.

The Fishermen © by Chigozie Obioma, 2015
Illustrations © 2015 Jon Gray
© Абдуллин Н., перевод, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *


АКУРЕ
ДОРОГА НА ИЛЕШУ
ХОЛМЫ
МОСТ
АКУРЕ-ЭКЭНЭ-СКЭЛЬ-РОУД
ЛАЙМОВАЯ РОЩА
ЦЕРКОВЬ АССАМБЛЕЙ БОГА
ОШИНЛЕ-СТРИТ
Р. ОМИ-АЛА
КИНОТЕАТР "МАЙЛО"
НЕБЕСНАЯ ЦЕРКОВЬ
МЕЧЕТЬ
НАШ ДОМ
МЕСТО РЫБАЛКИ
МОСТ
АРАРОМИ-СТРИТ
САБО-СТРИТ
ОТКРЫТЫЙ БАЗАР
САДИК НКЕМ
МАМИНА ЛАВКА

1. Рыбаки

Мы были рыбаками.

Я и мои братья стали рыбаками в январе 1996-го. Отец тогда уехал из Акуре, города на западе Нигерии, где мы прожили всю жизнь. В первую неделю ноября предыдущего года начальство — а работал отец в Центральном банке Нигерии — перевело его в отделение в городе Йола, что на севере страны. До Йолы — огромное, верблюжье, расстояние, больше тысячи километров.

Помню вечер, когда отец вернулся с письмом о переводе; была пятница. Всю ночь потом и всю субботу родители шептались, точно священники, — а утром воскресенья маму было не узнать. По дому она ходила, точно мокрая мышь, отводила глаза. В церковь не пошла, осталась дома: стирала и гладила отцовскую одежду. На лице у нее при этом было непроницаемое мрачное выражение. Ни отец, ни мать не сказали ни слова — ни мне, ни моим братьям: Икенне, Бодже и Обембе, — а мы ни о чем не спрашивали. Понимали: когда два стража нашего дома, отец и мать, вот так замыкаются в молчании — как замыкают-

ся створки сердечных клапанов, удерживающих кровь, — то стоит задеть их, и дом затопит. В такие дни мы с братьями старались не высовываться в гостиную, где на четырехуровневой этажерке стоял телевизор; мы сидели по комнатам: делали уроки или же притворялись, что делаем. Мы тревожились, но вопросов не задавали. Хотя и прислушивались к звукам из гостиной, желая понять, что же все-таки происходит.

К ночи воскресенья до нас начало кое-что долетать. Крохи информации выпадали из монологов матери, как перья из хвоста пушистой птицы.

— Что это за работа такая, если заставляет отца бросить воспитание сыновей? Да будь у меня семь рук, разве же я управлюсь одна с этой оравой?

Хотя мать не обращалась ни к кому конкретно, ее беспокойные вопросы несомненно предназначались отцу. Тот сидел в глубоком кресле, спрятавшись за выпуском любимой газеты «Гардиан»; мать он слушал вполуха, однако слышал все до последнего слова. Он всегда оставался глух, когда к нему обращались не напрямую, и считал, что это «трусливые слова». Как ни в чем не бывало он продолжал читать, лишь изредка выдавая порцию громких комментариев, то возмущаясь, то радуясь написанному в газете: «Если есть в

мире справедливость, то эта ведьма, жена Абачи, скоро будет оплакивать мужа» или: «Ох ты, Фела[2] — просто бог! С ума сойти!», или: «Рубена Абати[3] давно пора уволить!» Что угодно, лишь бы показать матери: причитает она впустую, ее нытье никому не интересно.

Перед отбоем Икенна, которому было почти пятнадцать и который растолковывал для нас большинство вещей, предположил, что отца переводят. Боджа, на год младше Икенны, почувствовал бы себя дураком, если бы у него не оказалось своего мнения, и поэтому сказал: отца, наверное, отправляют «на Запад» (этого мы всегда ждали со страхом). Обембе, которому было одиннадцать — на два года больше, чем мне, — промолчал. Я тоже не нашел слов, однако долго ответов ждать не пришлось.

Мы все узнали на следующее утро. В комнату, которую мы делили с Обембе, внезапно вошел отец, одетый в коричневую футболку. Он снял очки и положил их на стол — жест означал, что

---

[2] Примечания: 2

* Олуфела Олусегун Олудотун Рансоме-Кути (1938–1997), нигерийский музыкант.

[3] Примечания: 3

Рубен Абати (р. 1965), нигерийский журналист, общественно-политический деятель.

отец требует внимания.

— Сегодня я уезжаю в Йолу и буду жить там, а вы не вздумайте доставлять матери хлопот. — Он скорчил гримасу, как всегда, когда хотел спустить на нас гончих страха. Говорил отец медленнее и громче обычного. Его глубокий голос вколачивал слова, как голгофские гвозди, в доски нашего разума. Если мы все же провинимся, одной простой фразой: «Я ведь предупреждал» — он заставит нас вспомнить этот момент и свои наставления в малейших деталях.

— Я буду постоянно звонить, и если мать сообщит плохие новости… — он для пущей выразительности поднял палец — …о любой выходке, не миновать вам Воздаяния.

«Воздаяние» — слово, призванное подчеркнуть серьезность угрозы и неотвратимость кары, — он произнес с таким жаром, что вены на висках вздулись. Этим словом отец часто завершал свою речь. Достав из нагрудного кармана пиджака две банкноты в двадцать найр, он кинул их на наш письменный стол.

— Это вам на двоих, — сказал отец и вышел.

Мы с Обембе по-прежнему сидели на кровати, гадая, что бы все это могло значить, когда с улицы донесся голос матери. Говорила она так громко,

будто отец уже был далеко:

— Эме, не забывай: у тебя сыновья. Их воспитывать и воспитывать!

Она еще говорила, когда отец завел мотор своего «Пежо-504». Мы с Обембе выскочили наружу, однако машина уже выезжала за ворота. Отец уехал.

Всякий раз, стоит подумать о случившемся и о том, что это было последнее утро, проведенное нами вместе единой семьей, которой мы всегда были, мне хочется — даже сейчас, спустя два десятка лет, — чтобы отец не уезжал, чтобы ему не приходило письмо о переводе. Пока отец не получил его, все было на месте: он по утрам уходил на работу, а мать, которая держала на рынке лавку свежих продуктов, присматривала за мной, моими братьями и сестренкой. Мы, как и прочие дети из большинства семей в Акуре, учились в школе. Все шло своим чередом, мы почти не задумывались о прошлом, и время для нас ничего не значило. Тянулись дни, в пыльном в засушливую пору небе проплывали облака, и солнце не заходило до позднего вечера. В сезон дождей полгода кряду непрерывным потоком сверху лилась вода; небо корчилось в конвульсиях грозы, и словно чья-то невидимая рука малевала в нем

расплывчатые полотна. Все следовало устоявшемуся порядку, и дни попросту не запоминались. Значение имели только настоящее и обозримое будущее. Обрывки его зачастую проносились по рельсам надежды с оглушительным слоновьим ревом, точно локомотив, в сердце которого — черный уголь. А порой проблески будущего мелькали во снах или в потоке фантазий, шептавших: *я стану летчиком, президентом Нигерии, богачом, у меня будут свои вертолеты*, — ибо мы сами создавали его. Оно было как чистый холст — рисуй что захочешь. Переезд отца изменил порядок вещей: время, смена сезонов и прошлое внезапно обрели значение; нам вдруг стало чудовищно не хватать минувшего, оно теперь было нужнее, чем настоящее и будущее.

С того дня, как отец поселился в Йоле, связаться с ним можно было лишь по зеленому настольному телефону, на который нам обычно звонил из Канады мистер Байо, папин друг детства. Мать напряженно ждала звонков отца. В настенном календаре у себя она отметила дни, когда он звонил, и, если он нарушал «расписание», сидела перед телефоном до глубокой ночи. Потеряв терпение, развязывала узелок на подоле *врап-*

пы[4] и доставала из него скомканный листочек бумаги. Снова и снова набирала по нему номер телефона, пока отец не снимал трубку. Если мы к этому времени еще не спали, то толклись возле матери в надежде услышать отцовский голос, просили: уговори отца, чтобы он забрал нас к себе. Отец неизменно отказывал, повторяя, что Йола — город неспокойный и в нем часто случаются погромы, особенно против людей нашего племени, игбо. Мы не сдавались — до марта 1996 года, когда вспыхнули кровавые религиозные столкновения. Добравшись наконец до телефона, отец рассказывал — на фоне треска выстрелов, — как он едва-едва избежал смерти: погромщики напали на его район, и в доме через улицу расправились с целой семьей.

— Детишек зарезали, как цыплят! — сказал он, особо выделив слово «детишек», чтобы никому в своем уме и в голову не пришло проситься к нему в Йолу. На том уговоры закончились.

Отец взял за традицию возвращаться через выходные на своем седане «Пежо-504» — пятнадцать часов в дороге! — пропыленным и изнуренным. Мы с нетерпением ждали субботы, и, когда отец

[4] Примечания: 4

От *англ.* «wrapper» (*букв.* «обертка»), деталь гардероба, длинная ткань с каким-либо орнаментом, в которую заворачиваются женщины.

сигналил из-за ворот, кидались ему открывать — строя догадки, какой гостинец он привез на этот раз. Мало-помалу мы привыкли к его нечастым приездам, и все изменилось. Его авторитет, его аура самообладания и спокойствия, прежде огромные, постепенно усохли до размеров горошины. Порядок, установленный в доме — послушание, учеба и обязательный дневной сон, некогда неотъемлемая часть нашего ежедневного существования, — постепенно распался. Зоркие отцовские глаза застила пелена, а ведь прежде они, как нам казалось, видели любой, даже самый мелкий наш проступок, как его ни утаивай. На исходе второго месяца отцовская длинная рука, сжимавшая плеть — знак предостережения, — не выдержала и сломалась, точно сухая ветка. Мы вырвались на свободу.

Мы поставили книги на полки и отправились исследовать заветный мир за гранью привычного. Выбрались на городскую футбольную площадку, где играли почти все дворовые мальчишки. Правда, мальчишки эти оказались волчьей стаей и нам не обрадовались. И хотя мы сами никого из них не знали — кроме Кайоде, жившего через пару кварталов от нас, — они знали нашу семью и даже имена родителей. Постоянно изводили нас,

стегали ежедневно словесными плетками. Пускай Икенна умел потрясающе обводить, а Обембе, стоя на воротах, творил чудеса, нас заклеймили любителями. Ребята частенько шутили, что наш отец, «мистер Агву», — богатей, раз работает в Центральном банке Нигерии, а мы — мажоры. Мальчишки дали отцу за глаза необычное прозвище Баба Ониле — в честь главного героя популярной йорубской мыльной оперы, у которого было шесть жен и двадцать один ребенок. Таким образом они высмеивали нашего отца, чье желание иметь много детей вошло в нашем районе в легенду. А еще на языке йоруба это слово обозначает богомола, такое жуткое, зеленое, похожее на скелет насекомое. Для нас эти оскорбления были невыносимы. Икенна, видя, что мы в меньшинстве и в драке не победим, как истинный христианин постоянно просил ребят не оскорблять наших родителей, ведь им те ничего дурного не сделали. Однако задиры не унимались, пока однажды вечером взбешенный очередным упоминанием отца Икенна не боднул одного из них головой. Тот среагировал моментально — ногой ударил моего брата в живот и набросился на него. В какой-то момент, крутясь на покрытой песком площадке, они замкнули

ногами неровную окружность, но в конце концов парень опрокинул Икенну и швырнул ему в лицо пригоршню грязи. Приятели, ликуя, подняли победителя на руки; их торжествующие возгласы слились в триумфальный хор, перемежаемый шиканьем и насмешливыми выкриками. Мы, сокрушенные, вернулись домой и больше на площадку не приходили.

Драка отбила у нас охоту играть на улице. Я подговорил братьев, и вместе мы слезно попросили мать: пусть она уговорит отца вернуть приставку, и мы будем резаться в «Мортал комбат». Отец спрятал ее еще в прошлом году, когда Боджа — всегда первый в классе по оценкам — принес табель успеваемости, а в нем красным стояла отметка «24-й» и предупреждение: «Может остаться на второй год». Икенна показал результат немногим лучше: шестнадцатый из сорока; учительница, миссис Букки, даже написала отцу письмо. Отец прочитал его вслух да в таком гневе, что я разобрал только повторяющееся рефреном «Боже мой! Боже мой!». Потом он забрал у нас приставку, лишив моментов, при виде которых мы скакали, визжа от восторга; например, когда невидимый судья произносил: «Finish him», и победивший персонаж обрушивал на противника

серию мощных ударов, или подбрасывал апперкотом под самый потолок, или разрубал на части, так что кости и кровавые брызги летели во все стороны. На экране начинала мигать пламенеющая надпись: «Fatality». Как-то Обембе, сидевший в туалете, не утерпел и выскочил в гостиную, чтобы вместе с нами прокричать «That is fatal!»[5] с американским акцентом, подражая игровой озвучке. Он даже не заметил, что на ковер упала какашка, но потом, когда мать это обнаружила, получил от нее хороший втык.

Приуныв, мы снова принялись искать какие-то активные занятия вне дома, чтобы убить время после уроков — теперь, когда строгие отцовские запреты больше не действовали. Мы собрали друзей, живших по соседству, предложив им играть в футбол на пустыре позади нашего дома. Пригласили Кайоде, единственного знакомого мальчика из стаи волков, с которыми играли на городской футбольной площадке. У него было лицо, как у девочки, а на губах всегда играла мягкая улыбка. К нам присоединились сосед Игбафе и его слабослышащий двоюродный брат Тоби. Приходилось постоянно напрягать голосовые

---

[5] Примечания: 5
Смертельный удар! *(англ.)*

связки, даже чтобы просто спросить: «Jo, kini o nso?» («Извини, что ты сказал?») У Тоби были огромные уши, которые словно достались ему от кого-то другого, а когда мы шепотом дразнили его Eleti Ehoro — Зайцеухий, он не обижался. Думаю, просто не слышал.

Мы носились по пустырю как угорелые, нацепив дешевые футболки и майки, на которых написали свои спортивные прозвища. Били мы со всей дури, мячи, бывало, улетали в соседские дворы, и мы бросались доставать их. Часто, правда, прибегали как раз в тот момент, когда сосед прокалывал мяч — сколько мы ни умоляли вернуть его. И все потому, что кого-то задело или что-то разбилось. Как-то мяч перелетел через соседский забор и попал в голову одному инвалиду, так что тот даже выпал из кресла. В другой раз мы выбили окно.

Лишившись мяча, мы скидывались и покупали новый. Денег не вносил только Кайоде: он происходил из очень бедной семьи, каких в городке становилось все больше, и не мог потратить на мяч даже одного кобо. Кайоде носил затертые до дыр шорты и жил с престарелыми родителями, духовными главами небольшой Апостольской церкви Христа, в недостроенном двухэтажном

доме, сразу за поворотом по дороге в школу. Не в силах помочь финансово, он молил Господа, чтобы новый мяч дольше предыдущих не улетал за пределы пустыря.

Как-то мы купили новенький отличный белый мяч с логотипом летней Олимпиады 1996 года в Атланте. Кайоде помолился, и мы принялись играть, но не прошло и часа, как Боджа нанес удар, и мяч улетел во двор к одному доктору. Окно шикарного дома со звоном разлетелось вдребезги, и двое голубей, мирно дремавших на крыше, взвились в воздух. Некоторое время мы ждали на почтительном расстоянии — чтобы успеть убежать, если кто-то бросится за нами. Потом Икенна и Боджа все же отправились во двор к доктору, а Кайоде встал на колени и принялся молить Бога о заступничестве. Когда наконец наши разведчики достигли дома, доктор — он словно поджидал в засаде — выскочил и погнался за ними. Мы все тут же бросились наутек, только пятки засверкали, а позже, дома, переводя дух и обливаясь потом, поняли: футбола с нас хватит.

* * *

Мы стали рыбаками, когда на следующей неделе Икенна вернулся из школы. Ему в голову

пришла новая мысль, и он спешил ею поделиться. Случилось это в конце января; я помню это потому, что тогда Боджe исполнилось четырнадцать, а день рождения у него 18 января. В 1996-м он выпал на выходные, и на ужин были домашний торт и газировка. После дня рождения Боджа на месяц становился ровесником Икенне, который родился 10 февраля, только на год раньше. Так вот, одноклассник по имени Соломон рассказал Икенне, какое это удовольствие — рыбачить. Икенна передал нам слова Соломона о том, какое это волнующее занятие, да к тому же выгодное, ведь можно продать немного рыбы и заработать денежку. Икенна тем больше загорелся, что у него родилась идея воскресить Фифидона. Когда-то у нас рядом с телевизором стоял аквариум, и в нем жила необычайно красивая рыбка симфизодон, настоящий калейдоскоп: в ней сочетались разные цвета: коричневый, фиолетовый, пурпурный и даже бледно-зеленый. Фифидоном ее окрестил отец — после того как Обембе попытался выговорить «симфизодон», но получилось только нечто отдаленно похожее. Аквариум отец убрал после того, как Икенна с Боджей решили проявить сострадание и спасти рыбку из «мутной воды»: заменили воду в аквариуме на обычную, питье-

вую. Вскоре они заметили, что рыбка лежит на дне, среди блестящей гальки и кораллов, и не может подняться.

Стоило Икенне узнать от Соломона о рыбалке, и он поклялся поймать нового Фифидона. На следующий день они с Боджей сходили в гости к Соломону и вернулись, взахлеб рассказывая о рыбах *таких* и рыбах *сяких*. Затем, по рекомендации Соломона, сгоняли в одну лавку и купили там удочки. Икенна разложил снасти на столе в своей с Боджей комнате и объяснил, как ими пользуются. Это были длинные деревянные палки, к концу которых крепились тонкие веревочки с крючками на конце. Вот на них-то, на крючки, говорил Икенна, и насаживается наживка — черви, тараканы, хлебный мякиш, да что угодно, — чтобы приманить рыбу и поймать.

И целую неделю затем они ежедневно после школы срывались и долгим извилистым путем шли к реке Оми-Ала, протекавшей у границы района; по дороге они перебирались через пустырь позади нашего дома, в дождливые сезоны источавший смрад и служивший пристанищем для стада свиней. Рыбачили мои братья в компании Соломона и других мальчишек с нашей улицы и возвращались с банками, полными улова. Сперва

они не брали меня и Обембе с собой, но когда принесли домой маленькую цветную рыбку, наше любопытство разгорелось не на шутку. И наконец однажды Икенна сказал нам с Обембе:

— Пошли, сделаем из вас рыбаков!

И мы пошли.

С тех пор мы после школы начали ходить на рыбалку вместе с другими мальчишками с нашей улицы. Процессию возглавляли Соломон, Икенна и Боджа. Эти трое несли удочки, завернув их в старые врапны или тряпки. Остальные — Кайоде, Игбафе, Тоби, Обембе и я — тащили рюкзаки со сменной одеждой и нейлоновые сумки с червями, дохлыми тараканами, служившими наживкой, и пустыми банками из-под напитков, где потом оказывались пойманные рыбешки и головастики. Вместе мы пробирались к реке тропками, густо заросшими колючей крапивой, которая хлестала по голым ногам и оставляла на коже белые волдыри. Это бичевание как нельзя лучше соответствовало необычному имени травы, заполонившей всю округу: esan, «воздаяние» или «возмездие» на йоруба.

Ходили гуськом и, стоило преодолеть заросли крапивы, бросались к реке, точно обезумевшие. Старшие ребята — Соломон, Икенна и Боджа

— переодевались в грязную одежду. Затем становились у воды и забрасывали удочки, погружая крючки с наживкой в воду. И хотя рыбачили они, как люди племени йоре, прирожденные рыбаки, наловить получалось лишь совсем мелких рыбешек размером с ладонь или сомиков — более трудной добычи — и изредка тилапии. Остальные баночками зачерпывали из воды головастиков. Мне они нравились: такие гладкие, с непропорционально большими головами и почти бесформенные, похожие на миниатюрных китов. Я с восхищением следил, как они неподвижно висят под водой, ловил их и до черноты на пальцах тер серую слизь, покрывающую их кожу. Порой нам попадались ракушки или пустые панцири давно умерших членистоногих. Мы ловили улиток, чьи раковины округлой формой напоминали древних моллюсков. Мы находили зубы зверей, принимая их за свидетельства минувших эпох, потому что Боджа с пеной у рта доказывал, что они принадлежали динозаврам, и забирал их себе. Еще попадались змеиные выползки, у самой кромки воды, да и много другого интересного.

Лишь однажды удалось поймать по-настоящему крупную рыбу — ее и продать было нестыдно. Я часто вспоминаю тот день. Вытащил ее Со-

ломон: рыбина была просто огромная, крупнее любых речных обитателей, которых нам доводилось видеть в Оми-Але. Икенна с Соломоном отправились на близлежащий продуктовый рынок и спустя чуть больше получаса вернулись с пятнадцатью найрами. Наша доля составила шесть найр, и домой мы возвращались безумно довольные. С тех пор мы стали рыбачить с еще большим рвением, подолгу потом не ложась спать и обсуждая очередной проведенный у реки день.

Рыбалке мы отдавались всей душой, словно у берега собиралась толпа преданных зрителей и следила за нами, подбадривая криками. Мы не обращали внимания ни на запах зеленых вод, ни на крылатых насекомых, каждый вечер тучами роившихся над берегом, ни на тошнотворный вид водорослей и листьев, образовавших рисунок в виде карты проблемных регионов у дальнего конца берега — там, где из воды торчали варикозные стволы деревьев. Мы ходили на реку ежедневно, одетые в тряпье и старую одежду, таская с собой ржавеющие банки, дохлых насекомых и слипшихся червей. Рыбалка приносила нам большую радость, даже несмотря на трудности и скудный улов.

Теперь, когда я вспоминаю те дни, что происходит все чаще, поскольку у меня есть свои сыновья, я понимаю: наши жизни и наш мир изменились в один из таких походов к реке. Ведь именно там время обрело для нас значение — у берега реки, на которой мы стали рыбаками.

2. Река

Оми-Ала была страшной рекой.

Жители Акуры давно отвергли ее, словно дети, забывшие мать. Однако прежде она была чиста и снабжала первопоселенцев рыбой и питьевой водой. Она окружала Акуре, текла, змеясь, через город и, как и многие подобные реки в Африке, некогда почиталась за божество, люди поклонялись ей. Устраивали святилища в ее честь, прося обитателей речных глубин: Ийемоджу, Ошун, русалок и прочих богов и духов — о заступничестве и помощи. Все изменилось, когда из Европы прибыли колонисты и принесли с собой Библию. Она отвернула от Оми-Алы поклонников, и люди — по большей части теперь христиане — стали видеть в реке зло.

Колыбель была осквернена, ее теперь окружали мрачные слухи, один из которых гласил, что у ее вод совершаются языческие ритуалы. Подтверждением служили трупы, тушки животных и разные ритуальные предметы, плавающие на поверхности воды или лежащие на берегу. Потом, в начале 1995 года, в реке нашли изувеченный

и выпотрошенный труп женщины. Городской совет тут же ввел комендантский час: доступ к реке был запрещен с шести вечера до шести утра. На реку перестали ходить. С годами таких случаев становилось все больше, они очерняли историю Оми-Алы, пятнали ее имя: одно только упоминание о ней вызывало омерзение. К тому же рядом с ней расположилась печально известная по всей стране религиозная секта: Небесная церковь, или Церковь белых одежд. Ее последователи ходили босиком и поклонялись водяным духам. Родители, узнай они о том, что мы ходим на реку, сурово наказали бы нас, однако мы не задумывались об этом, пока соседка — мелкая торговка, ходившая по городу с подносом жареного арахиса на голове, — не засекла нас по пути с реки и не донесла матери.

Дело было в конце февраля, и мы к тому времени рыбачили уже почти полтора месяца. В тот день Соломон вытащил крупную рыбу. Мы запрыгали от восторга, глядя, как она извивается на крючке, и принялись распевать сочиненную Соломоном рыбацкую песню. Мы всегда пели ее в особо радостные моменты вроде этого — когда видели агонию рыбы.

Это была переделка известной песенки: ее

исполняла неверная супруга пастора Ишавуру, главная героиня самой популярной тогда в Акуре христианской мелодрамы «Высшая сила». Песенку свою женушка пела, возвращаясь в лоно церкви после отлучения. И хотя идея пришла в голову Соломону, почти каждый из нас предложил что-то свое. Боджа, например, придумал поменять «мы застукали тебя» на «тебя поймали рыбаки». Мы заменили свидетельство о силе Господа отвращать от лукавого нашим умением держать рыбу крепко и не давать сорваться. Результат нам так нравился, что мы порой напевали песню дома и в школе.

Bi otiwu o ki o Jo, Пляши вовсю
ki o ja, и бейся, рвись,

Ati mu o, Поймали мы тебя,
o male lo mo. ты не сбежишь.

She bi ati mu o? Ну что ты поймана?
O male le lo mo o. Ты не сбежишь, поверь.

Awa, Apeja, ti mu o. Тебя поймали мы, мы — рыбаки.

Awa, Apeja, Тебя поймали рыбаки,
ti mu o, o ma le lo mo o от нас ты не

сбежишь!

В тот вечер, когда Соломон поймал здоровенную рыбину, мы пели так громко, что к нам вышел старик, священник Небесной церкви. Босой, он ступал совершенно бесшумно, точно призрак. Когда мы только пришли на реку и заприметили поблизости церковь, то моментально включили ее в список своих приключений. Через открытые окна красного дерева подглядывали за прихожанами, бесновавшимися в зале, — стены внутри были покрыты облупившейся голубой краской, — и пародировали их дерганые танцы. Один лишь Икенна счел недостойным смеяться над священнодействием.

Я ближе всех находился к тропинке, по которой пришел старик, и первым его заметил. Боджа был у противоположного берега и, бросив при виде священника удочку, устремился на сушу. Та часть реки, на которой мы рыбачили, оставалась скрыта с обеих сторон вытянутыми зарослями кустарника, и воду можно было увидеть, лишь свернув с прилегающей дороги на изрезанную колеями тропку и продравшись через подлесок. На берегу старик остановился и взглянул на две баночки, плотно сидящие в неглубоких ямках, которые мы вырыли голыми руками. Увидев

содержимое банок, над которым вились мухи, он отвернулся и покачал головой.

— Это еще что? — спросил он на чуждом для меня йоруба. — Что вы разорались, как пьяная толпа? Разве не знаете, что тут рядом храм Божий? — Развернувшись всем телом в сторону тропинки, он указал на церковь. — Неужто в вас нет ни малейшего почтения к Господу, а?

Нас учили: если старший спрашивает о чем-то с намерением пристыдить тебя, то отвечать — пускай даже ты легко можешь ответить — невежливо. Поэтому Соломон просто извинился.

— Простите нас, *баба*, — произнес он, сложив ладони. — Мы больше не будем.

— Что вы ловите в этих водах? — не обращая на него внимания, спросил старик и указал на реку, цвет которой к тому времени сделался темно-серым. — Головастиков, сомиков? Что там? Шли бы вы по домам. — Он поморгал, по очереди глядя на каждого из нас. Игбафе не удержался и сдавленно хохотнул, за что Икенна шепнул ему: «Болван». Правда, было уже поздно.

— По-твоему, это смешно? — спросил старик, глядя прямо на Игбафе. — Мне жаль твоих родителей. Уверен, они не знают, что ты здесь бываешь, а узнав, сильно расстроятся. Разве вы

не слышали, что власти запретили приходить сюда? Ох уж это молодое поколение. — Старик изумленно огляделся и произнес: — Останетесь вы или уйдете, больше так не кричите. Поняли?

Тяжело вздохнув и снова покачав головой, он развернулся и пошел прочь. Мы же разразились хохотом и ну изображать его, такого худого в просторном белом одеянии, похожего на ребенка в пальто не по размеру. Мы хохотали над его страхом перед рыбой и головастиками (на наш улов он взирал с ужасом) и над тем, как воняет у него изо рта (это мы, впрочем, придумали, поскольку стояли далеко и не могли унюхать никакого запаха).

— Этот старик — совсем как Ийя Олоде, сумасшедшая женщина. Хотя говорят, она еще хуже, — сказал Кайоде. В руке у него была жестяная банка, и в этот момент она накренилась; ему пришлось накрыть ее ладонью, чтобы рыбешки с головастиками не оказались на земле. Из носа у него текло, но он, казалось, не замечал висящей под носом белесой тягучей нити. — Она вечно танцует где-то в городе — чаще всего макосу. Пару дней назад ее прогнали с большого базара Оджа-Оба. Говорят, она там присела в самом центре и нагадила прямо у лавки мясника.

Мы рассмеялись. Боджа прямо весь трясся, а после согнулся пополам, как будто смех лишил его сил, и, бурно дыша, уперся ладонями в колени. Мы все еще смеялись, когда заметили, что Икенна — с тех пор как нашу рыбалку прервал священник, он не произнес ни слова, — вынырнул у другого берега. Он выбрался из воды там, где в нее окунала увядшие листья крапива, и стянул с себя намокшие шорты. Затем Икенна полностью скинул с себя рыбацкую одежду и стал обсыхать.

— Ике, ты чего? — спросил Соломон.

— Домой возвращаюсь, — резко ответил мой брат, словно только и ждал этого вопроса. — Учиться хочу. Я школьник, а не рыбак.

— Уходишь? Сейчас? — спросил Соломон. — Рано же еще, и мы…

Соломон не договорил, потому что все понял. Семя того, что делал сейчас Икенна, было посеяно еще на прошлой неделе. Он утратил интерес к рыбалке, и в тот день его даже пришлось уговаривать пойти с нами. И потому, когда он произнес: «Учиться хочу. Я школьник, а не рыбак», никто не стал его больше ни о чем спрашивать.

Мы с Обембе и Боджей тоже стали переодеваться, потому что выбора не оставалось: мы ничего не делали без одобрения Икенны. Обембе

замотал удочки в старые враппы, которые стащил у матери, а я подобрал банки и маленький полиэтиленовый пакетик с неиспользованными червями: они извивались, стремясь выбраться на свободу, и медленно умирали.

— Вы что, вот так возьмете и уйдете? — спросил Кайоде, когда мы двинулись следом за Икенной, который, казалось, не думал ждать нас, своих братьев.

— Вы-то почему уходите? — спросил Соломон. — Это из-за священника или из-за того, что тогда встретили Абулу? Я же просил не останавливаться. Просил не слушать его. Предупреждал, что он — просто злобный безумец. Разве нет?

Никто из нас не взглянул на Соломона и не сказал в ответ ни слова. Мы молча следовали за Икенной, который нес в руках один только черный пакет со старыми шортами. Удочку он бросил на берегу, но Боджа подобрал ее и завернул во враппу.

— Да пусть идут, — донесся до меня голос Игбафе. — Без них обойдемся. Сами будем рыбачить.

Друзья принялись насмехаться над нами, но вскоре звуки перестали долетать до нас, и тишину больше ничего не нарушало. По дороге я

думал: что это нашло на Икенну? Порой его поступки и решения оставались для меня загадкой. За объяснениями я всегда обращался к Обембе. После встречи с Абулу на прошлой неделе — той самой, о которой упоминал Соломон, — Обембе рассказал мне об одном случае, в котором якобы и крылась причина странных перемен в поведении Икенны. Я как раз размышлял над тем случаем, когда Боджа закричал:

— Господи, Икенна, гляди! Мама Ийябо!

Он заметил нашу соседку, торговку арахисом. Она сидела на скамье у церкви, вместе со священником, который чуть ранее стыдил нас у реки. Боджа поднял тревогу слишком поздно: женщина уже увидела нас.

— Ах, Ике, — позвала соседка, когда мы проходили мимо, хмурые, точно арестанты. — Ты что здесь забыл?

— Ничего! — ответил Икенна, ускоряя шаг.

Она тигром вскочила и вскинула руки, словно намереваясь закогтить нас.

— Что это у тебя в руке? Икенна, Икенна! Я с тобой разговариваю.

Икенна упрямо спешил дальше, а мы — за ним. Свернули за угол ближайшего дома, где стоял банановый куст: его сломанный в бурю

лист напоминал тупую морду морской свиньи. Едва мы оказались там, как Икенна обернулся и произнес:

— Все всё видели? Вот до чего довела ваша глупость. Я же говорил, что не надо нам больше ходить на эту дурацкую реку. Так нет же, вы не послушали. — Он схватился за голову. — Вот увидите, она еще растреплет обо всем нашей маме. Спорим? — Он хлопнул себя ладонью по лбу. — *Спорим*?

Никто не ответил.

— Вот-вот, — сказал тогда Икенна. — Теперь-то вы прозрели. Все увидите.

Его слова стучали у меня в ушах, заставляя полностью осознать ужас ситуации. Мама с Ийя Ийябо были подружками; супруг торговки погиб в Сьерра-Леоне, сражаясь за армию Африканского союза. Половину пособия оттяпали родственники мужа, и ей остались два вечно недоедающих сына — ровесники Икенны — да море нескончаемых нужд. Мать то и дело помогала ей, и Мама Ийябо, уж конечно, в благодарность должна была предупредить подругу, что мы играем на опасной территории.

Мы этого очень боялись.

* * *

На следующий день после школы мы не пошли рыбачить, остались сидеть у себя в комнатах и ждать, когда придет мать. Соломон и остальные отправились на реку: думали, наверное, что и мы явимся, но, прождав некоторое время впустую, наведались к нам. Икенна посоветовал приятелям — и в особенности Соломону — тоже оставить это занятие, однако когда Соломон отказался, Икенна предложил ему свою удочку. Соломон в ответ рассмеялся и ушел с таким видом, будто ему нипочем опасности, которые, по словам Икенны, поджидают его у реки. Икенна смотрел ему и компании вслед и качал головой. Жалел ребят, столь упорно не желавших покидать скользкий путь.

Когда же мать вернулась с работы — намного раньше обычного, — мы сразу поняли, что соседка донесла ей на нас. Мать поразилась собственной неосведомленности: ведь мы все жили под одной крышей! Мы и правда долго и успешно скрывали свое увлечение, пряча улов под двухъярусной кроватью в комнате Икенны и Боджи, потому что знали о тайнах, окружающих Оми-Алу. Мы чем могли перебивали запах мутной воды и даже тошнотворную вонь: хилая, мелкая, рыба редко

когда проживала больше суток. Дохла даже в баночках, полных речной воды. Мы возвращались из школы на следующий день, а в комнате Икенны и Боджи уже стоял смрад. Приходилось выбрасывать улов на свалку за забором, вместе с банками. Их было особенно жалко, ведь они доставались нам с большим трудом.

Бесчисленные раны, полученные на пути к реке и обратно, мы тоже хранили в секрете. Икенна с Боджей позаботились, чтобы мать ни о чем не узнала. Однажды Икенна стукнул Обембе за то, что тот распевал в ванной рыбацкую песню. Мать поинтересовалась, из-за чего вышла ссора; Обембе не растерялся и прикрыл старшего брата, сказав, что обозвал Икенну тупицей — и тем заслужил тумака. По правде же, гнев Икенны он заслужил своей глупостью: рискуя раскрыть нас, пел нашу песню, когда в доме была мать. Икенна даже пригрозил потом брату: повторишь ошибку — не видать тебе больше реки. И лишь услышав угрозу — а не получив тычок, — Обембе расплакался. Даже когда Боджа на вторую неделю нашего приключения на берегу реки порезал ногу о клешню краба и залил сандалию собственной кровью, мы соврали матери, будто он поранился, играя в футбол. По правде же, Соломону пришлось

вынимать клешню из пальца Боджи, а всем нам — кроме Икенны — было велено отвернуться. Икенна тогда рассвирепел: испугался, что Боджа истечет кровью, даже несмотря на заверения Соломона в обратном, — и размозжил краба, тысячу раз прокляв его за нанесенную Боджe страшную рану.

Матери сделалось плохо, когда она узнала, как долго мы хранили все в тайне — полтора месяца, хотя мы и соврали, что всего три недели, — а она все это время и не подозревала, что мы теперь рыбаки.

В ту ночь она мерила комнату шагами. На сердце у нее было тяжело, и мы остались без ужина.

— Вы не заслуживаете еды под этой крышей, — говорила мать, нарезая круги между кухней и спальней. Она расклеилась, руки у нее дрожали. — Идите и ешьте рыбу, пойманную в этой страшной реке. Ею и насыщайтесь.

Она заперла дверь кухни на висячий замок, чтобы мы не пробрались туда, когда она ляжет спать. Впрочем, она расстроилась так сильно, что еще долго продолжала свой монолог — как обычно, когда переживала. Каждое слово, каждый звук, что слетали с ее губ в ту ночь, въедались в наши умы, точно яд — в кость.

— Я расскажу Эме о том, что вы сделали. Уверена, он бросит все и примчится домой, не сомневаюсь. Я ведь знаю его, знаю Эме. Вот. Увидите. — Она щелкнула пальцами, а потом мы услышали, как она высморкалась в подол врапны. — Вы думаете, я бы умерла, если бы с вами случилось что-то плохое или если бы кто-то из вас утонул в этой реке? Я не умру оттого, что вы навредите себе. Нет. Anya nke na' akwa nna ya emo, nke neleda ina nne ya nti, ugulu-oma nke ndagwurugwu ga'ghuputa ya, umu-ugo ga'eri kwa ya — глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные, и сожрут птенцы орлиные![6]

Мать закончила монолог цитатой из Притч Соломоновых, самой страшной для меня во всей Библии. Сегодня я понимаю: жути этой цитате добавляло то, что мать произнесла ее на игбо, наполняя каждое слово ядом. Все остальное прозвучало на английском, а не на игбо, который родители использовали в общении с нами, тогда как между собой мы с братьями говорили на йоруба, языке Акуре. Английский же, официальный язык Нигерии, использовали в разговорах с посто-

---

[6] Примечания: 6
Притч. 30:17.

ронними. Он обладал силой создавать пропасти между родственниками и друзьями, когда кто-то вдруг переключался на него во время разговора. Так что родители редко обращались к нам на английском — разве что в такие вот моменты, когда хотели выбить почву у нас из-под ног. В этом они были мастера, и у матери все вышло, как она и хотела: слова «утонул», «умерла», «страшная» прозвучали тяжело; в них слышались взвешенный расчет, укор и порицание. Они потом еще долго не давали нам покоя, не позволяя заснуть.

3. Орел

Отец был орлом.

Могучей птицей, которая строит гнездо выше остальных пернатых, парит в небе и зорко стережет птенцов, словно король — свой трон. Наш дом — бунгало с тремя спальнями, купленное в год рождения Икенны, — и был его орлиным гнездом — местом, где отец правил железной рукой. Вот потому все и решили, что если бы отец не уехал из Акуре, дом не стал бы уязвим для невзгод и мы бы избежали постигших нас несчастий.

Отец был человеком необычным. В то время как все кругом ревностно следили за рождаемостью, он — единственный ребенок в семье, выросший с матерью и мечтавший о братьях и сестрах, — хотел наполнить дом детьми, создать клан. Мечта принесла ему много насмешек — в девяностых, когда экономика Нигерии сильно кусалась, — однако отец отмахивался от оскорблений, как от москитов. Он придумал план нашего будущего, карту желаний. Икенне предстояло стать доктором, хотя позднее, когда Икенна еще в раннем возрасте проявил интерес к самолетам, отец за-

менил доктора пилотом. Тем более что в Энугу, Макурди и Ониче имелись летные школы. Бодже отец уготовил судьбу юриста, а Обембе — семейного врача. Мне же хотелось стать ветеринаром, работать в лесу или в зоопарке — где угодно, главное со зверями, — однако отец решил, что я стану профессором. Дэвид, которому едва исполнилось три годика, когда отец переехал в Йолу, должен был стать инженером. Только для нашей годовалой сестренки Нкем он не придумал занятия на будущее. Сказал: за женщин такие дела решать не надо.

Мы с самого начала знали, что рыболовству в отцовских планах на будущее места нет, но не задумывались над этим. Опомнились только в ночь, когда мать пригрозила все рассказать отцу, раздув тем самым в наших сердцах огонь страха перед его гневом. Она верила, будто к рыбалке нас подтолкнули злые духи и их надлежит изгнать поркой. Мы предпочли бы увидеть, как солнце падает на землю, сжигая все кругом, а заодно и нас, чем ощутить тяжесть отцовского Воздаяния на своих задницах, и мать это прекрасно знала. Она говорила: вы забыли, что отец не наденет чужие туфли, если свои промокнут. Не такой он человек. Он, скорее, пойдет по земле босиком.

Когда на следующий день, в субботу, мать прихватила Дэвида и Нкем и отправилась в лавку, мы бросились уничтожать следы преступления. Боджа спешно спрятал свою удочку и общую запасную тоже под ржавыми кровельными листами на заднем дворе, у ограды — там, где мать выращивала помидоры. Листы кровли остались еще с 1974 года, когда был построен дом. Икенна свою удочку сломал и выбросил на свалку за забором.

Отец приехал в субботу, ровно через пять дней после того, как нас разоблачили. Накануне мы с Обембе срочно вознесли молитву Богу. Я предположил: вдруг Господь смягчит отцовское сердце и он не станет пороть нас.

Вместе с братом мы встали на колени и обратились к Богу.

— Господь наш Иисус, коли ты любишь нас — Икенну, Боджу, Бена и меня, — начал Обембе, — не дай отцу нашему приехать. Молю тебя, Иисусе, пусть он останется в Йоле. Прошу, послушай: ты ведь знаешь, как отец выпорет нас. Ведь тебе это известно? Послушай, у него плети из воловьей кожи, *кобоко*, которые он купил у старого шашлычника, а такая плеть сечет очень больно! Послушай, Иисусе, если ты позволишь

отцу приехать и он нас высечет, ноги нашей не будет в воскресной школе. И мы перестанем петь и прихлопывать в церкви! Аминь.

— Аминь, — повторил я.

Когда отец приехал в субботу после обеда — как обычно, сигналя из-за ворот и потом въезжая во двор под радостные крики, — мы с братьями не вышли его встречать. Икенна предложил остаться в комнатах и притвориться, что мы спим. По его мнению, мы могли разозлить отца еще больше, если бы вышли встречать его «так, словно ни в чем не провинились».

Мы сгрудились в комнате у Икенны, прислушиваясь к шагам отца, ожидая момента, когда мать начнет свой доклад, ибо знали, что сразу она вываливать на него ничего не станет. Она терпеливая и рассказ смакует. Всякий раз, когда отец приезжал домой, мать садилась рядом с ним на большой диван в гостиной и подробно расписывала, как идут дела в доме: как нас постигла череда нужд, и как мы с ними справились, у кого занимали; рассказывала о наших успехах в школе; о походах в церковь. Отдельно сообщала о случаях непослушания, которые находила непозволительными и заслуживающими кары.

Помню, как-то она две ночи рассказывала отцу

об одной прихожанке нашей церкви: родила ребеночка, а тот весил столько-то и столько-то. Она поведала, как в прошлое воскресенье дьякон пукнул, находясь на амвоне, а микрофоны и колонки усилили неприличный звук. Мне особенно понравился рассказ о том, как в нашем районе казнили вора. Люди градом камней сбили бегущего вора с ног, а потом надели ему на шею автомобильную покрышку. Мать выделила несколько непонятных моментов: где толпа так быстро достала бензин и как всего за несколько минут, объятый удушливым дымом, вор угорел? Я, как и отец, очень внимательно слушал о том, как пламя объяло вора, как ярко вспыхивали волосы у него на теле — особенно на лобке, — как медленно огонь пожрал его. Мать расписала, как играло пламя, как вор, захлебываясь криком, исчез в огненном ореоле, в таких живописных подробностях, что образ горящего человека навсегда запечатлелся у меня в памяти. Икенна говорил, что если бы мать получила образование, из нее вышел бы великий историк. Тут он был прав: мать не упускала и не забывала ни одной детали, что бы ни случилось в отсутствие отца. Она пересказывала абсолютно все.

Начали они с того, что нас напрямую не каса-

лось: поговорили о работе отца, о падении курса найры «при нынешнем прогнившем правительстве». Мы с братьями всегда хотели понимать, что говорит отец, но порой наше незнание лишь возмущало нас, а порой мы чувствовали необходимость знать — например, когда отец говорил о политике, потому что на игбо ее не обсудишь, лексикона не хватит. Одним из таких слов и было «правилитесто», как мне тогда слышалось.

Центральному банку грозил крах, и больше всего в тот день отец рассуждал о возможной кончине Ннамди Азикиве, первого президента Нигерии. Отец обожал его, считал своим вдохновителем. Зик, как его прозвали в народе, лежал в энугской больнице. Отец по этому поводу переживал, сетовал на плохую систему здравоохранения в нашей стране. Ругал Абачу, диктатора, и негодовал из-за изоляции игбо в Нигерии. Он жаловался на то, какого монстра создали британцы, объединив Нигерию в единую страну. А потом мать сказала, что еда готова, и отец приступил к трапезе.

Мать же тем временем перехватила эстафету: знает ли он, что в садике, в который ходит Нкем, все воспитатели от малышки без ума. Отец спросил: «Ezi okwu — это правда?» — и мать

перечислила ее успехи. «А что с *Обой*, королем Акуре?»[7] — поинтересовался отец, и мать рассказала, как *Оба* сражался с военным губернатором штата, столицей которого и был Акуре. Она говорила и говорила, а потом, когда мы совсем этого не ожидали, прервалась:

— Дим, я должна тебе кое-что рассказать.

— Я весь внимание, — ответил отец.

— Дим, твои сыновья — Икенна, Боджа, Обембе и Бенджамин — совершили ужасный проступок, страшнее которого не придумать.

— Что они натворили? — спросил отец, громко чиркнув вилкой и ножом по тарелке.

— *Эх*, ну ладно, Дим. Ты ведь знаешь Маму Ийябо, вдову Юсуфа. Она еще продает арахис…

— Да, да, знаю, так что давай сразу к делу, *друг мой*: что они натворили? — прокричал отец. Он частенько обращался «друг мой» к тем, кто начинал его нервировать.

— Вот горе-то, она как раз продавала орехи священнику Небесной церкви, расположенной возле Оми-Алы, когда на тропинке, ведущей от реки, показались мальчики. Она их сразу же узнала, окликнула, но они ее будто не услышали.

---

[7] Примечания: 7

Имеется в виду традиционное государство, королевство Акуре со столицей в городе Акуре.

Тогда она сказала священнику, что знает их, а он поведал: ребята уже давненько рыбачат на реке. Он несколько раз пытался прогнать их — да все без толку. А знаешь, что самое страшное? — Мать хлопнула в ладоши, подготавливая отца к безжалостному ответу. — Мальчики, которых видела Мама Ийябо, — это твои сыновья: Икенна, Боджа, Обембе и Бенджамин.

Последовала тишина, во время которой отец, наверное, водил взглядом по комнате: то на пол глянет, то на потолок, то на занавеску — словно беря их в свидетели того, что только что услышал. И пока длилось молчание, я принялся оглядывать комнату моих братьев. Взглянул на футболку Боджи, висевшую возле двери, на гардероб, на календарь, который мы называли календарем М.К.О., потому что на нем были мы четверо и М.К.О. Абиола, некогда баллотировавшийся в президенты Нигерии. Я заметил дохлого таракана, убитого, наверное, в порыве гнева: его голову размазало по вытертому желтому ковру.

Это напомнило мне, как мы попытались найти спрятанную отцом приставку, лишь бы как-то отвлечься от рыбалки. Однажды, стоило матери уйти из дома вместе с младшими детьми, мы обыскали родительскую спальню, но приставку

не нашли — ни в отцовском шкафу, ни в бесчисленных сундуках и выдвижных ящиках.

Затем достали старую отцовскую металлическую коробку. Отец рассказывал, что ее подарила бабушка в 1966 году, когда он впервые уезжал из родной деревни — в Лагос. Икенна был уверен, что в коробке-то приставка и спрятана. И вот мы отнесли тяжелую, как гроб, коробку в комнату старших братьев. Боджа принялся методично подбирать ключи, пока наконец один не подошел и крышка со скрипом не открылась. Когда мы еще только несли коробку, из нее вылез таракан, взбежал на ржавую крышку и улетел. А стоило Икенне открыть коробку, как тысячи бурых насекомых заполонили все вокруг: мы не успели и глазом моргнуть, как один залез на жалюзи, другой уже полз вниз по дверце гардероба, третий забрался к Обембе в кроссовку. Мы с криками принялись давить их. С полчаса носились за ними по комнате, а потом унесли ящик обратно.

Мы подмели полы, убрав останки тараканов, и Обембе прилег на кровать. На ногах у него остались следы: задняя лапка, расплющенная голова с выдавленными глазами, кусочки оторванных крылышек, часть которых забилась между пальцев, и разводы желтой слизи, вытек-

шей, наверное, из груди насекомых. Был даже целый таракан, на левой стопе: плоский, как лист бумаги, с двумя парами широких крыльев.

Разум мой, словно вращающаяся монетка, замер, когда отец необычайно спокойным голосом произнес:

— Значит, Адаку, ты сидишь тут и заявляешь на полном серьезе, будто моих мальчиков — Икенну, Боджанонимеокпу, Обембе и Бенджамина — видела торговка орехами, когда они возвращались с реки? Той самой опасной реки, на которую запрещено ходить по вечерам? На которой даже взрослые пропадают?

— Так и есть, Дим, она видела не кого-нибудь, а твоих сыновей, — ответила мать по-английски, потому что и отец внезапно перешел на английский (сильно повысив голос на слове «пропадают»).

— Господи боже! — запричитал он, да так громко и быстро, что слова точно раскололись на слоги: «Гос-по-ди-бо-же» — и стали напоминать дробный металлический звон.

— Что он делает? — чуть не плача спросил Обембе.

— Заткнись, а, — тихо прорычал Икенна. — Я же говорил вам завязывать с рыбалкой. Так нет же,

вы Соломона послушали. Вот, получайте теперь.

Отец в это время сказал:

— Так значит, ты утверждаешь, что торговка видела моих сыновей?

И мать ответила:

— Да.

— Господи боже! — еще громче вскричал отец.

— Они все дома, — сказала мать. — Спроси их и сам убедишься. Как подумаю, что они купили снасти: удочки, лески, крючки, грузила — на карманные деньги, что ты давал им… — совсем дурно становится.

Нажим, с которым мать произнесла «на карманные деньги, что ты давал им», ранил отца особенно глубоко. Должно быть, он весь сжался, точно червь, в которого тычут чем-нибудь острым.

— И долго они этим занимались? — спросил он. Мать, видно, опасаясь обвинений в свой адрес, медлила, и тогда отец прикрикнул: — Я что, с глухонемой разговариваю?

— Три недели, — сокрушенно проговорила мать.

— Боже милостивый! Адаку. Три недели. У тебя под носом?

Само собой, то была ложь: это мы сказали мате-

ри, будто рыбачили всего три недели — в надежде смягчить свою вину. Однако даже такой неточной информации оказалось достаточно, чтобы распалить отцовский гнев.

— Икенна! — взревел отец. — Ике-нна!

Когда мать только начала свой доклад, Икенна сел на пол, но сейчас мигом вскочил на ноги. Он рванул было к двери, но тут же замер, отступил и схватился за зад. Он предусмотрительно надел две пары шортов, надеясь так смягчить боль от того, что должно было обрушиться на его ягодицы, хоть и знал, что сечь нас, скорей всего, будут по голой попе.

— Сэр! — вскинув голову, громко ответил мой брат.

— Ну-ка выходи, живо!

Икенна, лицо которого, точно бубоны, покрывали веснушки, снова подошел к двери. И снова замер, будто перед ним возникла невидимая преграда, и наконец выбежал.

— Считаю до трех! — прокричал отец. — Чтобы все сюда вышли. Живо!

Мы зайцами вылетели из комнаты и сгрудились за Икенной.

— Думаю, вы все слышали, что рассказала мне ваша мать, — произнес отец. На лбу у него взбух-

ли вены. — Это правда?

— Все правда, сэр, — ответил Икенна.

— Значит… все правда, — повторил отец, на мгновение задержав взгляд на его опущенном лице.

Не дожидаясь ответа, он в гневе отправился к себе. Мой взгляд упал на Дэвида: самый младший из нас сидел в одном из кресел и, сжимая в руках пачку печенья, ожидал нашей экзекуции. Отец вернулся с двумя плетьми. Одна была переброшена через плечо, вторую он сжимал в руке. Затем он выдвинул маленький обеденный столик на середину комнаты. Мать, которая только что убрала со стола и протерла его тряпкой, потуже затянула на поясе врапшу и приготовилась ждать момента, когда ей покажется, что отец зашел слишком далеко.

— Каждый из вас ляжет на стол плашмя, — сказал отец. — Все вы получите Воздаяние, голыми, какими пришли на эту грешную землю. Я тружусь в поте лица, чтобы вы могли учиться в школе и получить *западное образование*, как цивилизованные люди, а вы решили стать рыбаками. Ры-ба-ка-ми! — Он многократно, словно какое проклятие, прокричал последнее слово. И когда оно прозвучало в энный раз, наконец велел

Икенне растянуться на столе.

Порол отец жестоко. Да еще заставил считать удары. Икенна и Боджа, распластанные на столе, получили двадцать и пятнадцать соответственно. Нам с Обембе пришлось считать до восьми. Мать вмешалось было, однако отец строго предупредил, что он и ей всыплет, если она будет лезть. В таком гневе он запросто мог сдержать слово. Его не трогали ни наши крики, визги и плач, ни мольбы матери. Все время, нанося удары, он повторял, что надрывается на работе и зарабатывает деньги, и при этом не забывал яростно выплевывать слово «рыбаки». Затем наконец, перекинув плети через плечо, он ушел к себе, а мы выли, натягивая шорты.

* * *

Ночь после Воздаяния выдалась суровой. Как и мои братья, я отказался ужинать, хоть и был голоден, да и аромат стоял соблазнительный: мать приготовила жареную индейку с плантанами. Она знала, что гордость не позволит нам сесть за стол, и потому приготовила это редкое в нашем доме блюдо — чтобы усугубить наказание. На самом деле она не готовила *додо* (жареные плантаны) уже очень давно — с тех самых пор, как с

год назад мы с Обембе похитили пару кусочков из холодильника, а потом соврали, будто видели, как их съели крысы.

Мне отчаянно хотелось выбраться из комнаты и тайком стащить с кухни одну из четырех тарелок, на которых мать выложила наши порции. Удерживал меня страх предать братьев, устроивших голодовку. Неудовлетворенный голод лишь усиливал боль, и я очень долго плакал, пока наконец не заснул.

Наутро мать разбудила меня, похлопав по плечу.

— Бен, проснись, проснись. Отец хочет видеть тебя, Бен.

Каждая клеточка в моем теле горела от боли. Казалось, что в моих ягодицах стало больше мяса. Впрочем, к моему облегчению, братья прекратили голодовку, а я опасался, что она продлится еще целый день. После суровых наказаний мы дулись на родителей, избегали их и отказывались принимать пищу до тех пор, пока они не сдавались и — в лучшем случае — сами не просили прощения, стремясь чем-нибудь нас задобрить. Правда, на сей раз вышло иначе, потому что отец вызвал нас к себе.

Чтобы встать с кровати, мне пришлось сперва

подползти к краю и медленно опустить ноги на пол. Ягодицы покалывало. В гостиной тускло светила стоявшая на середине стола керосиновая лампа. Электричество отключили еще вчера.

Последним, хромая и морщась на каждом шагу, пришел Боджа. Когда мы расселись по местам, отец долго и пристально смотрел на нас, подперев челюсть руками. Мать, сидящая лицом к нам, прямо передо мной, развязала узелок враппы под мышкой и приподняла чашечку лифчика. Сосок ее округлой, налитой молоком груди моментально исчез во рту у Нкем. Малышка жадно обхватила его — темный и твердый — губами, точно хищник, набросившийся на добычу. Отец с интересом разглядывал сосок, а когда Нкем начала есть, снял очки и положил их на стол. Всякий раз, когда он их снимал, в его темном, вытянутом лице отчетливее проступали черты сходства со мной и Боджей. Икенне и Обембе досталась кожа матери, цвета муравейника.

— А теперь слушайте, все вы, — произнес отец по-английски. — Ваш поступок сильно ранил меня, и причин тому множество. Во-первых, я *предупреждал*, чтобы в мое отсутствие вы не доставляли хлопот матери. А вы что? Доставили ей — и мне — самые настоящие хлопоты.

Он по очереди оглядел нас.

— Вы поступили очень дурно. Очень. Как могли дети, получающие западное образование, опуститься до такого вопиющего варварства? — Я тогда не знал, что значит слово «вопиющий», но по тому, как отец выкрикнул его, понял: слово — нехорошее. — И во-вторых, мы с матерью в ужасе от того, как вы собой рисковали. Это же не школа, в которую я вас отправил. Нигде на берегах этой смертельно опасной реки не найдете вы книг. И хотя я *велел* вам постоянно читать, книги вас теперь не интересуют. — Затем, убийственно серьезно нахмурившись и подняв руку в вызывающем трепет жесте, он сказал: — Позвольте же предупредить вас, *друзья мои*: любого, кто принесет домой плохие оценки, я отправлю в деревню, пахать в поле или собирать пальмовое вино, ogbu-akwu.

— Не дай Бог! — Мать защелкала пальцами над головой, словно разгоняя угрожающие слова отца. — Мои дети не будут такими.

Отец удостоил ее гневного взгляда.

— Вот именно, *не дай Бог*, — сказал он, подражая нежному тону ее голоса. — Как же Господь такого не допустит, когда у тебя под носом, Адаку, они ходили на реку целых три недели? Целых.

Три. Недели. — Качая головой, он по очереди загнул три пальца на руке, по числу недель. — А теперь послушай, *друг мой*, отныне ты будешь следить, чтобы дети читали книги. Слышишь? Отныне ты закрываешь лавку в пять, не в семь. И чтобы никакой работы по субботам. Я не позволю, чтобы у тебя под носом мои дети скользили вниз по наклонной.

— Я все поняла, — ответила на игбо мать, цыкая языком.

— В общем, — продолжил отец, обводя взглядом полукруг наших лиц, — хватит причуд. Постарайтесь быть хорошими сыновьями. Никому своих детей пороть не нравится. Никому.

Причуды. Отец часто употреблял это слово, и постепенно до нас дошел его смысл: бессмысленное потворство своим слабостям. Он хотел говорить дальше, но тут под потолком зажужжал вентилятор, возвещая возвращение электричества. Мать щелкнула выключателем, а затем прикрутила фитиль керосиновой лампы. Пользуясь временным затишьем, я при электрическом свете взглянул на календарь на стене. На дворе был уже март, однако страницу февраля так и не перевернули. На ней красовалась фотография орла в полете: крылья расправлены, лапы

вытянуты, когти выпущены; сапфировые глаза смотрят прямо в камеру. Птица величественно парила на фоне природы, точно мир был ее творением, а она в нем — крылатый бог.

В тот момент мне подумалось: что-то должно внезапно измениться, нарушить этот бесконечный покой, — и меня вдруг парализовало страхом. Я испугался, что птица отомрет и начнет молотить в воздухе крыльями. Испугался, что она вдруг заморгает, засучит лапами. Испугался, что когда это произойдет и орел наконец покинет отведенное ему место в небе на странице — той, на которую Икенна перелистнул календарь 2 февраля, — мир и все в нем изменится до неузнаваемости.

— С другой стороны, вам следует знать: пускай вы и совершили дурной поступок, он лишний раз показывает, что в вас есть мужество искателей приключений. Такой смелый дух — это дух мужчины. И я хочу, чтобы отныне вы направляли его на полезные дела. Сделайтесь рыбаками иного сорта.

Мы удивленно переглянулись — все, кроме Икенны. Он смотрел в пол. Ему было хуже остальных, особенно потому, что отец возложил всю вину на него и порол особенно нещадно, не зная,

что на самом деле Икенна отговаривал нас от рыбалки.

— Вы должны стать рыбаками, удящими добрые мечты, и без особенно удачного улова домой не возвращаться. Вы должны стать настоящими гигантами, грозными и неудержимыми рыбаками.

Я сильно удивился. Мне-то казалось, что отец презирает это слово; ища объяснений, я взглянул на Обембе. Тот кивал, глядя отцу в рот и задорно выгнув брови.

— Молодцы, — пробормотал отец, и широкая улыбка разгладила морщины, прочерченные на полотне его лица гневом и яростью. — Я всегда учил вас тому, что даже из большого зла всегда можно извлечь что-нибудь доброе, — и поймите: из вас могут получиться совсем иные рыбаки. Не те, что ловят рыбу в *грязной топи* Оми-Алы, а рыбаки разума. Хваткие люди. Те, которые окунают руки в чистые реки, моря и океаны жизни и добиваются успеха, становятся врачами, летчиками, профессорами, юристами. Ну, как? — Он снова оглядел нас. — Вот такими рыбаками я бы хотел видеть своих сыновей. А теперь давайте все вместе исполним гимн.

Мы с Обембе тут же кивнули, и тогда отец

перевел взгляд на наших старших братьев, по-прежнему смотревших в пол.

— Боджа, ты с нами?

— Да, — неохотно пробормотал Боджа.

— Ике?

— Да, — после затянувшейся паузы произнес Икенна.

— Вот и хорошо, а теперь все вместе: ги-ган-ты.

— Ги-ган-ты, — повторили мы хором.

— Гроз-ны-е. Г-р-о-з-н-ы-е. Гроз-ные.

— Неудержи-мые.

— Рыбаки добра.

Отец гортанно засмеялся, поправил галстук и пристально посмотрел на нас. Затем вскинул руку, задев кончик галстука.

— Мы рыбаки! — проорал отец во всю глотку.

— Мы рыбаки! — почти так же громко, надрывая глотку, хором повторили мы. Каждый из нас был удивлен, как резко — и почти без усилий — мы все пришли в возбуждение.

— Идем за нашими крюками, лесками и грузилами.

Кто-то умудрился произнести «грузивилами» вместо «грузилами», и отец заставил нас несколько раз отдельно повторить это слово, а после продолжил. Правда, перед этим посетовал, что

мы слишком много общаемся на йоруба вместо английского, языка «западного образования», потому и не знаем простейших слов.

— Мы неудержимые, — продолжил он, и мы повторили.

— Мы грозные.

— Мы гиганты.

— Мы победим.

— Молодцы, мальчики, — похвалил отец, когда на комнату, точно осадок на дно, опустилась тишина. — Новоиспеченные рыбаки обнимут меня?

Опустошенные и огорошенные переменой — как по волшебству нечто глубоко омерзительное превратилось в престижное, мы встали и по очереди обняли отца, утыкаясь в его грудь между лацканами пиджака. Каждого отец несколько секунд похлопывал по голове и целовал в макушку. Потом он достал из портфеля пачку новеньких двадцатинайровых купюр, скрепленных бумажной лентой с печатью Центрального банка Нигерии, и выдал нам деньги на карманные расходы: Икенне и Бодже по четыре купюры, мне и Обембе — по две. Еще по одной купюре он оставил для Дэвида, спящего тут же, и Нкем.

— Не забывайте наш разговор.

Мы кивнули, и отец уже хотел уйти, но, словно вспомнив о чем-то, опять повернулся к нам. Подошел к Икенне. Опустил руки ему на плечи и сказал:

— Ике, знаешь, почему тебе досталось больше всех?

Икенна, по-прежнему неотрывно глядя в пол, словно в экран кинотеатра, пробормотал:

— Да.

— И почему же?

— Потому что я первенец, старший.

— Молодец, не забывай об этом. Отныне, прежде чем сделать что-нибудь, оглядывайся на братьев — они следуют твоему примеру. К своей чести, вы сплочены, и потому, Икенна, не уводи братьев с истинного пути.

— Да, папа, — ответил Икенна.

— Будь для них хорошим лидером.

— Да, папа.

— Подавай им хороший пример.

Помедлив в нерешительности, Икенна все же пробормотал:

— Да, папа.

— Всегда помни: если кокос упадет в сливной бачок, орех потом придется хорошенько отмыть, прежде чем есть. Этим я хочу сказать, что если

вы поступаете неверно, вас надо учить.

Родителям часто приходилось пояснять подобные выражения, содержащие скрытый смысл, потому что мы могли понять их буквально. Так уж родители выучились говорить; так был устроен наш язык, игбо. Вместо обычного: «Будь осторожен» — в языке есть простые слова предупреждения — мать с отцом предпочитали говорить: «Jiri ire gi guo eze onu — пересчитай зубы языком». Отец однажды сказал так Обембе, когда бранил его за проступок, а потом расхохотался, увидев, как Обембе и впрямь приступил к подсчету зубов: ворочает языком во рту — щеки сморщены и аж слюна потекла. Поэтому же родители чаще всего ругали нас на английском, ведь когда они злились, им было не до объяснений. Впрочем, даже говоря по-английски, отец часто забывался и употреблял как непонятные слова, так и фразеологизмы. Икенна рассказывал, что еще до моего рождения отец как-то совершенно серьезным тоном посоветовал ему «остыть немного», и он полез в холодильник.

— Понял вас, сэр, — произнес Икенна.

— И я постарался тебя научить, — сказал отец.

Икенна кивнул, и отец — невиданное дело! — взял с него слово. Икенна и сам удивился, ведь

отец просто требовал от нас исполнять наставления, не спрашивая ни нашего мнения, ни согласия. Когда Икенна ответил: «Даю слово», он развернулся и вышел. Мы последовали за ним и стали смотреть, как он садится в машину и уезжает по пыльной дороге, и нам опять сделалось грустно.

4. Питон

Икенна был питоном.

Дикой змеей, которая стала чудовищным гадом, живущим на деревьях, на равнинах выше других змей. Икенна обернулся питоном после той порки. Она его изменила. Икенна превратился в неуравновешенного и вспыльчивого человека, который постоянно вынашивал какие-то планы. Правда, превращение началось задолго до порки и медленно шло глубоко внутри Икенны; наказание лишь заставило его проявиться. Превращение толкало Икенну на поступки, каких мы от него не ожидали. Началось с мести взрослому человеку.

Прошел примерно через час после того, как отец тем утром уехал в Йолу. Икенна дождался, когда мать вместе с младшими детьми уйдет в церковь, и собрал нас у себя в комнате. Объявил, что мы должны наказать Ийя Ийябо — за донос. В церковь мы не пошли, сказавшись больными после порки, и вот сидели на кровати и слушали старшего брата.

— Я своего добьюсь, и вы должны помочь, пото-

му что это все из-за вас, — говорил Икенна. — Если бы вы меня слушали, торговка не наябедничала бы и отец бы меня так сильно не выпорол. Вот, полюбуйтесь…

Она развернулся к нам спиной и спустил шорты. Обембе зажмурился, а я смотрел: пухлые ягодицы Икенны были испещрены красными полосами, похожими на те, что покрывали спину Иисуса из Назарета. Какие-то были длиннее, какие-то короче; какие-то пересекались, образуя алые кресты, тогда как некоторые, одиночные, напоминали линии злой участи на ладони.

— Все из-за вас и этой дуры. Так что давайте думайте, как ее наказать. — Икенна щелкнул пальцами. — Надо все сделать сегодня же, тогда она поймет: нельзя с нами связываться и ждать, что останешься безнаказанным.

Пока он говорил, за окном закричала коза: м-ме-е-е-е-е-е!

Боджа разозлился.

— Опять эта дурная коза! Ох уж она мне!.. — закричал брат, вскочив на ноги.

— А ну сядь! — заорал Икенна. — Забудь о козе и думай, как быть с этой женщиной. Надо успеть до возвращения матери.

— Ладно, — ответил Боджа и сел. — Ты знаешь,

что у Ийя Ийябо полно кур? — Некоторое время Боджа сидел, глядя в окно; с улицы все еще доносилось меканье козы, и хотя Боджа явно думал о животном, вслух он произнес: — Да-да, у нее целое стадо.

— Почти одни петухи, — вставил я. Пусть Боджа знает, что кукарекают вовсе не куры.

Удостоив меня насмешливого взгляда, брат со вздохом произнес:

— Да, но разве так важно, самки это или самцы? Сколько раз тебе говорить: не лезь с этой глупой любовью к зверюшкам в важный…

Икенна осадил его:

— Ох, Боджа, сперва сам научись отличать важное от второстепенного. Сейчас важно — придумать план, а ты тратишь время на пустой гнев из-за тупой козы и упрекаешь Бена в том, что он напомнил о такой ерунде, как разница между петухом и курицей.

— Ладно, предлагаю украсть одну птицу, убить и зажарить.

— That is fatal! — воскликнул Икенна, сделав такую мину, будто его сейчас вырвет. — Нет, жрать ее кур — так не пойдет. И потом, как мы птицу зажарим? Мама обязательно учует запах. Она заподозрит, что мы украли курицу, а нам

всыплют еще больше плетей. Оно нам надо?

От предложений Боджи Икенна никогда не отмахивался, не обдумав как следует. Эти двое друг друга уважали. Ни разу не видел, чтобы они спорили, зато на мои вопросы всегда рубили: «Нет», «Не так», «Неверно». Боджа покивал головой, соглашаясь с Икенной. Тогда Обембе предложил закидать ее двор камнями и молиться, чтобы попало либо в саму торговку, либо в кого-то из ее сыновей, а потом взять ноги в руки и умотать, пока никто за нами не погнался.

— Плохая мысль, — ответил Боджа. — А вдруг ее сынки, эти вечно голодные парни в рваной одежде, здоровые, как Арнольд Шварценеггер, поймают нас и побьют? — Он изобразил, какие у них выпуклые бицепсы.

— Побьют еще сильнее, чем отец, — заметил Икенна.

— Да, — сказал Боджа, — представить страшно.

Икенна согласно кивнул. Я остался единственным, кто еще ничего не предложил.

— Бен, что у тебя? — спросил Боджа.

Я судорожно сглотнул; сердце забилось быстрее. Уверенность моя всегда таяла, когда старшие братья побуждали меня принять решение, вместо того, чтобы самим решить за меня. Я все еще

соображал, как вдруг мой голос, словно обретя самостоятельность, произнес:

— Есть одна идея.

— Ну так говори! — велел Икенна.

— Хорошо, Ике, ладно. Предлагаю украсть у нее петуха и, — я вперился в его лицо, — и…

— Ну? — поторопил Икенна. Все посмотрели на меня, словно на чудо какое.

— …отрезать ему голову.

Не успел я договорить, как Икенна вскричал:

— That is fatal! Круто!

Боджа выпучил глаза и принялся хлопать в ладоши.

Братья одобрили идею, которую я позаимствовал из народного сказания: его в начале четверти поведала нам учительница йоруба. В сказании говорилось о злобном мальчишке, который в гневе бросается обезглавливать всех петухов и куриц в стране.

Мы выбежали из дома и тайным путем побежали к дому торговки орехами, мимо кустов и лавки плотника — тут пришлось зажать уши руками, потому что механические пилы работали просто оглушительно. Ийя Ийябо жила в небольшом бунгало, внешне от нашего неотличимом: небольшая веранда, два окна с жалюзи

и москиткой, электрический щиток на внешней стене, двойная входная дверь. Только забор отличался: он был не из кирпича и цемента, как у нас, а из грязи и глины. Он был весь в пятнах и мазках, время и солнце покрыли его трещинами. Со двора, проходя через крону одного из деревьев, к электрическому столбу тянулся кабель.

Мы прислушались, нет ли кого во дворе, но вскоре Икенна с Боджей пришли к выводу, что все чисто. Обембе по команде Икенны забрался тому на плечо и перемахнул через забор; затем к нему присоединился Боджа, а мы с Икенной остались стоять на стреме. Стоило нашим братьям спрыгнуть во двор, как сразу же кудахтанье стало громче; какая-то птица захлопала крыльями где-то совсем близко — и тут же послышался шум ног наших братьев, гонящихся за петухом. Им потребовалось несколько попыток, и вот Боджа закричал:

— Держи его, держи, не упусти!

Точно так мы кричали, когда на Оми-Але к нам на крючок попадала рыба.

Услышав эти крики, Икенна полез было на забор, чтобы посмотреть, как дела у братьев, но вдруг остановился и громко повторил слова Боджи, прозвучавшие из-за стены:

— Не упусти, не упусти.

Едва не роняя шорты, он уперся ногой в дыру в заборе; старое покрытие посыпалось, точно пыль. Икенна подтянулся и ухватился за верхний край ограды. Из-под руки у него шмыгнул сцинк — пестрый, гладкий и лоснящийся — и в страхе побежал прочь. Икенна же, перегнувшись через забор, принял у Боджи петуха.

— Вот молодец! Вот молодец! — прокричал он.

Мы вернулись домой и сразу прошли в сад на заднем дворе размером с четверть футбольного поля. Он был обнесен забором из бетонных кирпичей с трех сторон, две из которых обозначали границы с двумя соседними семьями: Игбафе и Агбати. За третьей стеной, смотревшей прямо на наш дом, располагалась свалка, там жило стадо свиней.

На свалке росла азимина, и ее крона заглядывала к нам через забор, а в самом дворе, между стеной и колодцем, стояло мандариновое дерево — неподвластное времени и всегда укрывавшееся пышной зеленью в сезон дождей. Около пятидесяти метров разделяло это дерево и колодец, который представлял собой дыру в земле: кромка была окружена бетонным кольцом, к нему крепилась металлическая крышка. В сезон засухи

отец запирал ее на висячий замок — колодцы кругом пересыхали, и люди лазали к нам во двор, чтобы украсть воды. К стене, граничившей с территорией семьи Игбафе, лепился огород, где мать выращивала помидоры, кукурузу и бамию.

Боджа выбрал место казни и положил ошеломленного петуха на землю. Обембе передал брату большой кухонный нож. К ним присоединился Икенна, и все вместе они держали птицу; их совсем не трогали ее надрывные крики. На наших глазах Боджа с неожиданной легкостью принялся орудовать ножом — рассек петуху сморщенную шею, словно уже не раз пускал нож в дело. Словно ему суждено было пустить его в дело когда-нибудь снова.

Петух затрепыхался пуще прежнего, но его держали крепко. Я посмотрел через забор на соседский двухэтажный дом, из которого был прекрасно виден наш сад: дед Игбафе, небольшой старичок, который после случившейся несколько лет назад аварии перестал разговаривать, сидел на широкой веранде у входа в дом. Он обычно сидел там днями напролет, и мы потешались над ним.

Наконец Боджа обезглавил петуха: из шеи толчками вытекала кровь. Я снова посмотрел на

безмолвного старика. На мгновение он показался мне ангелом, вестником беды, но предупреждений мы его не слышали, так как были слишком далеко. Я не видел, как Икенна выкопал в грязной земле маленькую ямку и зарыл туда голову птицы, но я смотрел, как обезглавленное тело бьется в агонии, разбрызгивая кровь и вздымая крыльями облака пыли. Мои братья еще сильней прижали петуха к земле. Наконец он затих.

Затем Боджа подхватил тушку, и мы двинулись в обратный путь — оставляя за собой кровавый след и не обращая внимания на встречных прохожих, со страхом таращивших на нас глаза. У забора торговки арахисом Боджа остановился и перекинул труп на ту сторону — тушка пролетела по дуге, роняя капли крови. Как только она скрылась из вида, мы почувствовали, какая она приятная — наша месть.

* * *

Однако пугающее превращение Икенны началось не тогда; началось оно задолго до отцовского Воздаяния, еще до того, как соседка застукала нас с удочками у реки. Впервые новая сущность Икенны проявилась, когда он попробовал отвратить нас от рыбалки, но то была тщетная попытка,

ведь любовь к рыбалке глубоко проникла в наши вены и сердца. Тогда Икенна напоследок нарыл все, что известно о реке дурного, и чего мы прежде не замечали. Еще за несколько дней до того, как соседка донесла на нас матери, он жаловался, будто в кустах по берегам реки гадят все кому не лень. И пусть мы ни разу не застали никого за этим занятием и даже не чувствовали вони, которую он так дотошно нам описывал, спорить с Икенной не решились. А еще он попытался убедить нас, что рыба в реке Оми-Ала отравлена, и запретил носить ее к нему в комнату. Тогда мы стали прятать ее в спальне у меня и Обембе. Однажды Икенна даже сказал, что во время рыбалки заметил под водой человеческий скелет и что Соломон дурно на нас влияет.

Все это Икенна сообщил нам, словно недавно раскрытую непреложную истину, однако наша любовь к рыбалке была подобна льду в бутылке, который так просто не растопишь. Не то чтобы это занятие нравилось нам от и до, нет, каждый был чем-то недоволен. Боджу, например, бесило, что река слишком мелкая и водятся в ней только «бесполезные» рыбешки. Обембе не давала покоя тайна, что делает рыба по ночам — ведь в реке, под водой, света нет. Как, задавался он то и дело

вопросом, рыба плавает? Там же тьма кромешная, она укрывает воду по ночам, точно покрывало, а у рыб ни электричества, ни керосиновых ламп. Я же презирал этих рыбешек и головастиков за слабость: они дохли слишком быстро, даже если мы держали их в речной воде! От этой их чахлости мне иногда хотелось плакать. Утром, в тот день, когда нас застукала соседка, — Соломон позвал нас рыбачить, и Икенна поначалу отказывался идти на реку. Но увидев, что мы, его младшие братья, собираемся уйти без него, присоединился к нам и забрал у Боджи свою удочку. Все мы вместе с Соломоном принялись подбадривать его, называть Рыбаком-героем.

Внутри Икенны будто поселился неутомимый враг, который глодал его, выжидая своего часа, пока мы готовили и исполняли план возмездия Ийя Ийябо. Икенной он окончательно завладел в день, когда он разорвал узы связи со мной и Обембе, оставив при себе лишь Боджу. Отныне нам с Обембе был заказан ход в комнату к старшим братьям, а еще они не стали брать нас с собой на новое футбольное поле, которое подыскали через неделю после порки. Нам с Обембе не хватало их компании, и мы тщетно ждали их возвращения по вечерам, тоскуя из-за того, что близость между

нами слабела. Однако шли дни, и становилось ясно: Икенна избавился нас, как от инфекции — будто выкашлял мокроту.

Примерно в то же время Икенна и Боджа повздорили с одним из детей нашего соседа мистера Агбати. У того был грузовик-развалюха, который все называли Аргентиной. Прозвище этот драндулет получил из-за надписи на бортах: «Выращено в Аргентине». Из-за своей маломощности грузовик, заводясь, оглушительно тарахтел, пугая всю округу, и, случалось, люди просыпались ни свет ни заря. Из-за этого на владельца часто жаловались и даже порой вспыхивали ссоры. Во время одной такой стычки соседка саданула мистера Агбати каблуком туфли по лбу, и у него там вылезла непроходящая шишка. С тех пор мистер Агбати, перед тем как завести машину, рассылал по дворам детей, и они извещали соседей: стучали пару раз в дверь или ворота, предупреждая: «Ох, папа-*ван* заводит Аргентину», — и бежали дальше, к следующему дому.

В то утро Икенна, который становился все более вспыльчивым и агрессивным, обозвал старшего сына мистера Агбати *надаедой* — так отец называл тех, кто шумит без нужды, — и в результате они подрались.

Позднее, в тот же день, мы пришли из школы и пообедали. Икенна с Боджей отправились играть в футбол, а мы с Обембе остались дома — грустные, что нас не берут с собой. Мы сели смотреть телевизор, и не успела закончиться одна программа — о человеке, помогавшем улаживать семейные ссоры, — как братья вернулись. Их не было всего полчаса. Они быстро скрылись у себя в комнате, но я успел заметить, что у Икенны лицо в грязи, а верхняя губа разбита и опухла; на футболке, на спине которой красовался номер 10 и имя Окоча, были пятна крови. Стоило братьям запереться, как мы с Обембе метнулись к себе в комнату и приникли ушами к стене — подслушать разговор и узнать, в чем же дело. Сперва было слышно лишь, как они хлопают дверцами шкафа да топают по вытертому ковру. Мы еле дождались слов:

— Я бы тоже стал драться, если бы не боялся, что тогда и Нейтан с Сегуном вмешаются. — Это говорил Боджа. — Если бы я только знал наверняка, что они не полезут, если бы только знал наверняка…

Снова послышался приглушенный топот ног по ковру, а после Боджа продолжил:

— Эта недоумок тебя даже толком не побил. Ему

вообще повезло, что он смог… — он помедлил, подбирая нужное слово, — … что смог… сделать это.

— Ты не стал за меня драться, — выпалил Икенна. — Нет! Стоял в стороне и смотрел. Даже не думай отрицать.

— Да я мог бы… — начал было Боджа после небольшой паузы.

— Нет, ты не дрался! — прокричал Икенна. — Стоял в стороне!

Их крики долетели даже до комнаты матери. Она не пошла на работу, потому что Нкем проносилась. Мы услышали, как она с трудом поднимается на ноги и шлепает в тапочках по полу. Как стучится в комнату к нашим братьям.

— Что у вас происходит? Чего раскричались?

— Мама, мы спать хотим, — ответил Боджа.

— Поэтому дверь не открываете? — спросила она и, не дождавшись ответа, сказала: — Из-за чего шум?

— Не из-за чего, — резко ответил Икенна.

— Хорошо, коли так, — сказала мать. — Хорошо, коли так.

И снова ритмично зашлепали тапочки, когда она пошла обратно к себе.

* * *

На следующий день Икенна с Боджей не пошли играть в футбол; остались у себя в комнате. Обембе решил воспользоваться шансом и начать заново с ними общаться, а чтобы выманить братьев в гостиную, дождался любимого сериала Икенны. Старшие братья не смотрели телевизор с тех самых пор, как соседка застукала нас на Оми-Але, и Обембе отчаянно тосковал по тому времени, когда мы все с диким восторгом наслаждались любимыми программами: йорубской мыльной оперой «Агбала Ове» и австралийским сериалом «Скиппи». Обембе хотел поговорить с братьями и без просмотра телевизора, но его останавливал страх досадить им. Сегодня, однако, терпение у него закончилось, к тому же «Скиппи» был любимым фильмом Икенны. Обембе сперва, вытянув шею, заглянул через замочную скважину в комнату братьев. Затем перекрестился, произнес одними губами: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа» — и принялся расхаживать по комнате, напевая главную тему из сериала:

Skippy, Skippy, Skippy the bush kangaroo
Skippy, Skippy, Skippy our friend ever

true[8].

В те мрачные дни, когда мы были с братьями порознь, Обембе много раз признавался, что хочет покончить с разрывом, а я неизменно предупреждал: он может навлечь на себя их гнев. Мне всегда удавалось разубедить Обембе. Когда я услышал пение, то снова за него испугался.

— Не надо, Обе, они побьют тебя, — обратился я к брату, жестами умоляя его прекратить. Эффекта просьбы возымели не более, чем щипок, от котором через секунду уже забываешь, — Обембе лишь на мгновение отвлекся. Взглянул на меня так, будто не расслышал. Покачал головой и продолжил:

— Скиппи, Скиппи, Скиппи, из буша кенгуру…

Наконец ручка двери в комнату братьев провернулась, и Обембе затих. Икенна вышел и, пройдя к креслу рядом со мной, сел. Обембе стоял, точно статуя, под фотографией в рамке: Nnene, мать отца, в 1981 году с новорожденным Икенной на руках. Он стоял у стены очень долго, будто пригвожденный. Следом за Икенной вышел Боджа и тоже сел в кресло.

---

[8] Примечания: 8

Скиппи, Скиппи, Скиппи, из буша кенгуру, Скиппи, Скиппи, Скиппи — наш самый верный друг.
(англ.)

Скиппи на экране только что сразилась с гремучей змеей: всякий раз, как змея пыталась ужалить ее, кенгуру совершала немыслимые прыжки, — и теперь облизывала лапы.

— О, терпеть не могу, когда эта тупая Скиппи вот так лижет лапы! — вспылил Икенна.

— Она только что сражалась со змеей, — заметил Обембе. — Ты бы видел…

— Тебя кто спрашивал? — прорычал Икенна, вскочив на ноги. — Я говорю: тебя кто спрашивал?

В порыве гнева он пнул детский стульчик на колесиках, да с такой силой, что тот врезался в полку, где стояли телевизор, видеоплеер и телефон. Фотография отца — еще молодого банковского клерка — в рамке и под стеклом упала за шкаф. Стекло разбилось на мелкие осколки.

— Кто тебя спрашивал? — повторил Икенна; судьба драгоценного отцовского портрета его не тревожила. Он нажал красную кнопку на панели телевизора, и экран погас.

— *Оуа,* а ну все по комнатам! — крикнул он.

Мы с Обембе сломя голову убежали к себе и уже оттуда услышали, как Икенна произнес:

— Боджа, а ты чего ждешь? Я же сказал: все.

— Что, Ике, и я тоже? — поразился Боджа.

— Да, я сказал: все!

Боджа молча утопал к себе в комнату и хлопнул дверью. Когда мы все ушли, Икенна снова включил телевизор и стал смотреть его — один.

Сейчас я думаю, что именно тогда между Икенной и Боджей — там, где прежде не было и тени барьера, — залег фундамент стены. Наша жизнь приняла иную форму, наступило новое время, когда ревут от гнева черепа и взрываются бездны. Наши старшие братья перестали разговаривать. Боджа, точно падший ангел, рухнул с небес на землю — туда, где давно уже томились мы с Обембе.

* * *

Когда метаморфоза Икенны еще только началась, мы все верили, что рука, стиснувшая его сердце, скоро разожмется, но дни сменяли друг друга, а Икенна все отдалялся от нас. Через неделю или около того он, горячо поспорив с Боджей, побил его. Мы с Обембе сидели у себя, когда это произошло, — старались не оставаться в гостиной вместе с Икенной, зато Боджа часто там задерживался. Должно быть, его назойливость и разозлила Икенну. Я слышал только звуки ударов да крики: братья спорили и ругались друг

на друга.

Все случилось в субботу, и мать — которая по субботам больше не работала — дремала у себя в спальне. Но когда поднялся шум, она выбежала в гостиную — завернутая во враппу от груди до пояса, потому что кормила расплакавшуюся Нкем. Сперва она пыталась докричаться до Икенны и Боджи: «Хватит драться!» — но те не слышали ее. Тогда она встряла между ними и разняла, однако Боджа все равно не отпустил футболку Икенны. Тот попытался высвободиться и так яростно дернул Боджу за руку, что нечаянно сорвал с матери враппу.

— Ewooh! — вскричала мать, оставшись в трусах. — Вы что, проклятья на свои головы ищете? Смотрите, что натворили: совсем раздели меня. Вы хоть знаете, что это значит — увидеть меня голой? Вы хоть знаете, что это святотатство — alu? — Она снова завернулась в платок. — Я все, все до последней мелочи, расскажу о вас Эме, даже не сомневайтесь.

Она защелкала пальцами перед их лицами. К тому времени они, тяжело дыша, разошлись.

— А теперь скажи мне, Икенна, что тебе сделал Боджа? Из-за чего вышла драка?

Икенна сбросил футболку и зашипел на мать.

Это было немыслимо: шипеть на старшего в культуре игбо означает самым непростительным образом выказать непокорство.

— Что, Икенна?

— Да, мама, — ответил он.

— Ты шипел на меня? — спросила мать, сперва по-английски, а потом, сложив руки на груди, повторила на игбо: — Obu mu ka ighi na'a ma lu osu?

Икенна промолчал. Он отошел к креслу, на котором сидел до драки, и, подобрав футболку, направился к себе в комнату. Он так сильно хлопнул дверью, что на окнах задребезжали жалюзи. Мать, пораженная столь наглой выходкой — сын посмел отвернуться от нее и уйти во время беседы, стояла, раскрыв рот. Она гневно смотрела на дверь его комнаты. Она уже хотела ворваться к нему и научить уму-разуму, но тут заметила, что у Боджи разбита губа. Он прижимал к окровавленному рту покрытую малиновыми пятнами футболку.

— Это он тебя так? — спросила мать.

Боджа кивнул. Глаза у него покраснели; он давился слезами, но не плакал, потому что это значило бы, что он проиграл. Мы с братьями после драк плакали редко, даже если нам отвешивали серьезных тумаков и попадали в самые

уязвимые места. Мы сдерживали слезы и, только оставшись наедине с собой, давали чувствам волю.

— Отвечай! — прикрикнула мать. — Оглох?

— Да, мама, это он.

— *Onye* — кто? Ике-нна?

Уперев взгляд в окровавленную футболку, Боджа снова кивнул. Мать подошла к нему и коснулась разбитой губы, но Боджа скривился от боли. Не сводя глаз с раны, мать отступила на шаг.

— Говоришь, это сделал Икенна? — снова спросила она, как будто Боджа еще не ответил.

— Да, мама, — подтвердил он.

Мать снова затянула врапу, на этот раз потуже. Затем быстро подошла к двери в комнату Икенны и принялась барабанить в нее, требуя отворить. Икенна не отвечал, и тогда она принялась сыпать угрозами, по временам цыкая языком, чтобы придать словам больше весу.

— Икенна, если сейчас же не откроешь, я покажу тебе, что я — твоя мать и что ты пришел в этот мир из моего живота.

Теперь, когда в ход пошло цыканье, долго ждать не пришлось — дверь открылась. Мать вошла и сразу накинулась на Икенну. Последовала

яростная схватка: Икенна вел себя крайне непочтительно и ругался в ответ. На каждую оплеуху грозил ответить ударом, чем сильнее злил мать и получал еще больше шлепков. Икенна громко плакал и упрекал мать, что она его ненавидит, ведь это Боджу надо наказывать — за то, что спровоцировал драку. В конце концов он выбежал в дверь, оттолкнув мать. Она упала, поднялась и кинулась было за ним, но снова потеряла врапу. Когда мать выбежала в гостиную, Икенны уже и след простыл. Снова обмотав врапу вокруг груди, мать поклялась:

— Небо и земля мне свидетели, — она коснулась языка кончиком указательного пальца, — пока не вернется отец, Икенна, ты в этом доме еды не получишь. Плевать, где и как ты будешь есть. — Она говорила сквозь слезы. — Только не в этом доме. Пока Эме не вернется, здесь тебе еды не будет.

Она обращалась, скорее, к нам — мы с братьями сгрудились в гостиной, — и к посторонним, к соседям в первую очередь, которые наверняка подслушивали из-за обсиженного ящерицами забора. Сам-то Икенна убежал: перешел, наверное, улицу и отправился на север в сторону Сабо — по грунтовой дороге, что вела дальше, в ту часть го-

рода, где за тремя школами возвышались старые холмы, в ветхом здании ютился кинотеатр, а с минарета крупной мечети каждое утро из мощных динамиков раздавалось пение муэдзина. В тот день Икенна домой не вернулся. Спал он где-то в другом месте, но никому потом не сказал где.

Мать всю ночь расхаживала по дому в тревоге, ожидая, что вот-вот в наружную дверь постучится Икенна. В полночь все же заперла ворота на замок — в те дни в Акуре часто случились вооруженные ограбления — и села со связкой ключей у входной двери. Нас она развела по комнатам; один только Боджа остался в гостиной, не решаясь пойти в свою спальню: так он боялся Икенны. Мы с Обембе, правда, тоже глаз не сомкнули, лежали и прислушивались: мать почти не сидела на месте, то и дело вскакивала и выбегала во двор: ей мерещился стук в ворота, — однако возвращалась она неизменно одна.

Позднее начался ливень. Мать принялась звонить отцу, однако трубку никто не снял. Вслушиваясь в повторяющиеся звуки — бип-бип, бип-бип, — я представлял, как отец сидит в новом доме, в опасном городе, и, надев очки, читает выпуск «Гардиан» или «Трибьют». Но вот начались помехи, и этот образ пропал. Мать положила

трубку.

Я не заметил, как заснул. Просто внезапно вместе с братьями очутился в нашей деревне Амано, близ Умуахии. Мы играли в футбол — двое надвое — у берега реки. Боджа ударил по мячу, и тот улетел на мостик, который некогда служил единственным средством переправы. Его во время гражданской войны в спешке возвели биафрийские солдаты — предварительно взорвав основной мост, чтобы иметь путь к отступлению на случай вторжения нигерийских войск. Мостик был скрыт в лесу. Сделанный из досок и скрепленный продетыми в ржавеющие металлические петли толстыми веревками, без перил, так что держаться было совершенно не за что, он тянулся от одного каменистого берега к другому. Россыпь камней и валунов пролегла от холмистой части леса и уходила под воду, но под мостиком виднелась у самой поверхности.

Икенна без лишних раздумий помчался к мосту, и вот он уже на середине. Но стоило ему подобрать мяч, как он понял, что попал в беду. Дрожа, Икенна поглядел в пропасть под собой, и в пропасти ему открылось видение своей смерти: он упадет и разобьется о камни. Охваченный ужасом, Икенна завопил:

— Помогите! Помогите!

Напуганные не меньше его, мы закричали в ответ:

— Ике, давай к нам, сюда!

Послушавшись нашего совета, он раскинул руки в стороны — мяч ухнул вниз — и двинулся к нам. Ступая медленно, точно вброд через лужу густой грязи. Он шел, опасно покачиваясь, но тут доски — старые и гнилые — треснули, и мостик развалился на две части. Икенна вместе с трухлявыми досками и металлическими кольцами полетел вниз; раздался вопль о помощи. Икенна все еще падал, когда я, внезапно пробудившись, услышал голос матери: она распекала Икенну за то, что тот подвергает свою жизнь опасности, ночуя где попало, и еще вернулся простуженный.

Я как-то слышал, что сердце разгневанного человека бьется не так живо. Оно растягивается, раздувается, точно шарик, но в конце концов снова сдувается. Так было и с моим старшим братом. Тем утром, услышав его голос, я выбежал в гостиную, чтобы убедиться своими глазами: он вернулся — промокший до нитки, беспомощный и сломленный.

* * *

С каждым днем Икенна все больше отдалялся от нас: я почти не видел его тогда. Я узнавал о его существовании по каким-то косвенным признакам: где-то раздавался его преувеличенно громкий кашель или он, слушая транзисторный приемник, выкручивал ручку звука до упора, так что мать, если ей случалось быть дома, просила убавить громкость. Иногда я замечал его спину — когда он в спешке убегал из дому.

На той неделе я увидел Икенну, лишь когда он вышел из своей комнаты посмотреть футбольный матч по телевизору. Накануне вечером Дэвид заболел, и его рвало, поэтому мать не пошла в свою лавку на городском базаре — осталась нянчиться с нашим братишкой. И вот, пока она сидела у себя, мы с братьями после уроков устроились перед теликом. Икенна не устоял перед искушением и вышел посмотреть матч. Нас он прогнать из гостиной не мог — мать же была дома — и потому тихий, как олень, уселся за обеденный стол.

Близился конец первого тайма, когда в гостиную, сжимая в руке десятинайровую купюру, вышла мать.

— Вы, двое, сходите и купите лекарство для

Дэвида.

Хотя она не назвала имен, но обращалась явно к Икенне и Бодже, потому что по поручениям мотались они, старшие. Однако шли секунды, а никто из них даже не шевельнулся. Мать потрясенно воззрилась на них.

— Мама, я что, у тебя единственный? — спросил Икенна, потирая подбородок в том месте, где, по словам Обембе, у него уже начала расти щетина. И хотя я своими глазами бороду не видел, спорить с Обембе не стал: Икенне сравнялось пятнадцать, и для меня он был уже полноценным взрослым, значит, и борода у него могла расти. Вместе с этой мыслью меня посетил сильный страх: выросший Икенна окончательно перестанет общаться с нами, уедет в колледж или просто покинет дом. Правда, эта мысль оформилась у меня в голове не полностью — висела где-то в уме, точно акробат из телепрограммы, который, выполнив головокружительный трюк, застывал в воздухе — только нажми кнопку паузы, — не в силах приземлиться.

— Что? — переспросила мать.

— Может, кого другого пошлешь? Почему всегда я? Я устал и не хочу никуда идти.

— Хочешь, не хочешь, а вы с Боджей пойдете и

купите лекарство. Inugo — слышал?

Икенна пришел в ярость; опустил взгляд и, подумав, покачал головой:

— Ладно, я так я, но пойду один.

Он встал и подошел к матери, готовый забрать у нее деньги, но мать сжала купюру в кулаке. Потрясенный, Икенна попятился.

— Ты что, не дашь денег, чтобы я уже пошел? — спросил он.

— Погоди. Сначала ответь на вопрос: что тебе сделал брат? Мне правда нужно знать. Очень.

— Ничего! — вскричал Икенна. — Ничего, мама, со мной все хорошо. Просто дай деньги, и я пойду.

— Я не о тебе спрашиваю, а о том, как ты с братом обращаешься. Взгляни, что у Боджи с губой. — Она указала на лицо Боджи, хотя губа у него почти зажила. — Посмотри, что ты с ним сделал. Разве можно так с родным братом?!

— Давай уже деньги, и я пойду! — взревел Икенна, выпрастывая руку.

Однако мать невозмутимо заговорила одновременно с ним, словно соревнуясь. Два потока слов смешались, переплелись:

— Nwanne gi ye mu n hulu ego nwa anra ih nhulu ka mu ga ba — родным братом — *дай сюда* — ко-

торый сосал — *деньги* — ту же грудь — *и я уже* — что и ты — *пойду*!

— Давай сюда, и я пойду! — кричал, еще сильнее повышая голос, Икенна. Реплики матери, которые, казалось, цеплялись за его слова, приводили его во все большее бешенство. Мать же отвечала, тихо поцыкивая и размеренно качая головой.

— Просто дай деньги, я хочу пойти один, — немного спокойнее произнес Икенна. — Прошу тебя, пожалуйста, просто дай мне деньги.

— Да поразит твои уста гром, Икенна! Chinekem eh! Боже мой! С каких пор ты мне перечишь, а, Икенна?

— Что я еще не так сделал? — прокричал Икенна и бешено затопал ногами в знак протеста. — В чем дело? Чего ты ко мне придираешься? Что я тебе сделал, женщина? Почему ты не оставишь меня в покое?

«Женщина». Всех нас — как и мать — такое обращение к ней потрясло.

— Икенна, ты ли это? — подавленно спросила мать, тыча в него указательным пальцем. — Ты ли это — селезень, что хлопает крыльями, точно петух? Ты ли это? — Но не успела она договорить, как Икенна развернулся и направился к двери. Увидев, как он открывает ее, мать щелкнула

пальцами и крикнула ему вслед: — Вот погоди, позвонит твой отец — и я расскажу ему, во что ты превратился. Даже не сомневайся, пусть только он приедет.

Икенна зашипел и — демонстрируя невиданные доселе в нашем доме непослушание и наглость — вылетел из дому, хлопнув дверью. И, словно завершая сцену, снаружи раздался бешеный рев клаксона. Когда он наконец умолк, в ушах у меня еще звенело эхо, усиливая впечатление от вызывающего поступка Икенны. Мать опустилась в одно из кресел. Потрясение и гнев крепче стиснули ей сердце, она что-то обреченно бормотала себе под нос, сжав на груди руки.

— Он отрастил рога. Икенна себе рога отрастил.

Ее отчаяние потрясло меня. Казалось, некая любимая часть ее тела, которой она всегда спокойно касалась, вдруг ощетинилась иглами, и мать, пытаясь дотронуться до нее, ранилась о них до крови.

— Мама, — позвал Обембе.

— А, Nnam — мой отец, — ответила мать.

— Дай деньги мне, — сказал Обембе. — Я сгоняю за лекарством, а Бен может пойти со мной. Я не боюсь.

Взглянув на него, мать кивнула. Лицо ее озарилось улыбкой.

— Спасибо, Обе. Но уже темно, так что с тобой пойдет Боджа. Будьте осторожны.

— Я тоже пойду, — вызвался я, собираясь уже идти за уличной одеждой.

— Нет, Бен, — возразила мать. — Останься со мной. Двоих хватит.

После крушения наших жизней я многое стал видеть под особым углом, и в этом новом состоянии ума часто вспоминаю фразу: «Двоих хватит». Мать словно предчувствовала, что постигнет нашу семью всего через несколько недель.

Я присел рядом с матерью и Обембе и задумался, как сильно переменился Икенна. Он никогда не грубил матери, ведь он ее очень любил. Он даже был похож на нее больше нас всех: ему достался ее цвет кожи оттенка тропического муравейника. В этой части Африки женщин часто называли по имени первенца; нашу маму звали Мама Ике или Адаку. Икенне в младенчестве ласки досталось больше, чем остальным, и годами позже каждый из нас спал в его кроватке. Нам по наследству переходили его корзинки с лекарствами и предметами детской гигиены. В прошлом он всегда заступался за мать — даже если против

нее выступал сам отец. Порой, если мы ослушивались мать, Икенна наказывал нас прежде нее. Видя, как эти двое ладят, отец спокойно оставил семью, уверенный, что мы и в его отсутствие не отобьемся от рук. У него даже имелся шрамик от укуса Икенны — на безымянном пальце правой руки: еще до моего рождения отец как-то в порыве гнева ударил мать, и Икенна набросился на него. Укусив отца, он и остановил тогда ссору.

5. Метаморфоза

Икенна претерпевал метаморфозу.

И с каждым днем коренным образом менялась его жизнь.

Он отгородился от всех нас, и хотя мы не могли до него достучаться, сам он продолжал совершать разрушительные поступки, которые оказывал ощутимые последствия на нашу жизнь. Один такой случай произошел на неделе, последовавшей за ссорой с матерью. Было намечено родительское собрание, и занятия в школе завершились рано. Икенна засел у себя в комнате, а мы с Обембе и Боджей резались у нас в карты. День стоял особенно жаркий, и мы, раздевшись по пояс, сидели на ковре. Распахнув окно, мы подперли створку небольшим камнем. Боджа услышал, как хлопнула дверь его комнаты, и сказал:

— Ике вышел.

Затем, после небольшой паузы, открылась и закрылась входная дверь. Икенну мы не видели уже два дня: дома он почти не появлялся, а когда приходил, то сразу запирался в спальне, и тогда к нему не решался войти никто, даже Боджа, ко-

торый делил с ним комнату. Он после той драки сторонился Икенны: мать велела не общаться со старшим братом, пока отец не вернется и не изгонит злых духов, им овладевших. Вот Боджа и проводил время с нами, возвращаясь к себе, лишь когда Икенны в комнате не было.

Боджа метнулся за нужными ему вещами, а мы с Обембе остались ждать его, чтобы после продолжить игру. Но едва он зашел в свою комнату, как прокричал:

— Mogbe! — Это был горестный возглас на йоруба. Мы выбежали в гостиную, а Боджа принялся восклицать:

— Календарь М.К.О.! Календарь М.К.О.!

— Что? Что? — спрашивали мы с Обембе, врываясь в соседнюю спальню. И тут же сами все увидели.

Наш драгоценный календарь М.К.О. был тщательно уничтожен: на полу остались только обугленные клочки. Я глазам своим не поверил и потому взглянул туда, где он всегда висел: на месте календаря был чистый, яркий, почти лоснящийся след в форме прямоугольника, с грязноватыми пятнами от клейкой ленты по углам. Я ужаснулся; это просто не укладывалось в голове, ведь календарь М.К.О. был особенный. Историю,

как мы его получили, мы пересказывали с гордостью, как наивысшее достижение.

Дело было в середине марта 1993 года, в самый разгар предвыборной гонки за пост президента Нигерии. Утром мы прибежали в школу под затихающий звонок и быстро смешались с толпой галдящих учеников, которые в зависимости от класса устремлялись в том или иной ряд. Я занял место среди дошколят, Обембе — среди первоклашек, Боджа встал с четвероклассниками, а Икенна — с пятиклассниками, он был второй с краю, у ограды. Когда все собрались, началась утренняя линейка. Школьники спели церковные гимны, прочитали «Отче наш», а после исполнили гимн Нигерии. Затем мистер Лоуренс, завуч, поднялся на подиум и открыл большой школьный журнал. Он стал в мегафон называть имена; каждый, услышав свои имя и фамилию, отзывался: «Здесь, сэр!» — и тут же вскидывал руку. Мистеру Лоуренсу приходилось вот так выкрикивать имена всех четырех сотен учащихся. Когда же он добрался до четвертого класса и назвал первое имя в столбце: «Боджанонимеокпу Альфред Агву», ученики разразились хохотом.

— В лица всех ваших отцов! — выкрикнул Боджа, вскинув обе руки и растопырив пальцы.

Это был жест проклятия, *waka*, в адрес насмешников.

Хохот умолк моментально: ребята застыли, не смея ни пошевелиться, ни слово сказать; сперва слышался редкий шепот, да и он быстро стих. Даже ужасный мистер Лоуренс, поровший крепче нашего отца и почти не расставававшийся с хлыстом, остолбенел на мгновение, не зная, что делать. Боджа успел разозлиться еще до школы: отец заставил его вынести на улицу обмоченный им с утра матрас. Может быть, именно поэтому он так и отреагировал; ребята в школе всегда смеялись, когда мистер Лоуренс, йоруба, пытался правильно произнести полное имя Боджи (а ведь мы были игбо). Прекрасно зная о неспособности мистера Лоуренса правильно произнести его имя, Боджа давно привык к тому, что тот использует условно похожие звуки, и в зависимости от его настроения варианты либо слух резали — Боджанонокву, — либо вызывали дикий смех — Боджанолооку. Боджа сам над этим хвастливо подшучивал: такой вот он грозный, словно божество какое-нибудь, попробуй без запинки назови его имя. До того утра Боджа подобными моментами наслаждался и никогда не жаловался.

На трибуну взошла директриса, и огорошенный

мистер Лоуренс отступил назад. Мегафон, переходя из рук в руки, издал скрежещущий звук.

— Кто произнес эти слова на территории детского сада и начальной школы Омотайо? Прославленного христианского учебного заведения, основанного и возведенного по слову Божьему? — спросила директриса.

Меня охватил страх, что Боджу за эту выходку непременно и сурово накажут: либо высекут прямо на трибуне, либо попросят «потрудиться», то есть подмести всю школьную территорию или голыми руками прополоть клумбы перед фасадом. Обембе стоял в двух рядах от меня; я пытался поймать его взгляд, но он неотрывно следил за Боджей.

— Я спросила: кто? — вновь пророкотала директриса.

— Это я, *ма*, — отозвался знакомый голос.

— Кто ты? — уже тише спросила директриса.

— Боджа.

Последовала короткая пауза, и затем глава нашей школы скомандовала:

— Подойди.

Боджа уже направился к трибуне, но тут вперед выбежал Икенна. Загородив ему путь, он закричал:

— Нет, *ма*, это несправедливо! Что он такого сделал? Что? Если собираетесь наказать его, то накажите и всех, кто над ним посмеялся. С какой стати они издеваются над моим братом?

Тишина, что последовала за этими смелыми словами, за неповиновением Икенны и Боджи, на миг обрела сакральный оттенок. Мегафон, вывалившись из дрогнувшей руки директрисы, упал на землю и противно заскрежетал. Директриса подобрала его и, положив на кафедру, отошла в сторону.

— Вообще, — снова заговорил Икенна, перекрикивая стаю птиц, устремившихся в сторону холмов, — это нечестно. Мы скорее из школы уйдем, чем станем терпеть несправедливое наказание. Мы с братьями все уйдем. Прямо сейчас. Есть и другие школы, где дают западное образование, получше вашего. Папа больше не станет отстегивать вам деньжищ.

В сверкающем зеркале памяти я снова вижу, как мистер Лоуренс неуклюже направился к своей длинной трости и как директриса остановила его жестом руки. Да и не останови она завуча, он все равно не угнался бы за Икенной и Боджей, которые уже шли через ряды однокашников. Те плавно расступались перед ними; ребят, как

и учителей, объял страх. Вот старшие братья схватили нас с Обембе за руки, и мы помчались прочь со двора.

Сразу мы домой не пошли: мама только родила Дэвида и на работу не ходила. Икенна сказал, что если вернемся меньше чем через час после ухода, то она разволнуется. Поэтому мы шатались по улицам, пока не забрели на самую крайнюю, за которой начинался пустой луг, отмеченный знаками типа «Частная собственность такого-то. Не входить». Мы остановились у фасада недостроенного дома; прошли мимо обгаженных собаками кирпичей и неровных горок песка, вошли под крышу недостройки и присели на вымощенный пол. Обембе предположил, что тут должна была быть гостиная.

— Видели бы вы физиономию директрисиной дочки, — сказал Боджа. Жутко довольные собой, мы принялись утрированно изображать учителей и других школьников, чтобы было похоже на сцену из фильма.

Мы еще с полчаса обсуждали случай на перекличке, когда наше внимание привлек нарастающий издалека шум. По дороге в нашу сторону неспешно катил грузовик «Бедфорд», обклеенный плакатами с портретом Вождя М.К.О. Абиолы,

кандидата в президенты от социал-демократической партии. Набившиеся в открытый кузов люди горланили песню, которая в те дни часто звучала по государственному телевидению. Песню, в которой М.К.О. называли «хозяином». Кто-то из пассажиров пел, кто-то играл на барабанах, а двое — в белых футболках с портретом М.К.О. — дули в трубы. По всей улице люди выходили из домов, сараев и лавок, выглядывали в окна. Некоторые из пассажиров грузовика спрыгивали на землю и принимались раздавать плакаты. Икенне, который вышел агитаторам навстречу, тогда как мы предпочли остаться в укрытии, достался небольшой, с улыбающимся М.К.О., белой лошадью рядом и вертикально расположенными словами: «Надежда 93-го. Прощай, бедность!» — в правом верхнем углу.

— Может, пойдем за ними и посмотрим на М.К.О.? — внезапно предложил Боджа. — Если он победит на выборах, потом всем будем хвастать, что вживую видели президента Нигерии!

— Э-э… верно, но если мы пойдем за ними в школьной форме, — возразил Икенна, — то нас, скорей всего, прогонят. Эти люди отлично знают, что уроки в школах еще идут и что никто бы нас с занятий не отпустил.

— А мы ответим, что увидели грузовик и побежали следом, — ответил на это Боджа.

— Да, да, — согласился Икенна, — тогда они нас зауважают.

— А может, не станем приближаться? Будем перебегать от дома к дому? — предложил Боджа. И когда Икенна одобрительно кивнул, добавил: — Так точно избежим неприятностей и увидим М.К.О.

Мы ухватились за эту мысль. Шли от дома к дому, от угла к углу, обогнули крупную церковь и районы северян. Из переулка, в котором располагалась большая бойня, доносились мерзкая вонь и стук ножей по доскам — это мясники разделывали туши. Мы слышали гам: голоса покупателей и мясников постепенно становились громче — вместе со стуком. У ворот бойни двое мужчин расстелили коврики и, опустившись на колени, отбивали поклоны в молитве. В нескольких метрах от них стоял третий и омывался из пластмассового чайничка.

Мы перешли дорогу и оказались в нашем районе. У наших ворот стояла пара, мужчина и женщина. Они не отрывали глаз от книги, которую женщина держала в руках. Мы припустили бегом, то и дело украдкой озираясь по сторонам —

не заметил ли нас кто из соседей, однако на улице было пусто. Мы прошли мимо небольшой церквушки, сложенной из тика, с цинковой крышей; на ее стене красовалось искусно выполненное изображение Иисуса: голову в терновом венце окружал нимб, из раны в боку по выпирающим ребрам текла кровь. Тут прямо по алым каплям пробежала, задрав хвост, ящерица; ее мерзкая фигура закрыла собой рану.

На открытых дверях лавок висела одежда, рядом стояли колченогие столики, заваленные помидорами, газированными напитками, пакетами с кукурузными хлопьями, молоком в жестяных банках и прочим. Напротив церкви располагался базар, занимавший приличную площадь. Процессия тем временем протиснулась по узкому проходу между стоявшими, как валуны, людьми, ларьками и лавочками; агитаторы шумели, привлекая внимание торговцев и посетителей. Скопление народа на рынке напоминало копошащуюся массу личинок. Обембе чуть было не лишился сандалии: какой-то мужчина своим тяжелым ботинком наступил ему на ремешок застежки, Обембе рванул ногу, и ремешок лопнул. Сандалия с одним оставшимся передним ремешком превратилась в шлепанец, и дальше — пока

мы топали с базара по изборожденной колеями грунтовке — Обембе подволакивал одну ногу.

Впрочем, далеко мы уйти не успели. Обембе остановился и, приложив ладонь к уху, неистово закричал:

— Слушайте, слушайте!

— Что такое? — спросил Икенна.

В этот момент до нас донесся шум, похожий на звуки, что издавала процессия, только ближе и отчетливей.

— Слушайте, — порывисто произнес Обембе, глядя в небо. И тут же закричал: — Ветролет! Ветролет!

— Вер-то-лет, — поправил Боджа. Говорил он гнусаво, потому что тоже запрокинул голову в небо.

Наконец вертолет пролетел над нами. Плавно опустившись с неба, он завис на уровне крыш двухэтажных зданий. Он был раскрашен в белый с зеленым — цвета Нигерии — и нес на борту, в центре овала, изображение готового к бегу белого коня. Рядом с открытой дверью сидели двое с флажками, почти закрывая собой еще двоих: человека в полицейской форме и мужчину в яркой *агбаде* цвета океанских вод, традиционном наряде йоруба. Район гудел, послышались крики:

«М.К.О. Абиола!» Ревели клаксоны, мотоциклы оглушительно выли моторами, а где-то поблизости начала собираться большая толпа.

— М.К.О.! — взахлеб кричал, подвывая, Икенна. — Это он, в вертолете!

Затем старший брат схватил меня за руку, и мы помчались к тому месту, где, как подумали, приземлится вертолет. Он стал садиться у великолепного здания, окруженного целым содружеством деревьев и девятифутовым забором с колючей проволокой. Здание, должно быть, принадлежало какому-нибудь влиятельному политику. Место посадки оказалось ближе, чем мы ожидали, и если не считать помощников и начальника охраны, которые дожидались М.К.О. у ворот, мы, к собственному удивлению, подоспели первыми. На бегу мы распевали одну из песен, которой сопровождалась избирательная кампания М.К.О., но остановились, глядя, как вертолет опускается на землю: быстро вращающиеся лопасти подняли тучу пыли, скрывшую М.К.О. и его жену Кудират, когда они выбирались из салона. Когда же пыль рассеялась, мы увидели, что и М.К.О., и его супруга облачены в сияющие традиционные одежды.

Начала собираться толпа. Охрана в форме и

штатском образовала живой кордон у нее на пути. Люди радостно гудели, хлопали, окликали Вождя по имени, а тот махал в ответ рукой. Тут же Икенна начал петь одну церковную песню, которую мы передрали, переделали на свой лад и пели, чтобы умилостивить мать, всякий раз, когда она злилась. Слово «Бог» мы поменяли на «мама», однако в тот день Икенна спел вместо «мама» «М.К.О.», и мы подхватили, крича во всю глотку:

М.К.О., ты велик превыше разуменья!
Не сказать о том в словах.
Ты превыше всякого сравненья
На земле и на Небесах!
Как измерить бескрайнюю мудрость?
Где пределы бездонной любви?
М.К.О., это большая трудность —
Описать дела Твои![9]

Мы уже пошли на второй круг, когда М.К.О. сделал знак помощникам, чтобы нас подвели к нему. Как одержимые, мы побежали Вождю

---

[9] Примечания: 9

Переделка песни Дарлин Чек «I Stand in Awe of You» («В восхищении стою пред Тобой»; переводчик неизвестен). Единственное отличие от оригинала — добавление имени М.К.О. в начале.

навстречу и предстали перед ним. Вблизи его лицо было круглое, а голова — вытянутая кверху. Когда М.К.О. улыбался, его глаза светились и черты наполнялись благодатью. Он вдруг стал живым человеком, а не персонажем из мира телепрограмм и газетных статей; он стал таким же реальным, как отец или Боджа, Игбафе или мои одноклассники. Это прозрение внезапно испугало меня. Бросил петь и перевел взгляд с сияющего лица М.К.О. на его начищенные туфли: сбоку на них висела бляшка с рельефным изображением головы чудовища, похожего на горгону Медузу из «Битвы титанов», любимого фильма Боджи. Позднее, когда я упомянул об этой голове, Икенна рассказал, что как-то чистил отцовские ботинки с таким же точно рельефом. Правда, марку он правильно назвать не мог и произнес по буквам: «В-е-р-с-а-ч-е».

— Как вас зовут? — спросил М.К.О.

— Я — Икенна Агву, — представился Икенна, — а это мои братья: Бенджамин, Боджа и Обембе.

— А, Бенджамин, — широко улыбнулся Вождь. — Так зовут моего деда.

Его супруга, с блестящей сумочкой в руках, одетая в такое же широкое одеяние, что и М.К.О., наклонилась и потрепала меня по голове — так,

как гладят лохматую собаку. Волосы у меня, правда, были короткие, и по черепу легонько чиркнуло что-то металлическое. Когда жена Вождя убрала руку, я понял, что это было: почти все пальцы у нее были унизаны перстнями. М.К.О. тем временем помахал рукой, приветствуя собравшуюся вокруг него толпу; люди скандировали слоган его кампании: «Надежда 93-го! Надежда 93-го!» Вождь какое-то время пытался обратиться к ним, повторяя слово *awon* — «эти» на йоруба, — на разные тона, но его не слышали.

Когда же наконец гомон стих и воцарилась относительная тишина, М.К.О. вскинул кулак и прокричал:

— Awon omo yi nipe M.K.O. lewa ju gbogbo nkan lo!

Толпа одобрительно взревела; кто-то даже свистел, сунув пальцы в рот. Вождь взирал на нас, дожидаясь, пока шум снова стихнет, а после продолжил по-английски:

— Сколько ни занимаюсь *политикой*, ни разу еще не слышал такого, даже от своих жен… — Толпа взорвалась смехом. — Мне вообще никто не говорил, что я велик превыше разуменья — «pe mo le wa ju gbogbo nka lo».

Снова раздался дружный веселый смех, а М.К.О.

потрепал меня по плечу.

— Эти мальчики говорят, что словами не опишешь, как я чудесен.

Окончание фразы потонуло в оглушительном грохоте аплодисментов.

— Они говорят, что я превыше всякого сравненья.

Толпа снова захлопала, а когда успокоилась, М.К.О. разразился самым мощным из всех возможных криков:

— Да, превыше всякого сравненья во всей Федеративной Республике Нигерия!

Ликование толпы, казалось, никогда не стихнет. Наконец Вождь снова заговорил, но в этот раз он обратился не к ней, а к нам:

— Вы кое-что сделаете для меня. Все вы, — сказал он, обведя нас указательным пальцем. — Мы вместе сфотографируемся, а снимок используем в нашей кампании.

Мы все кивнули, и Икенна ответил:

— Да, сэр.

— *Оуа*, встаньте рядом.

Он сделал знак одному из помощников — крепкому мужчине в тесном коричневом костюме и красном галстуке — подойти. Тот нагнулся и прошептал М.К.О. что-то на ухо — мы едва расслы-

шали слово «камера». Почти сразу же появился одетый с иголочки фотограф в синей рубашке и при галстуке; на шее у него, на черном ремешке с логотипом «Никон», висела камера. Прочие помощники М.К.О. постарались немного оттеснить толпу, пока Вождь, отойдя от нас, здоровался с хозяином дома — политиком, стоявшим поблизости и терпеливо дожидавшимся, когда и ему уделят внимание. Затем М.К.О. снова обернулся к нам:

— Ну, готовы?

— Да, сэр, — хором ответили мы.

— Отлично, — сказал М.К.О. — Я встану в центре, а вы двое, — он указал на меня и Икенну, — вот здесь. — Мы встали справа, а Обембе с Боджей слева. — Вот так, вот так, — бормотал М.К.О.

Фотограф опустился на колено, навел на нас объектив — и на мгновение яркая вспышка омыла наши лица. М.К.О. захлопал в ладоши; следом зааплодировала и весело закричала толпа.

— Благодарю вас, Бенджамин, Обембе, Икенна, — указывая на нас по очереди, произнес М.К.О. Остановившись на Бодже, он смущенно умолк и подождал, пока наш брат сам назовется. Потом неловко повторил: «Бо-джа».

— Ого! — воскликнул он и засмеялся. — Звучит как «Mo ja» («Я дрался» на йоруба). — А ты

дерешься?

Боджа замотал головой.

— Молодец, — пробормотал М.К.О. — И не надо, — погрозил он пальцем. — Драки — это нехорошо. В какой школе вы учитесь?

— В детском саду и начальной школе Омотайо, Акуре, — отчеканил я, как нас учили отвечать, кто бы и когда бы ни задал этот вопрос.

— Хорошо, молодец, Бен, — похвалил М.К.О. и обратился к толпе: — Дамы и господа, в рамках моей кампании это четверо братьев получат стипендию Мошуда Кашимаво Олавале Абиолы.

Толпа разразилась овацией, а Вождь запустил руку в глубокий боковой карман агбады и, достав оттуда пачку купюр, вручил их Икенне.

— Держи, — сказал он и подтянул к себе одного из помощников. — Это Ричард, он проводит вас домой и все передаст вашим родителям. Он также запишет ваши имена и адрес.

— Спасибо, сэр! — вскричали мы почти в унисон, но М.К.О. нас, кажется, уже не слышал. Он направился в сторону большого дома вместе с помощниками и хозяином, то и дело оборачиваясь и махая рукой людям.

Ричард отвел нас к припаркованному через дорогу черному «Мерседесу», и мы поехали домой.

С того дня мы гордо именовали себя парнями М.К.О. На одной из утренних линеек директриса — видно, забыв и простив обстоятельства, которые косвенно привели к нашей встрече с М.К.О., — толкнула длинную речь о том, как важно производить на людей хорошее впечатление и быть «добрыми посланниками школы», после чего вызвала нас на трибуну, под аплодисменты всей школы. Она объявила, что нашему отцу, мистеру Агву, отныне не надо платить за обучение — и это вызвало еще больше аплодисментов.

Несмотря, однако, на эти очевидные выгоды, на славу в нашем районе и за его пределами, на то, что отец избавился от части финансового бремени, календарем М.К.О. мы дорожили намного больше. Он служил символом, свидетельством нашей связи с человеком, в которого верил и которому отдал свои голоса на выборах весь запад Нигерии. В календаре заключалась надежда на будущее, ибо мы верили, что мы — дети Надежды 93-го, союзники М.К.О. Икенна думал, что когда Вождь станет президентом, мы поедем в Абуджу, столицу, где заседает правительство, и нас впустят, стоит показать календарь. Что М.К.О. назначит нас на высокие должности и со временем сделает одного из нас президентом. Мы все

в это верили и возлагали на календарь большие надежды. А Икенна взял и уничтожил его.

* * *

Когда метаморфоза Икенны приобрела катастрофический характер и стала угрожать нашей семейной идиллии, мать в отчаянии принялась искать решение. Она спрашивала. Она молилась. Она предупреждала. Все безуспешно.

Все очевиднее становилось, что Икенну, который некогда был нашим братом, словно запечатали в кувшине и бросили в океан, однако в день, когда пропал наш драгоценный календарь, мать была потрясена так, что словами не выразить. Когда она вечером пришла с работы, Боджа, сидевший посреди вороха обугленных клочков и давно уже рыдавший, собрал их в кулек и отдал ей со словами:

— Вот, мама, что стало с календарем М.К.О.

Мать сперва не поверила, и только увидев пустое место на стене, где прежде висел календарь, развернула кулек. Опустилась на стул возле гудящего холодильника. Она не хуже нас знала, что всего нам досталось два экземпляра этого календаря, и один из них отец с радостью подарил директрисе. Та повесила плакат у себя в кабинете

— после того как пришли помощники М.К.О. хлопотать о стипендии.

— Что нашло на Икенну? — спросила мать. — Он ведь за этот календарь убить мог. Он за него с Обембе подрался.

Она несколько раз сплюнула: «Tufia!» — «не дай Бог» на игбо — и суеверно защелкала над головою пальцами, чтобы, поминая вслух то происшествие, не накаркать чего плохого. Икенна как-то побил Обембе за то, что тот прихлопнул севшего на календарь москита. На картинке осталось несмываемое пятнышко крови, прямо на левом глазу М.К.О.

Мать сидела и размышляла о том, что стало с Икенной. Она переживала, ведь до недавнего времени он был нашим любимым братом, предшественником, явившимся в этот мир вперед нас. Он открыл перед нами все двери, направлял нас, защищал и вел, держа в руке яркий факел. И пусть порой наказывал меня и Обембе или спорил с Боджей, он становился свирепым львом, если чужак смел угрожать любому из нас. Я не представлял себе, как обходиться без Икенны, как жить, не видя его, но именно это и стало происходить, а со временем выяснилось, что он намеренно причинял нам боль.

Увидев на месте календаря пустоту, мать ничего не сказала. Она лишь приготовила *эба* и разогрела горшочек супа из косточек огбоно. Накормив нас ужином, удалилась к себе. Я уж думал — спать легла, однако где-то около полуночи она вошла в комнату к нам с Обембе.

— Проснитесь, проснитесь, — растолкла она нас.

Я от неожиданности даже вскрикнул: прямо передо мной в кромешной темноте поблескивала пара глаз.

— Это я, — сказала мать, — слышишь? Это я.

— Да, мама.

— Чш-ш-ш-ш… не кричи. Нкем разбудишь.

Я кивнул. Обембе не закричал, как я, но тоже кивнул.

— Хочу вас кое о чем попросить, — прошептала мать. — Вы окончательно проснулись?

Она снова потрепала меня по ноге. Я дернулся и громко ответил:

— Да!

Обембе повторил за мной.

— Ehen, — пробормотала мать. Вид у нее был такой, будто она долго плакала или молилась, а может, плакала и молилась одновременно. Незадолго до этого дня — а если точно, еще когда

Икенна отказался идти с Боджей в аптеку, — я спросил у Обембе, почему мать так много плачет, ведь она не ребенок и ей по возрасту не положено часто лить слезы. Обембе признался, что не знает, но думает, что женщины вообще плаксы.

— Послушайте, — сказала мать, присаживаясь на кровать, — я хочу, чтобы вы рассказали, из-за чего раздор между Икенной и Боджей. Уверена, вы оба знаете, поэтому отвечайте. Быстро, быстро.

— Я не знаю, мама, — ответил я.

— Нет, знаешь. Что-то явно произошло: драка ли, ссора… Но что-то случилось. Подумай.

Кивнув, я попытался сообразить, чего от нас хочет мать.

— Обембе, — обратилась она к моему брату, наткнувшись на стену молчания.

— Мама?

— Скажи мне, своей матери, из-за чего произошел раздор между твоими старшими братьями? — попросила она, только на сей раз по-английски. Подтянула узелок обернутой вокруг груди враппы, как будто та начинала сползать. Мать всегда так делала, когда нервничала. — Они подрались?

— Нет, — ответил Обембе.

— Это правда, Бен?

— Да, правда, мама.

— Fa lu ru ogu — они повздорили? — спросила она, снова переходя на игбо.

Мы вразнобой — Обембе чуть отстал от меня — ответили: «Нет».

— Так что же тогда случилось? — немного помолчав, спросила мать. — Говорите же, мои принцы. Обембе Игве, Азикиве, gwa nu mu ife me lu nu, biko, мои мужчины! — взмолилась она, пытаясь растопить наши сердца ласковыми прозвищами, к каким прибегала в такие вот моменты, когда хотела выведать у нас что-нибудь. К Обембе она обращалась, словно к *игве*, традиционному королю, а меня пожаловала именем первого коренного нигерийца — президента нашей страны, доктора Ннамди Азикиве.

Обембе уставился на меня, и сразу стало ясно: что бы он ни скрывал, сейчас — когда мать его молит — готов все выложить. Мать уже победила: стоило еще раз повторить ласковое обращение, и Обембе раскололся. Родители хорошо умели копаться в наших головах; знали, как вытянуть ответы из глубин наших душ, и порой казалось, что они наперед знают все, о чем спрашивают, просто ищут подтверждения.

— Мама, все началось в тот день, когда на берегу Оми-Алы мы встретили Абулу, — произнес Обембе.

— Что? Безумца Абулу? — вскричала мать, в ужасе вскакивая на ноги.

Обембе, видно, не ожидал такой реакции. Вероятно, он испугался, потому что, опустив глаза на голый матрас перед собой, молчал. Это же была тайна за семью печатями, раскрывать которую нам запретил Боджа — сразу после того, как Икенна провел между собой и нами границу: «Вы сами видели, как это повлияло на Икенну, — сказал тогда Боджа, — поэтому держите рот на замке». Мы обещали стереть тот случай из памяти, вырезать его из наших умов, как кусок мозга.

— Я задала вопрос, — сказала мать. — О каком Абулу речь? О безумце?

— Да, — шепотом подтвердил Обембе и быстро глянул на стену, разделявшую нас и старших братьев. Боялся, наверное, что те могли услышать, что он выдал наш секрет.

— *Chi-neke!* — вскричала мать. Схватившись за голову, она медленно присела обратно. Так, ничего больше не говоря, лишь скрипя зубами и цыкая, она просидела некоторое время. — А теперь, — внезапно заговорила она, — быстро

выкладывайте, что случилось, когда вы его встретили? Ты слышал меня, Обембе? Последний раз спрашиваю: что произошло тогда на реке?

Обембе все еще медлил: ему было страшно приступать к рассказу, пусть он уже и сообщил самое главное. Однако было уже поздно: мать в нетерпении ждала дальнейших признаний. Взобравшись на холм, она внезапно увидела хищную птицу, что приближается к ее стаду. И, как сокольник, приготовилась к схватке. Сопротивляться ей, даже при всем желании, было бесполезно.

* * *

За неделю с небольшим до того, как соседка раскрыла нас, мы всей гурьбой возвращались с реки и на песчаной тропинке встретили Абулу. По пути мы обсуждали двух крупных тилапий, которых поймали; Икенна горячо утверждал, будто одна из них — симфизодон. Мы вышли на прогалину, где росло манговое дерево и располагалась Небесная церковь, и тут Кайоде воскликнул:

— Глядите, мертвец под деревом! Мертвец! Мертвец!

Мы все посмотрели в сторону мангового дерева: под ним, на подстилке из опавших листьев, головой на сломанной зеленой ветке, лежал человек.

Кругом валялись плоды разных цветов — желтые, зеленые, красные — и размеров; какие-то начали портиться, какие-то уже гнили. Какие-то были раздавлены, а какие-то поклеваны птицами. Страшные стопы мужчины — а он лежал ногами в нашу сторону — поразил грибок. Болезнь прочертила на них глубокие линии, превратив в некое подобие запутанной карты, которая была разукрашена жухлыми листьями, застрявшими в бороздах.

— Это не покойник, — спокойно возразил Икенна. — Слышите, он мычит, мелодию напевает? Должно быть, сумасшедший. Ведь так ведут себя сумасшедшие.

Пока Икенна не сказал, я и не слышал никакой мелодии.

— Икенна прав, — согласился Соломон. — Это Абулу, безумный провидец. — Щелкнув пальцами, он добавил: — Мне противен этот человек.

Икенна ахнул:

— Так это он?

— Да, это Абулу, — подтвердил Соломон.

— Я его не узнал.

Я присмотрелся к человеку, о котором Икенне и Соломону, как оказалось, многое известно. Мне он прежде ни разу не попадался. По улицам Акуре

бродило великое множество безумцев, изгоев и попрошаек, однако ни в одном из них не было ничего примечательного, и потому мне показалось странным, что этого не просто выделяют среди прочих, но еще и знают по имени. Внезапно безумец вскинул руки в странном и одновременно величественном жесте, вызвавшем у меня благоговейный страх.

— Посмотрите-ка на это! — воскликнул Боджа.

Абулу сел, неотрывно глядя куда-то вдаль.

— Оставим его и пойдем дальше, — сказал тогда Соломон. — Не надо с ним разговаривать. Давайте просто уйдем, оставим его…

— Нет-нет, надо его чуток встряхнуть, — предложил Боджа и направился к мужчине. — Зачем уходить, если можно повеселиться? Послушайте, давайте его напугаем и…

— Нет! — решительно возразил Соломон. — С ума сошел? Разве не знаешь, что это злой человек? Разве не слышал о нем?

Соломон еще не закончил, но тут безумец взревел от смеха. Испугавшись, Боджа быстро попятился и снова встал рядом с нами, а Абулу, ни дать ни взять акробат, совершил немыслимый прыжок и оказался на ногах. Затем он вытянул руки по бокам, сжал свои бедра и доской упал

на спину. Пораженные этаким гимнастическим этюдом, мы захлопали в ладоши и восторженно закричали.

— Да он гигант, Супермен! — вскричал Кайоде, и все рассмеялись.

Мы и забыли, что возвращались домой: тьма уже медленно смыкалась над горизонтом, и мать вскоре могла хватиться нас. Восхищенный, зачарованный этим странным человеком, я прикрыл рот ладонью и сказал:

— Он — точно лев!

— Бен, ты всех с животными сравниваешь, — раздраженно покачал головой Икенна. — Он ни на кого не похож. Он просто безумец, слышишь? Безумец.

Забывшись, я взирал на это поразительное создание со всем доступным мне вниманием, впитывая детали. С ног до головы Абулу был покрыт грязью. Когда он проворно вскочил на ноги, часть этой грязи поднялась вместе с ним, а часть — осталась лежать лоскутами на земле. На лице, прямо под подбородком, у него красовался свежий шрам, а спина была вымазана в мякоти полуразложившегося манго. Сухие губы его растрескались. Свалявшиеся и спутанные волосы щупальцами ниспадали на плечи, делая

его похожим на растафари. Глядя на его зубы, большинство которые были черные, словно опаленные, я вспомнил о цыганах-огнеглотателях и цирковых артистах, которые, как мне всегда думалось, сжигали себе зубы во время представлений, выдувая изо рта огонь.

Абулу лежал перед нами совершенно голый, если не считать тряпки, спускающейся с плеча до пояса. На лобке у него росли густые волосы, из которых выглядывал вялый, словно веревочка от штанов, и жилковатый член. Ноги были покрыты набухшими варикозными венами.

Кайоде подобрал одно манго и запустил им в безумца, а тот, словно только этого и ждал, перехватил плод прямо в воздухе. Удерживая его в вытянутой руке, точно какую-то мерзость, Абулу медленно поднялся на ноги и с диким, пронзительным криком швырнул манго в небо. Да так высоко, что плод, наверное, упал на землю где-нибудь посреди города, милях в двадцати от реки. У нас аж ноги подкосились.

Парализованные, мы молча смотрели на этого человека, пока Соломон наконец не вышел вперед и не произнес:

— Видали? Я же вам говорил. Разве человеческое существо на такое способно? — он указал

вслед улетевшему манго. — Это злой человек. Оставим его и пойдем домой. Разве не знаете, что он родного брата убил? Что может быть хуже братоубийства? — Он схватился за мочку уха, точно старший, поучающий ребенка: — Мы должны вернуться по домам, сейчас же!

— Он прав, — подумав, согласился Икенна. — Нам всем пора домой. Смотрите: уже поздно.

Мы развернулись и пошли прочь, но тут Абулу разразился хохотом.

— Не слушайте. — Соломон замахал руками, торопя нас. Все пошли дальше, а я продолжал стоять на месте. Из-за слов Соломона меня вдруг охватил страх: что, если этот страшный человек накинется на нас и убьет? Я обернулся, и, когда увидел, что безумец следует за нами, мой страх разгорелся ярче.

— Бежим! — закричал я. — Он убьет нас!

— Нет, он не может нас убить, — возразил Икенна и развернулся к Абулу. — Он же видит, что мы вооружены.

— Чем? — спросил Боджа.

— Удочками, — резко бросил Икенна. — Если он приблизится к нам, мы порвем его плоть крючками, как рыбу, а тело бросим в воду.

Угроза как будто подействовала: безумец оста-

новился и, прикрыв лицо руками, стал издавать какие-то звуки. Мы двинулись дальше и успели отойти на приличное расстояние, когда вдруг дикий голос прокричал имя Икенны. Пораженные, мы замерли на месте.

— *Икена*, — снова позвал громкий голос с акцентом йоруба: растянув звук «и» и проглотив вторую «н», так что получилось «И-икена».

Мы в замешательстве завертели головами, пытаясь определить, кто это зовет Икенну, но увидели только Абулу: безумец стоял в нескольких метрах от нас, скрестив на груди руки.

— Икена, — громко повторил Абулу, потихоньку приближаясь.

— Не будем слушать его пророчеств. О le wu — это опасно! — закричал Соломон. К его акценту йоруба добавилась еще и гнусавость диалекта Ойо. — Идем домой, идем. — Он подтолкнул Икенну. — Не надо слушать пророчеств Абулу, Ике. Идем!

— Да, Ике, — согласился Кайоде, — в нем бес, а мы — христиане.

Какое-то время мы ждали. Икенна неотрывно смотрел на безумца, а потом, не поворачиваясь к нам, замотал головой и крикнул:

— Нет!

— Почему нет? Разве ты не знаешь, кто такой Абулу? — Соломон схватил Икенну за футболку, но мой брат оттолкнул приятеля. У Соломона в руке остался клочок старой пестрой ткани.

— Оставьте меня, — сказал Икенна. — Я не уйду. Он назвал мое имя. *Он назвал мое имя.* Откуда он его знает? Как… откуда он узнал, как меня зовут?

— Может, от кого-то из нас услышал? — предположил Соломон, тоже повышая голос.

— Нет, не слышал! — прокричал в ответ Икенна. — Никто при нем меня по имени не называл.

Только он это произнес, как Абулу снова позвал его: «Икена», но уже тише и осторожнее. Затем безумец вскинул руки и затянул песню, которую — не ведая о ее смысле и назначении — пели и у нас в районе. Называлась песня «Сеятель».

Мы все — даже Соломон — слушали, как восторженно поет старик, но вот Соломон покачал головой и подобрал с земли удочку. Выбросил клок Икенновой футболки и сказал:

— Хочешь — оставайся тут со своими братьями, а я пойду.

Он повернулся и пошел прочь. Кайоде отправился за ним, а Игбафе еще некоторое время нерешительно смотрел то на нас, то на удаляющихся приятелей. Затем медленно двинулся

следом, а метров через сто сорвался на бег.

К тому времени, когда все трое скрылись из виду, Абулу закончил петь и снова обратился к Икенне. Произнеся его имя раз, наверное, тысячу, он возвел очи горе, поднял руки и прокричал:

— Икена, в день твоей смерти тебя поймают, точно птицу! — Он накрыл глаза ладонями.

— Икена, ты оглохнешь, — сказал он и накрыл ладонями уши.

— Икена, ты станешь немощен. — Он широко расставил ноги и сложил руки в молитвенном жесте. Затем резко свел колени и рухнул в грязь навзничь, словно кости у него в ногах переломились.

— Язык твой вылезет изо рта, точно голодный зверь, и уже не вернется на место. — Он высунул язык и свесил его в сторону.

— Икена, ты будешь хвататься за воздух, но ничего не поймаешь. Икена, в этот день ты откроешь рот, чтобы заговорить… — безумец распахнул рот и изобразил удушье, — …но слова так и застрянут у тебя в горле.

Гул приближающегося самолета превратил речь Абулу в жалостливое нытье, а потом — когда самолет пролетал прямо над нами — голос безумца и вовсе пропал среди шума, точно про-

глоченный удавом. Напоследок мы лишь едва расслышали:

— Икена, ты поплывешь по красной реке, но уже не выйдешь из нее. Твоя жизнь…

Вечер потонул в какофонии гула и радостных детских голосов, где-то поблизости приветствовавших самолет. Абулу, сбитый с толку, метнул вверх бешеный взгляд и, придя в ярость, перешел на крик. Но и теперь его речь звучала не громче шепота; правда, когда гул стал затихать, мы все услышали:

— …Икена, тебя зарежут, как петуха.

Наконец Абулу умолк, и лицо его осветилось облегчением. Он принялся водить в воздухе рукой, будто писал на скрытом от глаз листе бумаги или на странице книги невидимым пером. Закончив, он отправился дальше. На ходу он пел и прихлопывал в ладоши.

Мы смотрели ему вслед — как он раскачивается взад-вперед, пританцовывая, — а колкие слова песни жалили нас, точно пыль на ветру.

A fe f ko le fe ko Доколе ветер не дует,
ma kan igi oko не шевеля кроны,

Osupa ko le hon ki Доколе не скроешь
enikan fi aso di лунного света за шир-

мой,

Oh, Olu Orun, О, Отец воинств,
eni ti mo je Ojise fun чью волю я доношу,

E fa orun ya, Молю, разверзни
e je ki ojo ro хляби небесные,

Ki oro ti mo to Дабы взошли семена,
gbin ba le gbo посеянные мною,

E ba igba orun je, Измени времена года,
ki oro mi bale mi дабы дышать могло слово мое

Ki won ba le gbo. И принести плод.

Постепенно безумец скрылся из виду, унося с собой и песню, и следы своего присутствия: вонь, тень, что цеплялась за деревья и стелилась по земле. Только тогда я заметил, что ночь плотно обступила нас: сумеречным навесом накрыла она своды мира и в мгновение ока превратила птичье гнездо в ветвях мангового дерева да кусты крапивы вокруг в непроглядную черноту. Потемнел и флаг Нигерии, реявший над полицейским участком в двухстах метрах от нас, а холмы в отдалении слились с горизонтом, словно стерлась

граница между небесами и землей.

Домой мы с братьями пришли в синяках, как будто поучаствовали в мелкой драке. А мир вокруг продолжал жить, как заведенный, ничего в нем не изменилось, и ничто не говорило и том, какое зловещее событие произошло с нами. Улицы кипели жизнью, оглашаемые ночной какофонией: при свете фонарей и свеч торговцы с тротуаров зазывали прохожих, а люди ходили мимо, отбрасывая похожие на фрески в натуральную величину тени на дорогу, стены, деревья и дома. В деревянной лавочке, накрытой брезентом, за чадящим угольным мангалом стоял, поворачивая мясо на вертеле, человек из племени хауса, в наряде северянина. Разделенные с ним сточной канавой, на скамейке сидели две женщины — сгорбившись над огнем, они жарили кукурузу.

Мы уже подошли к дому на вержение камня, когда Икенна внезапно замер на месте и встал перед нами, темным силуэтом во тьме преграждая дорогу.

— Слышал ли кто-нибудь из вас, что он говорил, когда над нами пролетал самолет? — неуверенным и в то же время выдержанным тоном спросил он. — Я не расслышал, что говорил Абу-

лу.

Я безумца вовсе не слушал: самолет полностью завладел моим вниманием. Когда он показался в небе, я притенил глаза ладонью и смотрел на него, пытаясь разглядеть в иллюминаторах пассажиров — наверняка иностранцев, — которые летели куда-то — скорее всего, в одну из стран Запада. Боджа с Обембе тоже, видимо, не слышали безумца: они молчали. Но когда Икенна развернулся и хотел было уже идти дальше, Обембе вдруг сказал:

— Я слышал его.

— Чего тогда ждешь? — прогремел Икенна, и мы попятились.

Обембе напрягся, готовый к удару.

— Ты оглох? — прокричал Икенна.

Ярость в его голосе испугала меня. Я опустил взгляд — лишь бы не видеть брата, — и стал рассматривать его тень. Та, следуя за движениями тела, бросила что-то на землю и поплыла к Обембе; на мгновение ее голова вытянулась и тут же приняла обычную форму. Тень остановилась и коротко махнула руками; загремела банка, которую Обембе нес в руках, и на ногу мне выплеснулась вода. Две рыбешки — одну из которых Икенна, яростно споря, называл симфи-

зодоном, — запрыгали, извиваясь, в грязи. Банка покатывалась из стороны в сторону, выливая содержимое — воду с головастиками — в пыль, пока наконец не остановилась. На мгновение тени тоже застыли; потом рука одной из них вытянулась и перекинулась на противоположную сторону улицы. Икенна закричал:

— Говори!

— Ты что, не слышал его? — угрожающе спросил Боджа, хотя Обембе — заслонившись рукой в ожидании удара — уже начал отвечать.

— Он сказал, — запинаясь, проговорил Обембе и умолк, когда на него накинулся Боджа. Но вот он начал сначала: — Он сказал… сказал, что тебя убьет рыбак, Ике.

— Что? Рыбак? — громко переспросил Боджа.

— Рыбак? — эхом повторил Икенна.

— Да, рыб… — Обембе не закончил; его трясло.

— Ты уверен? — спросил Боджа. Обембе кивнул, и тот уточнил: — Как он это сказал?

— Он сказал: «Икена, ты…» — Обембе замолчал, губы у него дрожали. Он обвел взглядом нас троих, опустил глаза и лишь затем, глядя в землю, продолжил: — Он сказал: «Икена, ты умрешь от рук рыбака».

После этих слов лицо Икенна стало мрачнее

тучи — никогда этого не забуду. Он поднял взгляд, словно ища что-то, а после обернулся в сторону, куда ушел безумец. Но там уже не было видно ничего, кроме окрашенного оранжевым неба.

У самых ворот дома Икенна остановился и посмотрел на нас. Не глядя ни на кого в отдельности, он сказал:

— Ему было видение, что один из вас убьет меня.

Видно было, что слова так и просятся ему на язык, но не слетают — словно привязанные за веревку, которую тянет обратно невидимая рука. Не зная, нужно ли что-то говорить или делать, не дожидаясь от нас ответа — хотя Боджа уже раскрыл рот, собираясь что-то сказать, — Икенна прошел во двор. Мы — следом за ним.

6. Безумец

Тех, кого боги решают погубить, они поражают безумием.

Пословица народа игбо

Абулу был безумцем.

Обембе сказал, что однажды с ним произошел несчастный случай. Абулу тогда едва выжил, но мозг его превратился в кровавое месиво. Оказалось, Обембе, который объяснял мне большинство непонятных вещей, даже откуда-то знает историю этого безумца, и вот, как-то ночью, он поведал ее мне. У Абулу, по словам Обмембе, как и у нас, был когда-то брат, и звали его Абана. На нашей улице кое-кто еще помнит их обоих: они ходили в колледж Фомы Аквинского, элитную среднюю школу для мальчиков, в белых рубашечках и белых же шортах, всегда безупречно чистых. Обембе сказал, что Абулу своего брата любил и они были неразлучны.

Абулу с братом росли без отца.

Когда они были детьми, их отец отправился в паломничество в Израиль, да так и не вернулся. Многие думали, что он погиб в Иерусалиме при

взрыве бомбы, но его друг, который отправился вместе с ним, сказал: отец Абулу встретил одну австрийку и уехал жить к ней на родину. Абулу и Абана росли с матерью и старшей сестрой, а та, когда ей исполнилось пятнадцать, занялась проституцией и перебралась в Лагос.

Их мать управляла небольшим ресторанчиком. Построенный из дерева и цинка, он стоял на нашей улице и в восьмидесятых был весьма популярен. Обембе сказал, что даже наш отец обедал там пару раз, когда мать была беременна и ей было слишком тяжело готовить. Абулу с братом приходили после школы в ресторан помогать матери: мыли посуду и убирали шаткие столики за каждым клиентом, подновляли зубочистки, мыли полы — с каждым годом они становились все темнее от грязи, пока наконец не сделались похожи на пол в мастерской автомеханика, и пальмовыми веерами отгоняли мух в сезон дождей. Но, несмотря на все усилия, ресторан приносил мало дохода, и семья больше не могла себе позволить нормальное образование.

Бедность и нужда взорвалась в головах двух мальчишек, точно граната — поразив их разум осколками отчаяния, — и со временем они стали воровать. Однажды они обнесли дом богатой

вдовы: пришли к ней с ножами и игрушечными пистолетами и взяли полный денег портфель, но стоило им выбежать на улицу, как вдова подняла тревогу, и за ворами в погоню бросилась толпа. Когда Абулу, спасаясь от преследователей, перебегал широкую улицу, его на полном ходу сбила машина. Водитель скрылся, а толпа поспешно рассосалась, оставив Абану наедине с раненым братом. Абана кое-как умудрился самостоятельно донести Абулу до больницы, где врачи тут же бросились его спасать. Серое вещество — по словам Обембе — перетекло из одних отделов мозга в другие. К страшному физическому ущербу добавился еще и умственный.

Когда Абулу выписали, он вернулся домой — но уже совершенно иным человеком: он был как младенец, чей разум напоминает совершенно чистый — без единого пятнышка — белый лист. В те дни он только и делал, что сидел и пялился в одну точку, словно во всем его теле из органов имелись одни глаза и они выполняли все нужные функции. Или же как будто все органы в теле, за исключением глаз, отказали. Шло время, и стало проявляться безумие: порой оно дремало, но легко пробуждалось — точно потревоженный тигр. А пробудить это безумие могла масса самых

разнообразных вещей: происшествие, зрелище, слово, да что угодно… В самый первый раз это был звук самолета, пролетавшего над домом: Абулу в гневе заорал и принялся рвать на себе одежду. Он и из дома выбежал бы, но Абана вовремя успел перехватить его — прижал к полу и не отпускал, пока брат не обмяк и не заснул, растянувшичсь на полу. В следующий раз приступ вызвала нагота матери: Абулу сидел в гостиной, устроившись в одном из кресел, и вдруг заметил, как мать, раздетая, идет в ванную. Абулу вскочил, будто призрака увидел, и, притаившись за дверью, стал следить за ней в замочную скважину. Кто знает, что у него тогда в голове творилось, да только он достал из штанов восставший член и принялся себя ласкать. Увидев, что мать закончила и готова выйти, он перепрятался и быстренько разделся, потом прокрался к ней в спальню, повалил на кровать и изнасиловал.

После Абулу даже не подумал отпустить мать; возлежал с ней, точно с женой, пока она плакала и убивалась от горя. Но вот домой вернулся Абана. Взбешенный тем, что натворил Абулу, он схватился за кожаный ремень и принялся пороть брата. Он не останавливался, хотя мать и умоляла пощадить Абулу, но наконец тот вырвался

и вылетел из комнаты, объятый жгучей болью. В гостиной он вырвал телеантенну из хрупкой подставки и, вернувшись в спальню матери, пригвоздил этим прутом брата к стене. Потом, устрашающе заверещав, выбежал из дома. Безумие завладело им окончательно.

Первые несколько лет Абулу спал где придется: на базарах, в недостроенных домах, на помойках, в открытых коллекторах и даже под припаркованными машинами — словом, везде, где заставала его ночь, пока не нашел разбитый фургон в нескольких метрах от нашего дома. В 1985 году эта машина врезалась в электрический столб — в аварии погибла целая семья. Из-за кровавой истории фургон стал никому не нужен и постепенно, разрушаясь, превратился в царство диких кактусов и слоновой травы. Наткнувшись на машину, Абулу принялся за дело: изгнал колонии пауков и неприкаянные души покойников, чья кровь навечно оставила пятна на сиденьях. Убрал осколки стекла, крохотные островки дикого мха, которым поросла голая, траченная молью обшивка в салоне. А заодно уничтожил беспомощное племя тараканов. Затем он сложил в грузовике свои пожитки: вещи, подобранные в мусорках, ненужные выброшенные предметы, да

почти все, что когда-то привлекло его внимание. Так он устроил себе жилище.

Охваченный безумием, разум Абулу разделился надвое: словно в голове у него сидело сразу два дьявола и оба наигрывали разные мелодии, каждый на свой лад. Когда один из них исполнял мелодию повседневного, или обычного, сумасшествия, Абулу бродил по улицам — голый, грязный, вонючий, преследуемый облаком мух; копался в мусорках и ел то, что находил; громко разговаривал сам с собой или с невидимыми собеседниками — на языках не от мира сего, орал на разные предметы, танцевал на углах улиц, подбирал с земли палочки и ковырял ими в зубах, испражнялся на обочинах — в общем, делал все, что делают простые бродяги. Волосы у него сильно отросли, лицо, лоснящееся и чумазое, покрылось чирьями. Время от времени он беседовал с целыми толпами двойников и невидимых друзей, чье присутствие было скрыто от глаз обыкновенных людей. Во власти этого безумия Абулу превращался в человека идущего — он шел и шел, почти не останавливаясь. Ходил он большей частью босой, по немощеным дорогам, из сезона в сезон, из месяца в месяц, из года в год. Ходил по помойкам, по шатким мостам из

занозистых досок и даже по стройкам, где на земле валялись гвозди, куски железа, сломанные инструменты, стекло и прочие острые предметы.

Однажды на дороге столкнулись две машины, и Абулу — не зная об аварии — прошелся по битому стеклу. Изрезал себе ноги и чуть не истек кровью: рухнул на землю и пролежал без сознания, пока его не нашли полицейские. Они забрали его, а через неделю Абулу вернулся в свой фургон; многие, кто видел, что случилось, думали, что он умер, и потому поразились. Покрытый шрамами, Абулу шел домой в больничной пижаме и медицинских чулках, скрывающих варикозные вены.

Во власти безумия Абулу ходил полностью голый, выставляя напоказ огромный член — порой восставший, словно это было обручальное кольцо стоимостью в миллион найр. Однажды его член стал предметом известного скандала, эту историю потом обсуждали по всему городу. Одна вдова так сильно хотела родить, что соблазнила Абулу: как-то ночью отвела его к себе за руку, отмыла и занялась с ним сексом. Если верить слухам, в обществе той женщины безумие Абулу на время отступило. Но когда эта история стала известна окружающим, люди принялись дразнить вдову женой Абулу. Не выдержав, она уехала из

города, а Абулу осталось тяжкое помешательство на женщинах и сексе. Вскоре поползли слухи о его ночных визитах в отель «Ля Рум»: поговаривали, будто некоторые из проституток тайком, под покровом ночи периодически проводили Абулу к себе в комнаты. Этим легендам в популярности не уступали пересуды о его публичных мастурбациях. Соломон как-то рассказал нам, что вместе с несколькими людьми видел, как у реки, под манговым деревом, возле Небесной церкви дрочит один безумец. Правда, я тогда еще даже не знал про Абулу и не понял значение слова «дрочит». А Соломон продолжал рассказывать про Абулу: в 1993 году его поймали, когда он лип к цветной статуе Мадонны перед кафедральным собором Святого Андрея. Должно быть, Абулу принял ее за красивую женщину, которая — в отличие от прочих — даже не пыталась пресечь его приставания. Он принялся тереться об нее, постанывать; собралась толпа, люди смеялись над сумасшедшим, пока наконец какие-то набожные люди не оттащили его прочь. Совет католиков потом убрал осквернённую статую и воздвиг новую, но уже в пределах двора, за оградой. Не удовольствовавшись мерами безопасности, они дополнительно обнесли ее железным заборчи-

ком.

Несмотря на беспорядки, которые учинял Абулу, в таком состоянии он никому никогда не вредил.

Вторая же ипостась его безумия была из разряда невероятного: состояние, в которое он входил внезапно, урывками, словно бы находясь еще в нашем мире, — ковыряясь на помойке или танцуя под неслышимую музыку, или еще что — он внезапно впадал в мир снов. Правда, и в этом состоянии он не покидал нашего мира полностью. Он пребывал в обоих — одной ногой здесь, другой — там; он словно превращался в проводника между двумя царствами, в незваного посредника. И приносил послания людям этого мира. Он вызывал дремлющих духов, раздувал крохотные огоньки до яростных пожаров и рушил жизни многих. Входил он в это состояние почти всегда по вечерам, когда гас солнечный свет. Превращаясь в Абулу Пророка, он принимался петь, хлопать в ладоши и предсказывать. Проникал, словно вор, за незапертые ворота, если за ними жили те, кому предназначалось пророчество. Чтобы сообщить о своих видениях, он мог прервать что угодно — даже похороны. Он стал пророком, пугалом, божеством, даже оракулом. Зачастую, однако, он

сотрясал оба мира или перемещался между ними так, словно барьер был тонок, как девственная плева. Порой, натыкаясь на того, кому он хотел предречь будущее, он на время впадал в измененное состояние и тогда произносил пророчество. Он мог даже погнаться за автомобилем, выкрикивая на ходу прорицание, если там сидел тот, кто был ему нужен. Люди, бывало, сильно злились и ожесточались, когда он заставлял их выслушивать пророчества; порой его даже ранили. Люди вываливали ему на голову проклятия, как грязные тряпки, плакали и горестно причитали.

А ненавидели его потому, что верили, будто уста его — источник несчастий. Язык у него был — что жало скорпиона. Пророчества рождали в людях страх перед злой судьбой, ожидающей их. Сперва, конечно, никто не обращал на них внимания, но вот одно за другим они стали сбываться, убивая всякую надежду на простое стечение обстоятельств. Одним из ранних и самых известных случаев стала предсказанная Абулу жуткая автоавария, унесшая жизни целой семьи: машина свалилась в глубокую и широкую часть Оми-Алы, близ города Ово. Все случилось ровно так, как предрекал Абулу. Одному мужчине он пообещал смерть «от удовольствия» — через пару

дней того вынесли вперед ногами из борделя: он умер прямо во время секса с одной из проституток. Прорицания Абулу запечатлевались в умах людей огненными буквами, вызывая глубокий страх. Они теперь считали, что предсказанного не избежать, верили, что Абулу — оракул, что он — телеграфист судьбы. Отныне, что бы он кому ни предсказывал, человек безоговорочно верил в это. А многие даже пытались предотвратить грядущее. Самым памятным стал случай, когда пятнадцатилетняя дочь владельца крупного театра в нашем городе покончила с собой. Абулу предсказал, что ее жестоко изнасилует родной сын. Глубоко потрясенная ожидающим ее мрачным будущим, она наложила на себя руки, оставив записку, в которой написала, что не хочет ждать, когда это случится.

Со временем безумец стал бичом для всех, грозой нашего города. Песню, которую он пел после пророчеств, знал чуть ли не каждый горожанин, и все страшились ее.

Если что и беспокоило окружающих сильнее, так это способность Абулу проникать в их прошлое — столь же легко, как и в будущее. Частенько он разоблачал тщеславные царства умов человеческих и срывал покровы с секретов,

как с погребенных трупов. Итоги всегда приводили в ужас: однажды он увидел, как из машины выходит супружеская пара, и назвал женщину шлюхой. «Tufia! — плюясь, прокричал безумец. — Все спишь с Мэтью, другом мужа, да еще на брачном ложе? Совести у тебя нет! Бесстыжая!» А после, разрушив этот брак — жена поначалу все отрицала, но после созналась, и муж подал на развод, безумец пошел себе дальше, напрочь забыв о том, что сейчас сделал.

Несмотря ни на что, какая-то часть горожан все же любила Абулу и не хотела убивать его, ведь он и помогал тоже. В одном районе сорвалось вооруженное ограбление, потому что Абулу известил людей: ночью придут четверо «в масках и черных одеждах». Вызвали полицию, и когда грабители появились, их повязали. Примерно в то же время он раскрыл, где держат похищенную ради выкупа маленькую девочку, дочь одного государственного деятеля. Следуя точным указаниям Абулу, полицейские ночью отыскали похитителей, арестовали их и спасли заложницу. И снова безумец заслужил признательность горожан, а тот политик, говорят, завалил его фургон подарками. Он вроде бы даже хотел отправить Абулу на лечение в клинику, но горожане воспротивились: нор-

мальный Абулу им даром не нужен. Абулу всегда избегал психиатрии. Когда он изранил себе ноги о битое стекло на месте аварии и его доставили в лечебницу, он принялся запугивать врачей и утверждать, что совершенно здоров и что его держат в неволе незаконно. Когда это не помогло, он устроил самоубийственную голодовку, отказываясь — как его ни заставляли — даже воду пить. Испугавшись, что Абулу уморит себя — к тому же он стал требовать адвоката, — его отпустили.

7. Сокольник

Все шире — круг за кругом — ходит сокол,
Не слыша, как его сокольник кличет…
У. Б. Йейтс [10]

Мать была сокольником.

Стояла на холме и наблюдала за детьми, стремясь оградить их от всего, что казалось ей злом. В закромах ее разума хранились копии наших умов, так что она запросто могла учуять неприятности еще в самом зародыше, подобно тому, как моряки чуют нарождающийся шторм. Еще до того, как отец уехал из Акуре, она то и дело подслушивала за дверью, пытаясь уловить обрывки наших разговоров. Бывало, соберемся мы с братьями в одной комнате, и кто-то один обязательно подкрадется к двери, чтобы проверить, нет ли по ту сторону матери. Если что, мы распахивали дверь — и ловили ее с поличным. Но как хороший сокольник она прекрасно знала нас, своих птенцов, и потому часто успешно за нами шпионила. Она, может, намного раньше поняла, что с Икенной что-то не так, но уж ко-

гда он уничтожил календарь М.К.О., почуяла, увидела, ощутила и убедилась: ее старший сын претерпевает метаморфозу. И именно в попытке выяснить, с чего все началось, мать уговорами вынудила Обембе раскрыть подробности той встречи с Абулу.

И хотя Обембе умолчал о том, что было после ухода Абулу, то есть о том, как он, Обембе, рассказал нам, что говорил Абулу, когда над нами пролетал самолет, мать все же охватила чудовищная тревога. Мать то и дело перебивала Обембе, судорожно причитая: «Боже мой, Боже мой», а когда он закончил, встала — кусая губы и заламывая руки. Было видно, что беспокойство съедает ее изнутри. Дрожа всем телом, словно простуженная, мать, не сказав больше ни слова, вышла из комнаты, а мы с Обембе остались гадать: что с нами сделают братья, если узнают, что мы разболтали наш секрет? И почти тут же мы услышали, как она пеняет им, почему они сразу не рассказали о случившемся. Не успела она выйти из их спальни, как к нам ворвался разгневанный Икенна, желая знать, какой придурок растрепал матери о встрече с Абулу. Обембе стал оправдываться: это мать заставила его во всем признаться; говорил он нарочно громко — чтобы

мать слышала и вмешалась. Она и услышала. Пришлось Икенне оставить нас в покое, однако он пообещал наказать нас позже.

Примерно час спустя, немного оправившись, мать собрала нас в гостиной. Она повязала на голову традиционный платок, узел которого свисал с затылка, подобно птичьему хвосту. Это означало, что мать только что молилась.

— Отправляясь на ручей, — заговорила она хриплым надтреснутым голосом, — я беру с собой *уду*. Наклоняюсь к воде и не разогнусь, пока не наполню сосуд. Затем иду обратно… — Тут Икенна широко и громко зевнул. Мать сделала паузу, пристально посмотрела на него и продолжила: — …иду обратно, к себе домой. Там я опускаю кувшин на пол, но он оказывается пуст.

Она обвела нас взглядом, ожидая, пока до нас дойдет смысл сказанного. Я вообразил, как мать идет к реке, водрузив уду — глиняный кувшин — на голову так, что его со всех сторон поддерживали многослойные кольца враппы. Меня так затянула и тронула эта простая история, а также тон, которым она была рассказана, что мне почти уже не хотелось знать, в чем смысл. Подобные истории, рассказанные в назидание, всегда заключали в себе зерно какого-то смысла,

ведь наша мать говорила и думала притчами.

— Вы, дети мои, — снова заговорила она, — утекли из моего *уду*. Я-то думала, вы со мной, что я несу вас в своем *уду*, что вы наполняете мою жизнь… — Она вытянула руки и обхватила воображаемый сосуд. — …но я ошибалась. У меня под носом вы ходили на реку и рыбачили там, много недель. Теперь оказывается, что еще дольше вы хранили от меня страшную тайну, а ведь я думала, что вы в безопасности и я пойму, если вам будет грозить беда.

Она покачала головой.

— Вас надо очистить от злых чар Абулу. Сегодня вечером мы идем в церковь, а пока вы все сидите дома, — объявила мать. — Ровно в четыре вместе отправимся на службу.

Мать смотрела на нас, желая убедиться, что мы поняли сказанное ею. Тут из ее комнаты раздался веселый смех Дэвида, который остался там вместе с Нкем.

Мать уже встала и хотела вернуться к себе, но тут Икенна что-то произнес ей вслед.

— А? — переспросила она, резко обернувшись. — Икенна, isi gini — что ты сказал?

— Я сказал, что не пойду с тобой в церковь ни на какое там очищение, — ответил Икенна, пере-

ходя на игбо. — Терпеть этого не могу: стоят все эти люди, нависают над тобой, типа зло изгоняют. — Он вскочил из кресла. — Короче, не хочу. Не сидит во мне никакой бес. Все со мной хорошо.

— Икенна, ты что, рассудка лишился? — спросила мать.

— Нет, мама, просто не хочу никуда идти.

— Что? — прокричала мать. — Ике-нна?

— Так и есть, мама, — ответил он. — Мне просто неохота, — он замотал головой, — неохота, мама, biko — пожалуйста. Не хочу идти ни в какую церковь.

Тут со своего места понялся Боджа, который не общался с Икенной с того самого дня, как они поспорили из-за сериала.

— И я не хочу, мама, — сказал он. — Не хочу идти очищаться. Ни мне, ни кому-либо из нас очищение не требуется. Я никуда не пойду.

Мать раскрыла было рот, но слова провалились назад ей в горло — точно человек, что падает с вершины лестницы. Пораженная, она попеременно взирала то на Икенну, то на Боджу.

— Икенна, Боджанонимеокпу, разве мы вас ничему не научили? Вы хотите, чтобы пророчество безумца сбылось? — На раскрытых губах ее набух пузырек слюны и лопнул, когда она заговорила

снова: — Икенна, посмотри: ведь ты уже принял его. Откуда, по-твоему, такие перемены в твоем поведении? Ведь ты уже веришь, что тебя убьют братья. И вот ты стоишь передо мной и мне в лицо заявляешь, что тебе не нужны молитвы. Что тебе не нужно очиститься. Неужели годы воспитания, годы наших с Эме усилий ничего вам не дали? А?

Последнее предложение мать прокричала, вскинув руки в театральном жесте. Икенна, тем не менее, с решительностью, с какой можно и врата железные сокрушить, ответил:

— Я знаю только, что никуда не пойду. — Видимо, слова Боджи придали ему еще больше смелости, и он вернулся к себе в спальню. Когда за ним захлопнулась дверь, Боджа встал и отправился в противоположном направлении — в комнату, которую мы делили с Обембе. Мать опустилась в кресло и погрузилась на дно кувшина собственных раздумий. Сидела она, обхватив себя руками, а ее губы двигались, как будто она беззвучно повторяла имя Икенны. Из родительской спальни доносились громкие топот и смех: Дэвид гонял мяч, одновременно пытаясь в одиночку изобразить шумное приветствие стадиона. Под его крики Обембе подошел к матери и сел рядом с ней.

— Мама, мы с Беном пойдем, — сказал он.

Мать взглянула на него сквозь слезы.

— Икенна… и Боджа… теперь чужие нам, — запинаясь, проговорила она и покачала головой. Обембе придвинулся ближе и похлопал ее по плечу длинной худой рукой. — Чужие, — повторила мать.

Все время, что оставалось до похода в церковь, я сидел и думал о происходящем, о том, что Икенна сотворил с собой и с нами из-за видения безумца. Я ведь совершенно забыл о встрече с Абулу, особенно после того как Боджа предупредил нас с Обембе, чтобы мы молчали и *никому* о ней не рассказывали. Как-то я спросил у Обембе, почему Икенна нас больше не любит. И брат ответил: все из-за той отцовской порки. Тогда я поверил ему, но сейчас стало очевидно, что я был не прав.

Потом, пока мать одевалась в церковь, я смотрел на этажерку в гостиной. Взгляд мой коснулся полки, до самого пола покрытой одеялом пыли и паутины. То были знаки отсутствия нашего отца: пока он жил дома, мы еженедельно по очереди убирались на полках. Прошло всего несколько недель с его отъезда, и мы забросили это занятие, а матери не хватало настойчивости, чтобы принудить нас к уборке. Без отца дом как будто бы

сделался больше: словно по волшебству, некие невидимые строители раскрыли его, точно он был бумажный, и раздвинули стены. Когда отец жил с нами, одного его присутствия — даже когда он сидел, уткнувшись в газету или книгу, — хватало, чтобы соблюдались строжайшие правила и мы сохраняли то, что он называл «приличием». Думая о братьях, о том, как они отказались идти в церковь и освободиться от чар или от того, что ими казалось, я затосковал по отцу, и мне отчаянно захотелось, чтобы он вернулся.

Тем вечером я и Обембе отправились с матерью в церковь — Ассамблею Бога, — что располагалась через дорогу, тянувшуюся аж до самой почты. Дэвида мать взяла на руки, а Нкем усадила за спину в слинг из врапны. Чтобы кожа у младшеньких не запрела и не началась потница, мать покрыла их шеи таким слоем присыпки, что они блестели, как у кукол.

Церковь представляла собой просторный зал, по углам которого с потолка спускались провода с лампами. За кафедрой стояла молодая женщина в белом одеянии — кожа у нее была куда светлее, чем у жителей наших краев, — и с иностранным акцентом пела «Великую благодать». Мы бочком продвигались по проходу между скамей; я

то и дело натыкался на внимательные взгляды прихожан, и мне стало казаться, что за нами все наблюдают. Подозрения усилились, когда мать подошла к сидевшим позади кафедры пастору с женой и старейшинам и что-то шепнула главе нашей церкви. Наконец, когда девушка в белом допела, пастор — в рубашке с галстуком и брюках на подтяжках — поднялся на амвон.

— Братья и сестры! — произнес он так громко, что колонки возле нас заглохли, и пришлось слушать его голос из динамиков на другой стороне зала. — Прежде чем я продолжу доносить до вас слово Божье, позвольте рассказать о том, что я сейчас узнал: дьявол в обличье Абулу, одержимого бесами самопровозглашенного пророка, который, как все вы знаете, принес столько вреда жителям нашего города, вошел в дом нашего дорогого брата Джеймса Агву. Вы все его знаете, он муж нашей дорогой сестры Паулины Адаку Агву. Кое-кто из вас даже знает, что у него много детей, которых, по словам нашей сестры, уличили в рыбалке на берегу Оми-Алы на Алагбака-стрит.

Удивленная паства едва слышно зашепталась.

— К этим детям подошел Абулу и говорил ложь, — продолжал пастор Коллинз, чуть ли не крича и не выплевывая слова в микрофон. —

Братья и сестры, вы сами знаете, что ежели пророчество — не от Бога, то оно — от…

— …дьявола! — в унисон прокричала паства.

— Воистину. А ежели пророчество от дьявола, его надлежит отвергнуть.

— Да! — хором соглашалась толпа.

— Я вас не слышу, — потрясая кулаком, выплюнул в микрофон пастор. — Я говорю: ежели оно от дьявола, то его НАДЛЕЖИТ…

— …отвергнуть! — завопили прихожане, да с таким жаром, словно это был боевой клич. Маленькие дети, которых привели на службу — в том числе и Нкем, — заплакали, должно быть, испугавшись диких криков.

— Мы готовы его отвергнуть?

Паства согласно взревела; громче других звучал голос матери — она продолжала кричать, даже когда остальные замолчали. Я заметил, что из глаз у нее снова текли слезы.

— Так встаньте же и отвергните это пророчество во имя Господа нашего Иисуса Христа.

Люди повскакивали со скамей и ударились в восторженные, истовые молитвы.

* * *

Сколько мать ни старалась исцелить Икенну, усилия пропадали впустую. Пророчество глубоко повлияло на него и, обратившись безумием, со всей силой и яростью, как разгневанный зверь, принялось крушить все вокруг: ломать стены, срывать с них картины, потрошить шкафы и опрокидывать столы — до тех пор, пока все, чем был и чем стал Икенна, не превратилось в жуткий бардак. Страх смерти, которую напророчил Икенне Абулу, стал для моего брата осязаем. Он теперь жил в этом страхе, как в отдельном мире, как в клетке, откуда нет выхода и за пределами которой больше ничего нет.

Я слышал, что человек, чьим сердцем овладел страх, слабеет. Так стало с моим братом, ведь когда страх овладел его сердцем, он много чего лишился: мира, благополучия, отношений, здоровья и даже веры.

В школу Икенна стал ходить один, без Боджи. Вставал рано, часов в семь, и убегал, даже не позавтракав, — лишь бы не пересекаться с Боджей. Потом стал пропускать обеды и ужины, если мать готовила эба или пюре из ямса — блюда, которые едят все вместе, из одной посуды. Он начал чах-

нуть: его ключицы теперь заметно выпирали, отчетливей выделялись скулы, а белки глаз сделались бледно-желтыми.

Это не укрылось от матери. Она протестовала, просила, запугивала — все без толку. Однажды, незадолго до конца учебного года — в первую неделю июля — она заперла входную дверь и стала требовать, чтобы Икенна позавтракал перед школой. Подавленный — в тот день был экзамен, Икенна умолял выпустить его:

— Разве тело — не мое? Какая тебе забота, поем я или нет? Оставь меня в покое. Дай мне самому решать, что делать.

Он не выдержал и заплакал, но мать не выпускала его, пока он не согласился поесть. Он ел омлет с хлебом, ругая ее и нас всех, говоря, что все в этом доме его ненавидят. Он поклялся однажды — очень скоро — покинуть эти стены и больше не возвращаться.

— Вот увидите, — пригрозил он, утирая глаза тыльной стороной ладони. — Скоро все это завершится, и вы от меня избавитесь. Вот увидите.

— Сам знаешь, это не так, Икенна, — возразила мать. — Мы все тебя любим: я люблю тебя, братья любят тебя. Ты поступаешь так с собой из страха. Страха, который взрастил и выпестовал сам, сво-

ими руками. Икенна, ты сам решил поверить в пророчество безумца, этого бродяги, которого даже человеком назвать стыдно. Он ведь не больше, чем… С кем бы я сравнила его? Он не больше, чем рыба. Нет, он даже не больше, чем головастики, которых вы ловили на реке. Головастики. На днях на рынке рассказывали, как он в поле наткнулся на стадо коров. Телята сосали мамкино вымя, и Абулу тоже присосался! — Мать с отвращением перед описанной картиной сплюнула. — Разве можно верить человеку, сосущему коровье вымя? Нет, Икенна, ты сам себя моришь. Тебе некого винить. Даже когда ты отказался молиться за себя, мы молились за тебя. Так что не смей винить никого за то, что по своей воле живешь в пустом страхе.

Икенна слушал, слепо глядя в стену перед собой. На какое-то мгновение даже показалось, что он осознал свою глупость, что слова матери проникли в его измученное сердце и черная кровь страха вытекла оттуда. Икенна молча ел завтрак за общим столом — впервые за долгое время, а закончив, пробормотал: «Спасибо». Мы всегда благодарили родителей за еду, но Икенна уже давно этого не делал. Посуду он отнес на кухню и помыл; мать всегда учила нас мыть посуду,

а не оставлять ее на столе или — как поступал в последнее время Икенна — у себя в комнате. Затем он отправился в школу.

Когда он ушел, в гостиной появился Боджа, который уже почистил зубы и ждал, пока Обембе выйдет из ванной. На бедрах у Боджи было полотенце, которым они с Икенной пользовались вместе.

— Боюсь, он исполнит угрозу и уйдет из дому, — сказал он матери.

Мать в это время мыла тряпкой холодильник. Не отрываясь от своего занятия, она покачала головой. Затем, нагнувшись так, что были видны только ноги под дверцей, сказала:

— Не уйдет. Куда ему податься?

— Не знаю, — ответил Боджа. — Просто боюсь, и все.

— Никуда Икенна не денется. Страх не будет длиться вечно, он пройдет, — уверенно проговорила мать. В тот момент она, похоже, и сама в это верила.

Мать не бросала попыток исцелить и защитить Икенну. Помню, одним воскресным днем к нам пришла Ийя Ийябо. Мы как раз ели стручковую фасоль, маринованную в соусе на пальмовом масле. Я заметил, что на улице, рядом с нашим

домом, собирается толпа, но нас учили не выбегать и не смотреть на подобные сборища, как поступали прочие дети. Отец предупреждал: у кого-то в толпе может оказаться оружие, и если вдруг начнут стрелять, то нас могут ранить. Вот мы и остались дома — иначе мать наказала бы за проступок или доложила о нем отцу. На следующий день Бодже предстояло пройти два теста: по социологии и истории — двум предметам, которые он терпеть не мог, и потому он сделался вспыльчив. Все ругал исторические личности из учебника, называл их «мертвыми идиотами». Мы с Обембе решили не докучать ему, не вертеться около, когда он в таком состоянии, и сидели в гостиной вместе с матерью. Тогда-то к нам и постучалась соседка.

— А, Ийя Ийябо, — сказала мать, вскакивая на ноги.

— Мама Ике, — приветствовала нашу мать женщина, которую я по-прежнему ненавидел за донос.

— Садись поешь, мы как раз кушаем, — сказала мать.

Нкем протянула к торговке ручонки, и та тотчас же подняла ее.

— Что там случилось? — спросила мать.

— Адеронке, — ответила соседка. — Адеронке убила мужа.

— E-woh! — вскричала мать.

— Wo, bi o se, shele ni — вот как это случилось, — начала соседка. С матерью она частенько переходила на йоруба, которая этот язык понимала прекрасно, но — не считая себя его знатоком — предпочитала на нем не разговаривать. Вместо этого она просила нас говорить на нем от ее имени. — Бийи снова напился и пришел домой голый, — снова переключилась на пиджин Ийя Ийябо. Схватившись за голову, она принялась тоскливо ерзать.

— Прошу тебя, Ийя Ийябо, успокойся и расскажи все.

— Ее pikin[11], Оньиладун, болен. Муж пришел, она его просила дать денег на лекарство, а он ее давай бить-бить, да pikin — тоже бить.

— Chi-neke! — ахнула мать, прикрывая рот руками.

— *Bee ni* — так и было, — сказала Ийя Ийябо. — Адеронке страшно, говорит: он бил pikin, говорит: испугалась его, пьяного, говорит: сейчас убьет, думала, вот и шарахнула его стулом.

---

[11] Примечания: 11
Сын *(йоруба).*

— Ах, ах, — сбивчиво проронила мать.

— А он умер, — сказала Ийя Ийябо. — Взял вот и умер.

Соседка сидела на полу, упершись затылком в дверь, покачиваясь и подергивая ногами. Мать, парализованная ужасом, обхватила себя руками, а я, набив рот едой, совершенно забыл ее проглотить. Ога[12] Бийи мертв! А ведь я знал его. Он напоминал козла. Безумцем он не был, но — почти всегда пьяный — рычал и ходил, еле переставляя ноги. Мы встречали его по утрам, по пути в школу — еще трезвого; зато вечером он уже шатался по улицам датый.

— Знаешь, — сказала Мама Ийябо, утирая слезы, — вряд ли она понимала, что творит.

— Ты о чем? — спросила мать.

— *Na* это все тот псих Абулу. Сказал: тебя убьет, что больше всего ценишь. И вот жена взяла да и убила его.

Ошарашенная, мать обернулась и посмотрела на нас с Боджей и Обембе, прямо в наши широко раскрытые глаза. Послышался скрип стула, тихонько приоткрылась дверь соседней комнаты, и кто-то вошел в гостиную. Даже не оборачиваясь,

---

[12] Примечания: 12
Уважительное обращение к мужчине.

я догадался, кто это. Догадались все — и мать, и мои братья, — что пришел Икенна.

— Нет-нет, — громко сказала мать. — Не говори этих глупостей, не говори такого в моем доме.

— А что…

— Сказано тебе: не говори! — прокричала мать. — Ты правда веришь, что этот полоумный видит будущее? Как?!

— Но, Мама Ике, — забормотала соседка, — *па* все говорят, что он…

— Нет, — отрезала мать. — Где сейчас Адеронке?

— В участке.

Мать покачала головой.

— Ее арестовали, — добавила Ийя Ийябо.

— Идем поговорим снаружи, — позвала ее мать.

Соседка поднялась на ноги, и они с матерью — и увязавшейся следом Нкем — вышли на улицу. Икенна же остался стоять на месте, и взгляд его был пуст, словно у куклы. Потом он вдруг схватился за живот и устремился в ванную, где его громко стошнило в раковину. Тогда-то и началась его болезнь, страх лишил его здоровья. Кажется, что именно рассказ о смерти соседа-пьяницы окончательно убедил Икенну в непогрешимости

пророческих способностей Абулу — и дым появился там, где огня еще не было.

Спустя несколько дней, субботним утром, мы все завтракали за общим столом, ели жареный ямс и кукурузное пюре. Икенна забрал свою порцию к себе в комнату, а потом вдруг выбежал, кряхтя и хватаясь за живот. Не успели мы ничего сообразить, как извергнутая пища приземлилась на плиточный пол позади синего кресла, которое мы называли Отцовским троном. Икенна торопился в ванную, но не совладал с силой, что гнала его опорожнить желудок. На полпути он рухнул на колено, скрывшись по пояс за спинкой кресла, и его снова стошнило.

— Икенна, Икенна! — кинулась к нему из кухни мать и попыталась его поднять. Икенна стал возражать, говорить, что все хорошо, хотя сам был бледен и выглядел нездорово.

— Что с тобой, Икенна? Когда это началось? — спросила мать, когда он наконец-то успокоился, но больше Икенна говорить ничего не стал.

— Икенна, ну почему ты не скажешь? Почему? Почему же?

— Не знаю, — пробормотал он. — Пусти, пожалуйста. Мне надо умыться.

Мать выпустила его руку, и Икенна пошел в

ванную. Боджа произнес ему вслед:

— Бедный Ике.

Я повторил за ним, и Обембе — тоже. Давид сказал то же самое. И хотя Икенна никак не ответил на выражение сочувствия, дверью он хлопать не стал — аккуратненько закрыл на защелку.

Боджа тут же метнулся на кухню и вернулся с веником — пучком пальмовых волокон, туго перетянутых шнуром, — и совком. При виде его расторопности мать растрогалась.

— Икенна, ты живешь в страхе, что тебя убьет один из братьев, — стараясь перекричать шум воды, обратилась мать к нашему брату, — но ты посмотри на них…

— Нет-нет-нет, *Nne*, не говори, прошу тебя… — принялся умолять Боджа.

— Оставь, дай мне сказать ему, — ответила мать. — Икенна, выйди и посмотри на них. Просто выйди и посмотри…

Боджа возражал, что Икенна не захочет слушать, как он убирает рвоту с пола, но мать была непреклонна.

— Посмотри, как братья плачут о тебе, — продолжала она. — Смотри, как они прибирают за тобой. Выйди и взгляни на своих «врагов», как они заботятся о тебе, даже против твоей воли.

Наверное, из-за ее речи Икенна в тот день так долго проторчал в ванной. Но вот наконец он вышел, с полотенцем на бедрах. Боджа к тому времени все убрал и даже протер тряпкой пол, стену и спинку кресла — в тех местах, где подсыхала рвота. А мать все спрыснула антисептиком. Потом она заставила Икенну сходить к врачу, пригрозив, что в случае отказа позвонит отцу. Все, что касалось здоровья, отец воспринимал очень серьезно; Икенна знал об этом и потому сдался.

К моему ужасу, спустя несколько часов мать вернулась одна. Оказалось, у Икенны брюшной тиф, и его положили в больницу, прописали внутривенные уколы. Мы с Обембе в страхе расплакались, и мать принялась утешать нас, говоря, что завтра же Икенну выпишут и все с ним будет хорошо.

Однако меня не оставлял страх, что с Икенной скоро случится беда. В школе я ни с кем не общался, дрался, когда меня задирали, пока наконец не заработал порку. Редкое дело, ведь я, вообще-то, был ребенком покладистым и слушался не только родителей, но и учителей: жутко боялся телесных наказаний и всячески старался их избегать. Однако с братом моим творилось что-то

неладное, и от горя я исполнился негодования. Особенно это чувство вызывала у меня школа и все, что было с ней связано. Пропала надежда на спасение брата; я боялся за него.

Яд, лишив Икенну здоровья и благополучия, далее забрал веру. Три раза подряд он пропустил воскресную службу, сказываясь больным, и еще одну — из-за того, что пролежал две ночи в больнице. И вот утром, перед очередным походом в церковь — видимо, осмелев после новостей о том, что отец отправился на трехмесячное обучение в Гану и в это время не сможет навещать нас, — он заявил, что остается дома.

— Уж не ослышалась ли я, Икенна? — переспросила мать.

— Нет, не ослышалась, — с нажимом отвечал Икенна. — Послушай, мама, я — ученый и в Бога больше не верю.

— Что? — вскричала мать и попятилась, словно наступила на колючку. — Что ты сказал?

Икенна не решался повторить свои слова и только хмурился.

— Я тебя спрашиваю: что ты сказал? — сказала мать.

— Я говорю, что я ученый, — ответил мой брат; слово «ученый» ему пришлось произнести на ан-

глийском, ведь в игбо нет такого понятия. Голос его при этом звучал вызывающе.

— И? — Последовала тишина, и мать поторопила Икенну: — Ты договаривай. Закончи это гнусное предложение. — Направив палец ему прямо в лицо, она повысила голос: — Послушай меня, Икенна, уж чего мы с Эме никогда не потерпим, так это ребенка-атеиста. Никогда!

Она цыкнула и защелкала над головой пальцами, чтобы не накликать этакой беды.

— Значит так, Икенна, если хочешь оставаться членом нашей семьи и есть с нами за одним столом, то поднимайся с кровати, а не то мы с тобой влезем в одни брюки.

Угроза подействовала. Выражение «влезем в одни брюки» мать употребляла лишь тогда, когда гнев ее достигал предела. Она сходила в свою комнату и вернулась, намотав на запястье один из старых отцовских ремней, готовая пороть Икенну — чего она, кстати, почти никогда не делала. При виде ремня Икенна вылез из кровати и поплелся в ванную мыться и готовиться к службе.

На обратном пути из церкви Икенна шел впереди — чтобы мать не цеплялась к нему на людях. Да и просто потому, что она обычно давала ему ключи от ворот и входной двери. Сама она после

службы редко шла домой сразу: либо оставалась с малышами в церкви на собрание прихожанок, либо шла к кому-нибудь в гости, либо что-то еще. Как только мать скрылась из виду, Икенна ускорил шаг. Мы шли за ним молча. Икенна зачем-то выбрал самую длинную дорогу, по Иджока-стрит, на которой жили бедняки, в дешевых домах — большей частью без отделки — и деревянных лачугах. В этом грязном районе практически на каждом углу играли дети. На широкой площади с колоннами скакали маленькие девочки. Мальчик — не старше трех, скрючившись, сидел над пирамидкой из коричневатых колбасок, которая все продолжала расти. Когда мягкая и зловонная пирамидка была готова, он побежал играть дальше — тыча в землю палкой и не обращая внимания на рой мух, вьющихся вокруг его зада. Мы с братьями сплюнули в грязь и тут же, повинуясь глубинному инстинкту, поспешили затоптать плевки сандалиями. Боджа так еще и принялся обзывать мальчишку и его соседей: «Свиньи, свиньи». Обембе, пока затаптывал свой плевок, отстал. Делали мы все это потому, что у игбо есть такое поверье: если беременная женщина наступит на плевок мужчины, он навсегда останется импотентом. Как я это понимал в те

годы, у него должно было волшебным образом исчезнуть достоинство.

Улица и впрямь была грязная, и здесь жил с родителями наш друг Кайоде — в недостроенном двухэтажном доме, где полностью доделали только пол. Над верхним этажом высились бетонные столбы, из которых, подобно костям, торчали прутья арматуры. По двору были разбросаны замшелые строительные блоки. По всему каркасу дома и в дырках кирпичных стен гнездились ящерицы и сцинки. Они бегали повсюду. Кайоде рассказывал, что однажды мать нашла дохлую ящерицу в бочке с питьевой водой на кухне. Рептилия пролежала там несколько дней, никем не замеченная, пока вкус у воды не испортился. Мать выплеснула воду на землю, и мертвая ящерица оказалась перед ними в большой луже. Голова у нее разбухла вдвое, и труп ее — *как у всякой утопшей твари* — уже начал разлагаться.

В этом районе почти на каждом углу громоздились кучи мусора, они словно вгрызались в стены и ползли в сторону дорог. Кое-где в открытые сточные трубы набилась грязь, темная и ядовитая, точно опухоль. Грязь удавьими кольцами обвивала опоры пешеходных мостов; как птичьи гнезда, набивалась между киосками на обочине;

гнила в ямках в земле и на заселенных участках. И над всем этим висел затхлый воздух, связывая дома невидимой сетью зловония.

Солнце немилосердно палило, и люди скрывались от жары под тенистыми кронами деревьев. На обочине женщина стояла под деревянным навесом и жарила рыбу в сковородке на очаге. Клубы дыма ровно поднимались вверх с двух сторон, а затем текли в нашу сторону. Тогда мы перешли улицу, пройдя между припаркованным грузовиком и верандой — в открытую дверь я мельком разглядел интерьер дома: на коричневом диване сидели двое мужчин; они о чем-то беседовали, активно жестикулируя, в то время как их обдувал напольный вентилятор с вращающейся головкой. У самой веранды под стол забились коза с козлятами, обложенные черными катышками собственных фекалий.

Наконец мы дошли до дома и остановились у ворот.

— Я сегодня видел, как Абулу прямо во время службы пытался зайти в церковь, — сказал Боджа, пока Икенна готовился отпереть замок, — но он был голый, и его не впустили.

Боджа вошел в число церковных барабанщиков. Играли они посменно, и сегодня был как

раз его день. Боджа просидел всю службу возле алтаря и поэтому сумел разглядеть, как Абулу ломится в церковь через заднюю дверь. Икенна тем временем закончил рыться в кармане и выворачивал его, потому что ключ запутался в сплетении ниток из швов и в руки не давался. Изнанка кармана давно потемнела от чернильных пятен, а на землю, словно пыль, сыпалась мелкая арахисовая шелуха. Распутать нитки не получилось, и тогда Икенна просто рванул ключи со всей силой. Карман порвался. Икенна уже поворачивал ключ в замочной скважине, когда Боджа произнес:

— Ике, я знаю, ты веришь в пророчество, но ты ведь понимаешь: мы дети Божьи…

— А он — пророк, — отрывисто парировал Икенна.

Наконец он открыл дверь, а когда вынимал ключ, Боджа продолжил:

— Да, но не Божий.

— Ты-то откуда знаешь? — отрезал Икенна, обернувшись. — Я спрашиваю: ты откуда знаешь?

— Не Божий, и все тут, я просто уверен в этом, Ике.

— Докажи. А? Чем докажешь?

Боджа молчал. Икенна посмотрел куда-то вдаль поверх наших голов. Проследив за его взглядом, мы увидели вдали воздушного змея — тот парил, сотканный из лоскутов полиэтилена.

— Сказанное им не может сбыться, — не сдавался Боджа. — Послушай, он упоминал красную реку. Говорил: ты поплывешь по красной реке. Разве бывают красные реки? — Он развел руками и посмотрел на нас, как бы прося поддержки. Обембе кивнул. — Он псих, Ике. Сам не понимает, что говорит.

Боджа приблизился к Икенне и в неожиданном порыве храбрости положил руку ему на плечо.

— Поверь мне, Ике, поверь, — произнес он, тормоша Икенну, словно пытаясь развалить гору страха, что выросла глубоко в душе брата.

Икенна стоял, потупив взор, и было похоже, что слова Боджи его тронули. На мгновение нам показалось, что есть еще надежда вернуть прежнего Икенну. Как и Бодже, мне захотелось успокоить его, но меня опередил Обембе.

— Боджа… прав, — запинаясь, произнес он. — Никто из нас тебя не убьет. Мы ведь — Ике, ты послушай, — мы ведь даже не настоящие рыбаки. Абулу сказал, что тебя рыбак убьет, Ике, но мы-то на самом деле не рыбаки.

Икенна взглянул на Обембе, и по выражению его лица было ясно, что он явно смущен услышанным. На глазах у него выступили слезы. Пришел мой черед говорить.

— Мы не убьем тебя, Ике, ведь ты сильнее и крупнее нас, — произнес я, призвав на помощь всю свою выдержку. Мне нужно было сказать хоть что-то… Непонятно откуда появилась смелость, но я схватил Икенну за руку. — Брат Ике, ты говоришь: мы ненавидим тебя — но это не так. Мы любим тебя очень-очень, больше всех на свете. — И хотя у меня перехватило горло, я все же произнес, как можно спокойнее: — Мы любим тебя даже больше, чем папу с мамой.

Я отошел и посмотрел на Боджу — тот кивал. Икенна растерялся. Наши слова подействовали на него, и впервые за несколько недель мы с братьями наконец встретились с ним глазами. Его глаза покраснели; на бледном лице застыло неопределенное выражение, такое странное, что именно его я вспоминаю чаще всего, когда думаю об Икенне.

Мы все с нетерпением ждали, словно чуда, что он скажет, но Икенна, будто дух его какой дернул, убежал к себе в комнату. И уже оттуда проорал:

— Больше не доставайте меня! Занимайтесь

своими делами и не лезьте ко мне. Предупреждаю: не лезьте!

* * *

Страх, лишив Икенну благополучия, забрав здоровье и веру, разрушил и отношения с близкими, а ближе нас, братьев, у него никого не было. Казалось, его внутренняя борьба затянулась и он хотел поскорей со всем покончить. Торопил события, чтобы пророчество поскорее сбылось, и потому старался всячески нам навредить. Спустя два дня после того, как мы попытались утешить Икенну, мы проснулись и обнаружили, что он уничтожил еще одну из наших ценностей: выпуск «Акуре геральд» от 15 июня 1993 года. В газете, на первой странице, был помещен снимок Икенны; заголовок гласил: «Юный герой спасает младших братьев». Наши с Боджей и Обембе фотографии располагались в маленькой прямоугольной рамке над портретом Икенны в полный рост и под названием газеты. Этот выпуск не имел цены, он был нашей медалью почета, и мы дорожили им даже больше, чем календарем М.К.О. Было время, когда Икенна мог и убить за него. В статье рассказывалось, как он спас нас во время кровопролитных политических беспорядков, которые

радикальным образом изменили Акуре.

В тот исторический день — прошло от силы два месяца после нашей встречи с М.К.О. — мы были в школе. На улице вдруг непрерывно загудели машины. Я вместе с другими шестилетками сидел в классе, даже не понимая, что в Акуре — да и по всей Нигерии — назревает серьезный конфликт. От отца я слышал, что в прошлом уже была какая-то война. Он упоминал ее мимоходом: вот до войны было так-то и так-то, — и дальше говорил о чем-то, что с войной связано не было, заканчивая иногда оборотом типа «а потом вмешалась война, и…» Случалось, отчитывая нас за лень или слабохарактерность, он рассказывал, как десятилетним мальчишкой натерпелся лишений. В войну ему пришлось самому добывать пропитание, охотиться, кормить мать — когда в деревню нагрянули нигерийские военные и им пришлось спасаться в лесу Огбути. Больше отец, кстати, ни о чем, что происходило собственно в войну, не рассказывал. Иногда, наоборот, он говорил о чем-то, что было «после войны» и что тоже никак с самой войной связано не было.

Учительница пропала из класса почти сразу, едва начались беспорядки и засигналили машины на улице. Следом за ней устремились на

выход мои однокашники: они бежали, плача и зовя маму. В нашей школе было три этажа; детский сад и моя дошкольная группа располагались на первом, а классы постарше — на втором и третьем. В окно я разглядел множество машин: какие-то стояли с раскрытыми дверцами, какие-то отъезжали, другие — парковались. Я сидел и ждал, пока за мной, как положено, придет отец. Однако вместо него появился Боджа — он звал меня. Я откликнулся и, прихватив портфель и бутылку воды, пошел к нему.

— Идем, пошли домой, — сказал Боджа, пробираясь ко мне между рядами парт.

— Зачем? Давай папу дождемся, — возразил я, оглядываясь.

— Папа не придет, — ответил Боджа и приложил к губам указательный палец, призывая к тишине.

Он повел меня за руку прочь из класса. Мы побежали между нарушенными рядами деревянных столов и стульев, которые еще недавно находились в идеальном порядке. Под перевернутым стулом лежал разбитый мальчишечий контейнер для еды; содержимое: пожелтевший рис и рыба — разлетелось по полу.

Внешний мир словно бы распилили надвое, и

мы оказались у края расселины. Я высвободил руку и хотел вернуться в класс, дождаться отца.

— Дурак, ты что делаешь? — вскричал Боджа. — В городе погром, людей убивают. Пошли домой!

— Надо папу дождаться, — ответил я, нерешительно следуя за ним.

— Нет, нельзя ждать, — возразил Боджа. — Если погромщики ворвутся в школу, то сразу нас узнают. Мы же парни М.К.О., дети надежды девяносто третьего. Враги. Нам больше, чем остальным, грозит опасность.

Тогда-то моя решимость разбилась вдребезги, я испугался. У ворот столпились школьники постарше — они спешили выбраться, но мы направились в другую сторону. Перебежали через поваленный забор и дальше — через пальмовую аллею. Икенна и Обембе ждали нас в кустах за деревом. И мы побежали все вместе.

Под ногами хрустели ползучие растения, в легкие врывался воздух. Через несколько минут кустарник выплюнул нас на узкую тропинку, в которой Обембе моментально признал Исоло-стрит.

Но улица была почти пуста. Мы бежали мимо рынка, на котором продавали пиломатериалы и где в обычное время нам приходилось зажимать

уши ладонями — из-за оглушительного рева станков. У горы опилок стояли нагруженные лесом ветхие грузовики, а вот людей нигде видно не было. Широкая дорога разделялась надвое длинным отбойником шириной где-то в три моих стопы от пятки до носка. Эта дорога вела к Центральному банку Нигерии; Икенна предложил идти к нему, потому что это было ближайшее место с вооруженной охраной, где мы могли укрыться — ведь там работал отец. Икенна убедил нас: если не пойдем в банк, нас убьют люди хунты, устроившие охоту на сторонников М.К.О. здесь, в Акуре. Дорога была завалена вещами тех, кто бежал от резни, словно из самолета с большой высоты на город просыпался багаж.

Мы перешли улицу и когда поравнялись с обнесенным забором домом, во дворе которого росло много деревьев, на дороге показалась машина, битком набитая людьми, — она неслась с адской скоростью. Едва она исчезла вдали, с улицы, по которой мы пришли, вылетел синий «Мерседес-Бенц»; на переднем сиденье сидела моя одноклассница, Моджисола. Она махнула мне рукой, я помахал ей, но машина не остановилась.

— Идем, — позвал Икенна, когда машина скрылась из виду. — В школе нельзя было оставаться.

В нас узнали бы парней М.К.О., и мы оказались бы в беде. Пойдем по этой дороге.

Он указал вперед и тут же завертел головой по сторонам, словно услышал то, чего не слышали мы.

Все яркие детали погрома, все запахи, сопровождавшие его, наполнили меня настоящим страхом смерти. Мы уже приблизились к повороту, когда Икенна закричал:

— Нет-нет, стойте! Нельзя нам идти по магистрали, на ней опасно.

Тогда мы снова пересекли улицу, вышли к крупному торговому ряду, обрамленному лавками, которые были закрыты все до одной. В одной из них дверь была выбита, и на петлях опасно болтались куски сломанных досок, утканные гвоздями. Нам пришлось остановиться где-то между закрытым баром, возле которого громоздились одна на другой ящики с пивом, и фургоном, обклеенным плакатами с рекламой: «Стар Лагер», «33», «Гиннесс»… Откуда-то раздался громкий крик о помощи на йоруба. Из одного магазина выбежал человек и устремился к дороге, ведущей в школу. И без того осязаемый страх сделался еще сильнее.

Миновав свалку, мы вышли на какую-то ули-

цу и увидели горящий дом. На веранде лежал труп мужчины. Икенна поспешил укрыться за пылающим домом, и мы, дрожа, последовали его примеру. Это был первый раз, когда я — да, наверное, и мои братья тоже, — увидел мертвеца. Сердце ускорило бег, и я вдруг ощутил, как у меня теплеет между ног и с форменных шортиков что-то капает. Опустив глаза, я понял, что обмочился, и, дрожа, смотрел, как падают на землю последние капли. Мимо прошла толпа людей, вооруженных дубинками и мачете. На ходу они озирались по сторонам и скандировали:

— Смерть Бабангиде, власть — Абиоле!

И пока эти люди не скрылись из виду, мы с братьями сидели на корточках, точно лягушки, и хранили молчание камней. Наконец мы отползли за один дом и нашли там фургон, припаркованный у заднего двора. Дверь с водительской стороны была открыта, и внутри лежал мертвец.

По одежде — длинному и широкому сенегальскому наряду — мы распознали в покойнике северянина. Северян приверженцы М.К.О. преследовали в первую очередь: они использовали беспорядки для разборок между западом — откуда был родом Абиола — и севером, родиной

генерала Бабангиды, военного диктатора.

Внезапно Икенна — и откуда у него только взялась такая сила? — выбросил мертвеца из кабины. Мертвец упал с глухим стуком, и на землю из ран на лице брызнула кровь Я вскрикнул и заплакал.

— Тихо, Бен! — зарычал на меня Боджа, но я не мог остановиться: мне было очень страшно.

Икенна забрался на водительское место, Боджа сел рядом с ним. Мы с Обембе — позади, на пассажирских сиденьях.

— Поехали, — сказал Икенна. — К папе на работу. Быстрее, закрывайте двери! — прикрикнул он. Затем повернул ключ зажигания в замке под крупным рулем, и двигатель, протяжно застонав, ожил и заревел.

— Ике, ты водить умеешь? — дрожа, спросил Обембе.

— Да, — ответил Икенна. — Папа недавно научил.

Он дал газу, машина сделала рывок назад встала. Мотор заглох. Икенна хотел снова завести его, но тут мы расслышали неподалеку выстрелы и замерли.

— Икенна, пожалуйста, едем, — простонал Обембе, плача и нетерпеливо хлопая в ладоши. —

Ты увел нас из школы, а теперь что? Мы умрем?

В тот день Акуре был опален: кругом горели костры и машины. Мы уже добрались до Ошинле-стрит — на востоке города, — когда мимо промчался военный фургон, полный вооруженных до зубов солдат. Один из них заметил, что у нас за рулем — мальчишка, похлопал товарища по плечу и указал в нашу сторону, однако их машина не остановилась. Икенна вел ровно, повышая передачу, лишь когда похожая на часовую красная стрелка тахометра приближалась к более крупной отметке. Так водил и наш отец, отвозя нас в школу, а Икенна всегда сидел рядом с ним на переднем сиденье. Мы приблизились к нужной дороге, стараясь держаться обочины, и вот наконец Боджа прочитал на одном из дорожных указателей: «Олуватуйи-стрит», а снизу был еще один, поменьше: «Центральный банк Нигерии». Мы поняли, что опасность миновала, и мы выжили в волнениях 1993 года, когда в Акуре погибло больше сотни человек. 12 июня навсегда вошло в историю Нигерии. Каждый год с приближением этой даты казалось, будто в город с порывами северного ветра приходит отряд из тысячи невидимых хирургов, вооруженных скальпелями, трепанами, иглами и необычными обезболива-

ющими. С наступлением ночи они принимались за безумную лоботомию душ, делая быстрые и безболезненные надрезы, а с рассветом исчезая — пока не проявились эффекты операций. Люди пробуждались, дрожа всем телом, исполненные тревоги; их сердца пульсировали в страхе, головы тяжелели от воспоминаний об утрате, из глаз лились слезы, губы шевелились в немых молитвах. Горожане становились похожи на размытые карандашные рисунки в помятом детском альбоме, которые ждут, когда по ним пройдутся ластиком. Мрачный город уходил в себя, сжимался, точно испуганная улитка. С первыми лучами бледного рассветного солнца северяне покидали Акуре, магазины закрывались, церкви собирали прихожан на молебны о мире, а хрупкий старик, в которого часто на этот месяц превращался Акуре, ждал, когда же злополучный день пройдет.

* * *

То, что Икенна уничтожил газету, глубоко потрясло Боджу. Он даже аппетит потерял. Снова и снова твердил он мне и Обембе, что Икенну пора остановить.

— Так больше продолжаться не может, — не унимался Боджа. — Икенна из ума выжил. Спя-

тил.

В следующий вторник, когда ясное небо обнажило зубы, мы с Обембе всё еще спали, потому что до глубокой ночи травили байки. Но мы тут же проснулись, когда дверь спальни резко распахнулась. На пороге комнаты стоял Боджа. Он-то спал в гостиной, куда перебрался после первой драки с Икенной. Боджа выглядел угрюмым и отстраненным; он весь почесывался и скрипел зубами.

— Москиты чуть не сожрали, — пожаловался он. — Достало, как со мной Икенна обращается. Достало!

Он произнес это так громко, что я испугался, как бы не услышал Икенна. Сердце принялось колотиться, и я взглянул на Обембе — тот смотрел на дверь. Он, как и я, ждал, не войдет ли в нее еще кто-то.

— Бесит, что он меня в мою же комнату не пускает, — продолжал Боджа. — Представляете? В мою же, — похлопал он себя по груди, — комнату не пускает. Ее нам папа с мамой выделили.

Он снял футболку и показал следы от укусов. Хоть он и был ниже Икенны ростом, но почти не уступал ему в зрелости: на груди начинали появляться первые волосы, а в подмышках они

росли уже давно. От пупка в трусы тянулась темная полоска.

— А что, в гостиной так плохо? — спросил я, надеясь успокоить Боджу. Мне не хотелось продолжать эти разговоры, потому что нас мог услышать Икенна.

— Еще как! — громче произнес Боджа. — Ненавижу его за это, ненавижу! Там вообще спать невозможно!

Обембе опасливо взглянул на меня — его тоже снедал страх. Слова, которые проронил Боджа, были точно фарфоровое изделие — вот оно упало, и осколки разлетелись во все стороны. Мы с Обембе понимали, что что-то назревает. Понимал это и Боджа: он сел и обхватил голову руками. Прошло всего несколько минут, и с громким скрипом открылась дверь соседней спальни, послышались шаги. К нам вошел Икенна.

— Значит, ненавидишь меня? — тихо спросил он.

Боджа, ничего не отвечая, уставился в окно. Уязвленный, со слезами на глазах, Икенна аккуратно прикрыл дверь и прошел в глубь комнаты. Затем, метнув в Боджу копье презрительного взгляда, скинул футболку. Так поступали мальчишки в нашем городе, когда собирались

драться.

— Так ты сказал это или нет?! — прокричал Икенна, но ответа дожидаться не стал и спихнул Боджу со стула.

Вскрикнув, Боджа почти сразу же вскочил на ноги. Бурно дыша, он прокричал:

— Да, да, я ненавижу тебя, Ике! Ненавижу!

Почти всегда, вспоминая эти мгновения, я молю память остановиться и больше ничего мне не показывать, но все тщетно: я снова вижу, как, услышав ответ Боджи, Икенна некоторое время стоит неподвижно, а его губы беззвучно шевелятся. И вот наконец с них слетает:

— Ты меня ненавидишь, Боджа.

В эти слова Икенна вложил столько чувства, что его лицо озарилось облегчением. Потом он улыбнулся и, сморгнув слезу, кивнул.

— Так и знал, я так и знал. Просто все это время позволял дурачить себя. — Он покачал головой. — Вот почему ты выбросил мой паспорт в колодец.

Тут на лице Боджи отразился ужас. Он хотел было что-то сказать, но Икенна перебил его, заговорив еще громче и переключившись при этом с йоруба на игбо:

— Стой! Если бы не твоя подлость, я был бы сейчас в Канаде и моя жизнь была бы лучше.

Он словно бы хлестал Боджу каждым словом, каждым законченным предложением, а тот лишь ахал, раскрывал рот, пытаясь оправдываться, но всякий раз Икенна затыкал его своим «Стой!» или «Слушай меня!». Он продолжал, рассказывая, как странные сны подтверждали его подозрения: в одном из них Боджа гнался за ним с пистолетом. Тут лицо Боджи перекосило, и оно все покраснело от потрясения и беспомощности, а Икенна сказал:

— Теперь-то я знаю, и дух мой подтверждает, как сильно ты меня ненавидишь.

Боджа вприпрыжку направился к двери, но остановился, когда Икенна произнес:

— Я сразу понял, как только Абулу заговорил о рыбаке, что рыбак этот — ты. И никто иной.

Боджа понурил голову, точно пристыженный, и слушал.

— Я ничуть не удивлен твоему признанию. Ты меня всегда ненавидел. Вот только ты своего не добьешься! — внезапно и с яростью добавил Икенна.

Он накинулся на Боджу и ударил его по лицу. Боджа упал и стукнулся головой о стоявший на полу металлический ящик Обембе. Раздался громкий звон, Боджа закричал от боли и засучил

ногами. Икенна, пораженный, попятился, словно от края бездны, а на пороге комнаты развернулся и побежал.

Обембе тут же кинулся к Бодже. Резко остановился и выкрикнул:

— Иисусе!

Я не сразу разглядел то, что успели заметить Икенна и Обембе, а дело было вот в чем: кровь разлилась по ящику и стекала на пол.

Встревоженный, Обембе выбежал из комнаты, и я — за ним. Мы нашли мать в саду: она, держа в руках тяпку и плетеную корзину, в которой лежало несколько помидоров, беседовала с Ийя Ийябо. Мы позвали их. Когда они зашли к нам в комнату, то ужаснулись. Боджа больше не выл, а лежал тихо, точно мертвый, спрятав лицо в окровавленных ладонях. Увидев его таким, мать разрыдалась.

— Скорее, отнесем его в клинику Кунле, — подсказала ей Мама Ийябо.

Донельзя взволнованная, мать быстро переоделась в блузку и длинную юбку. Соседка помогла ей взвалить Боджу на плечо. Наш брат висел тряпочкой; слепо глядя в пустоту, он тихонько постанывал.

— Если с ним что случится, — обратилась мать

к соседке, — что скажет Икенна? Что родного брата убил?

— Olohun maje! Не дай Бог! — сплюнула Ийя Ийябо. — Мама Ике, разве можно из-за такого пустяка допускать подобные мысли? Они же просто мальчишки, им свойственно так вести себя. Не надо так думать. Понесли его в больницу.

Когда они ушли, я различил капающий звук. Это кровь собиралась в лужицу под ящиком. Потрясенный увиденным, я сел на кровать и погрузился в беспокойные мысли о том случае, о котором вспомнил Икенна. Хотя мне тогда и было примерно четыре года, я ничего не забыл.

Из Канады вернулся друг отца, мистер Байо. До этого он обещал забрать Икенну с собой. Сделал ему паспорт и канадскую визу. Утром, когда Икенна должен был ехать с отцом в Лагос и там сесть с мистером Байо на самолет, документы пропали. Икенна держал паспорт в нагрудном кармане дорожной куртки, а куртку повесил в шкаф, который делил с Боджей. Так вот, в кармане паспорта не нашлось. Они уже опаздывали, и отец в ярости бросился искать паспорт по всему дому. Но его нигде не было. Опасаясь, что самолет улетит без Икенны и что придется заново оформлять все документы, отец разозлился еще сильней. Он уже

хотел побить Икенну за безалаберность, но тут Боджа, спрятавшись за спиной матери, где отец не достал бы его, признался, что это он стащил паспорт. «Зачем? — спросил отец. — И где же тогда паспорт?» Боджа, заметно дрожа, ответил: «В колодце». Затем добавил, что выбросил его туда накануне вечером, не желая отпускать Икенну.

Отец, как ужаленный, метнулся к колодцу, но на поверхности воды плавали только клочки паспорта — документ уже было не восстановить. Схватившись за голову, отец задрожал. Затем — будто дух в него какой вселился — бросился к мандариновому дереву и, отломив от него ветку, побежал назад в дом. Он уже хотел пороть Боджу, но тут вмешался Икенна: якобы это он велел братишке порвать паспорт и выбросить, потому что не хотел уезжать один. Они с Боджей решили, что вместе поедут в Канаду, когда подрастут. И хотя позднее мне (да и родителям) стало ясно, что это — ложь, отец сильно впечатлился поступком, который Икенна принял за выражение любви и который позднее — претерпев метаморфозу — интерпретировал как проявление лютой ненависти.

Когда мать с Боджей наконец пришли из больницы, Боджа, казалось, находился в милях от

своего тела. Голову ему перевязали: на затылке, где и была рана, из-под окровавленного бинта высовывалась вата. Сердце у меня упало, и я содрогнулся при мысли, сколько крови он потерял и как ему больно. Я тщился понять, что случилось и что происходит: слишком все было сложно.

На остаток дня мать превратилась в подобие фугаса и взрывалась всякий раз, стоило приблизиться к ней хоть на дюйм. Позднее, готовя на ужин эба, она стала разговаривать сама с собой. Жаловалась, что просила отца перевестись обратно в Акуре или забрать нас к себе, а он так ничего и не сделал, даже к начальству не обратился. И вот теперь, причитала она, ее дети разбивают друг другу головы. Икенна, продолжала мать, стал для нее чужим. Ее губы не переставали шевелиться, даже когда она накрывала на стол, а мы занимали места на наших деревянных обеденных стульях. А когда мать поставила последний предмет — чашу для мытья рук, — то расплакалась.

В ту ночь наш дом погрузился в тишину и страх. Мы с Обембе отправились к себе пораньше, и Дэвид — опасаясь оставаться с раздраженной матерью — последовал за нами. Я долго не мог заснуть и прислушивался, не пришел ли Икенна,

но все было тихо. Втайне я даже надеялся, что до утра он домой не вернется. С одной стороны, я боялся ярости матери, того, что она сделает с Икенной. С другой — слов Боджи, которые он произнес по возвращении из больницы: с него довольно.

— Обещаю, — говорил Боджа, облизнув кончик указательного пальца в традиционном жесте дающего клятву, — больше он меня из комнаты не выставит.

В подтверждение своих слов он улегся на свою кровать. Я боялся, что будет, когда Икенна вернется и застанет его там. Меня одолевало дурное предчувствие, что Боджа когда-нибудь все же отомстит за обиды. Тело мое уже изнемогало, пресыщенное событиями дня, однако я все размышлял, как глубоко проникла отрава в душу Икенны и к чему это приведет.

8. Саранча

Саранча была предвестником.

Накануне сезона дождей она заполоняла Акуре и большую часть юга Нигерии. Эти крылатые коричневые насекомые размером с рыболовную мушку как по команде выскакивали из отверстий в земле и устремлялись туда, где видели свет. Он притягивал их, точно магнитом. Обычно жители Акуре радовались появлению саранчи: дождь исцелял землю, истерзанную за время сухого сезона жестоким солнцем и гарматаном. Дети зажигали лампочки и светильники и подносили к ним миски с водой в надежде, что сумеют сбить насекомых в емкость или что те лишатся крыльев и утонут сами. Люди собирались вместе и, лакомясь жареными тельцами саранчи, радовались скорому приходу дождя. Однако дождь приходил — обычно через день после появления саранчи — в виде сильной бури, срывая крыши, разрушая дома, унося многие жизни и превращая целые города в странного вида речные русла. Саранча из глашатая добрых событий превращалась в вестника зла. Вот какая доля ждала акурцев, всех

нигерийцев и нашу семью на той неделе, что следовала за травмой головы Боджи.

Шла первая неделя августа, и наша футбольная команда мечты вышла в финал Олимпиады. За недели до этого базары, школы, офисы осветились именем Чиомы Ажунвы, завоевавшей золото во славу захолустной страны. И вот наши футболисты победили в полуфинале бразильцев и теперь готовились сразиться за золото с аргентинцами. Страна сходила с ума от радости. И пока в далекой Атланте люди на летней жаре размахивали флагами Нигерии, Акуре медленно тонул. Проливной дождь вкупе со свирепым ветром, оставившим городок без света, лил накануне финального матча между нигерийской «дрим-тим» и Аргентиной. Дождь не прекратился и утром в день матча, утром третьего августа, он барабанил по цинковым и шиферным крышам — до заката, пока наконец не ослаб и не перестал. В тот день из дома никто не выходил, Икенна в том числе, он заперся в комнате и вел себя тихо, лишь время от времени подпевая кассетному магнитофону с радиоприемником — прибор сделался его главным товарищем. К этому времени старший брат окончательно отгородился от нас.

Мать ругала его за то, что он ранил Боджу, но

Икенна возразил, что Боджа начал ему угрожать.

— Я не мог просто стоять и слушать, как этот сопляк мне угрожает, — заявил он, встав на пороге комнаты. Мать тщетно умоляла его выйти в гостиную и поговорить там.

А потом, замолчав, Икенна расплакался. Вероятно, устыдившись своего взрыва чувств, он убежал к себе и заперся. В тот день мать сказала, что теперь полностью уверена в безумии Икенны и что его лучше остерегаться, пока не вернется отец и не вразумит его. Я, правда, и так с каждым днем все сильнее боялся того человека, в которого превратился Икенна. Боджа и тот, несмотря на обещание больше не давать слабины, подчинился велению матери и старался не попадаться Икенне на глаза. Он уже полностью поправился, и с него сняли повязку: на месте удара остались вмятина и рубец.

Вечером, примерно к тому времени, когда должна была начаться игра, дождь прекратился. Икенна куда-то пропал. Мы все ждали, когда восстановят подачу электричества, хотели посмотреть заветную игру, однако к восьми часам еще сидели без света. Весь день мы с Обембе проторчали в гостиной, читая при скудном дневном свете. Я читал любопытную книгу в мягкой

обложке о животных, которые разговаривали и носили человеческие имена; это были домашние животные: собаки, свиньи, куры, козы… О моих любимых диких зверях не говорилось, но я не отрывался: меня затягивало то, что животные думали и разговаривали подобно людям. Я увлеченно читал, когда Боджа, сидевший все это время тихо, сказал матери, что хочет посмотреть матч в «Ля Рум». Мать в это время играла с Дэвидом и Нкем в гостиной.

— Разве уже не поздно? Дался тебе этот матч, — сказала она.

— Нет, не поздно, я пойду.

Немного подумав, она взглянула на нас и сказала:

— Ладно, только будьте осторожны.

Прихватив фонарь из комнаты матери, мы вышли в сгущающиеся сумерки. Тут и там виднелись скопления домов, освещенных благодаря генераторам — устройства громко гудели, наполняя район сплошным белым шумом. Большинство жителей Акуре верили, будто местные богачи подкупили отделение Национального ведомства энергоснабжения, чтобы во время вот таких крупных матчей вырубался свет и они могли заработать, устраивая платные просмот-

ры. «Ля Рум» был самым современным отелем в нашем районе: четырехэтажное здание, обнесенное высоким забором с колючей проволокой. По ночам, даже когда пропадало электричество, яркие фонари, что высились над стеной, проливали озера света на прилегающую часть улицы. В тот вечер, как и в другие, когда случались перебои в энергоснабжении, «Ля Рум» превратил свой вестибюль в импровизированный телезал. Снаружи для привлечения людей водрузили крупную вывеску с цветным плакатом: логотип Олимпийских игр и подпись «Атланта 1996». Когда мы пришли, вестибюль и в самом деле оказался битком набит: люди теснились по всему помещению, изворачиваясь и стараясь увидеть хоть что-нибудь на двух четырнадцатидюймовых экранах, поставленных друг напротив друга на высоких столах. Те, кто пришел раньше всех, устроились на пластиковых стульях поближе к экранам; остальные зрители, которых становилось все больше, толпились позади.

Боджа приметил местечко, откуда был виден один из телевизоров, и прошмыгнул между двух человек, оставив нас с Обембе, но потом мы наконец тоже нашли место, откуда получалось смотреть футбол, пусть и урывками: приходилось

наклоняться влево, подглядывая в узкий зазор между двумя мужчинами, чьи туфли воняли, как тухлая свинина. На следующую четверть часа или около того мы с Обембе погрузились в тошнотворное море тел, от которых исходил чрезвычайно насыщенный запах рода людского. От одного мужчины пахло свечным воском, от другого — старой одеждой, от третьего — мясом и кровью животного, от четвертого — засохшей краской, от пятого — бензином, от шестого — листовым металлом. Когда мне надоело зажимать рукой нос, я сказал Обембе, что хочу домой.

— Почему? — спросил брат, словно удивившись, хотя, как и я, побаивался крупноголового мужчины, стоящего за нами, и, вероятно, тоже хотел уйти. Мужчина сильно косил обоими глазами, так что они сходились к переносице. Обембе было не по себе еще и оттого, что тот пролаял: «Стоять надо нормально!» — и грубо толкнул Обембе в голову грязными руками. Он был как летучая мышь: уродливый и жуткий.

— Нельзя уходить, тут Икенна и Боджа, — прошептал Обембе, краем глаза поглядывая на страшного мужчину.

— Где? — шепотом спросил я.

Брат долго не отвечал; он стал медленно запро-

кидывать голову назад, пока не смог шепнуть:

— Он сидит впереди, я видел… — Но тут его голос потонул в громком реве. Воздух взорвался дикими выкриками: «Амунеке!» и «Гол!»; вестибюль накрыло волной радостного галдежа. Сосед похожего на летучую мышь человека, ликуя и молотя по воздуху руками, локтем попал Обембе в голову. Обембе вскрикнул, но его голос смешался с диким ором, и потому казалось, что мой брат радуется вместе со всеми. Кривясь от боли, он привалился ко мне. Тот, кто его ударил, ничего не заметил и продолжал орать.

— Это плохое место, идем домой, — попросил я Обембе после того, как раз десять произнес: «Прости, Обе». Чувствуя, что убедить его не удалось, я прибег к словам матери, которые она часто произносила, когда мы рвались посмотреть футбол вне дома: — Нам нельзя смотреть этот матч. В конце концов, если наши победят, деньгами они с нами не поделятся.

Сработало. Обембе, стараясь не расплакаться, кивнул. Потом я кое-как дотянулся до Боджи, зажатого между двумя парнями старше его, и похлопал его по плечу.

— Чего? — торопливо спросил он.

— Мы уходим.

— Почему?

Я не ответил.

— Почему? — снова спросил Боджа. Ему не хотелось отвлекаться.

— Просто, — сказал я.

— Ну ладно, потом увидимся, — произнес Боджа и повернулся к экрану.

Обембе попросил фонарь, но брат его не расслышал.

— Не нужен нам фонарь, — сказал я, продираясь между двумя высокими мужчинами. — Пойдем медленно. Бог охранит нас на пути домой.

Мы вышли наружу. Обембе все держался за голову, в том месте, куда ему заехали локтем — проверял, наверное, нет ли шишки. Ночь выдалась темной — такой темной, что мы почти ничего не видели, кроме фар проносившихся мимо машин и мотоциклов. Правда, и те попадались редко: похоже, все смотрели матч.

— Тот человек — просто дикое животное, даже не извинился, — посетовал я, борясь с нарастающим желанием заплакать. Казалось, боль Обембе передалась и мне; плакать хотелось отчаянно.

— Тс-с-с, — внезапно сказал Обембе.

Затем он утянул меня за собой на угол улицы, к деревянному ларьку. Я не сразу понял, в чем

дело: под пальмой у наших ворот стоял безумец Абулу. Увидеть его я никак не ожидал, и сперва подумал: не померещилось ли? Я не видал Абулу с тех самых пор, как мы повстречали его у реки, но за прошедшее время — дни, недели — он, даже не присутствуя в моей жизни и жизнях моих братьев напрямую, губил ее своим тлетворным влиянием. Я знал его историю, меня предупреждали не связываться с ним, я просил Бога оградить меня от него, и все же я, сам того не ведая, ждал новой встречи с ним, даже желал его увидеть. И вот мы застали безумца у ворот дома; он пристально вглядывался в наш двор, но проникнуть за забор не пытался. Он жестикулировал, словно беседовал с кем-то, кого мог видеть он один. Потом резко обернулся и, шепча что-то, направился в нашу сторону. Когда Абулу проходил мимо, мы, затаив дыхание, прислушались, и, наверное, Обембе тоже разобрал слова безумца, потому что брат вдруг схватил меня за руку и потащил прочь. Запыхавшись, я смотрел, как Абулу уходит во тьму. Мимо проезжал грузовик нашего соседа, и в свете его фар тень безумца на миг выросла и нависла над улицей, а потом исчезла, когда машина подъехала ближе.

— Ты слышал, что он говорил? — спросил Обем-

бе, когда Абулу наконец скрылся из виду.

Я покачал головой.

— Точно? — выдохнул брат.

Я уже собирался ответить, но тут мимо нас прошел вразвалочку мужчина с ребенком на плечах. Ребенок бормотал стишок:

Дождик, дождик, перестань,
Не ряди в такую рань,
Дети же играют — глянь…

Не успели они отойти, как Обембе задал тот же вопрос. Я покачал головой: нет — однако то была ложь. Я хоть и нечетко, но расслышал, какое слово повторял Абулу, проходя мимо нас. А повторял он то же, что и в день, который положил конец нашей мирной жизни: «Икена…»

* * *

Нигерию охватило подозрительное веселье, распространяясь от заката и до рассвета — как саранча, что обрушивается на землю с приходом ночи и исчезает на восходе, оставив по себе следы в виде рассыпанных по городу крыльев. Мы с братьями веселились до глубокой ночи, слушая подробный — поминутный — рассказ

Боджи о матче, похожий на кино: как Джей-Джей Окоча обводил соперников — словно Супермен, спасающий похищенных и облетающий врагов, и как Эммануэль Амунеке, точно Могучий Рейнджер, заколотил победный гол. Около полуночи матери пришлось прервать наше веселье: она велела ложиться спать. Когда я наконец заснул, мне приснился миллион снов. Я проспал до утра, когда меня растолкал Обембе с криками:

— Проснись! Проснись, Бен… Они дерутся!

— Кто? Что? — забормотал я.

— Они дерутся! — продолжал вопить Обембе. — Икенна с Боджей. Всерьез дерутся. Идем.

Он заметался в луче света, точно бабочка, а затем, обернувшись и заметив, что я все еще лежу, вскричал:

— Послушай, послушай!.. Как рассвирепели! Идем!

Задолго до того как Обембе разбудил меня, Боджа проснулся и начал ругаться. Грузовик-развалюха наших соседей, Агбати, разорвал тонкую пелену, что отделяла мир снов от мира сознания, отрывистым рычанием: врум! вру-у-ум-м! вру-у-у-ум-м-м-м! Грузовик разбудил его, но Боджа и сам намеревался встать пораньше и пойти порепетировать с другими ребятами-барабанщиками

из нашей церкви. Он умылся и съел свою порцию хлеба и масла, которые мать оставила нам перед тем, как уйти в лавку с Дэвидом и Нкем, однако ему пришлось ждать, чтобы переодеться в свежие рубашку и шорты — потому что хоть он больше и не делил комнату с Икенной, вещи его по-прежнему оставались там. Мать, наш сокольничий, неустанно просила Боджу перебраться к нам с Обембе:

— Na pu lu ekwensu ulo ya — не буди лихо, пока оно тихо.

Боджа не уступал, напоминая, что комната принадлежит и ему, не только Икенне, и что он ее не отдаст. А так как они с Икенной больше не разговаривали, ему приходилось ждать, пока Икенна встанет и отопрет дверь. Просить его Боджа не собирался. Однако накануне Икенна почти всю ночь шатался по улице, присоединившись к безумному празднеству на всю Нигерию, и заспался. Позднее Обембе сообщил мне по секрету, что Икенна пришел домой пьяным. Сказал, что когда впускал Икенну через наше окно — мать заперла входную дверь и ворота, то уловил сильный запах алкоголя.

Боджа ждал, клокоча от гнева, но ближе к одиннадцати терпение его закончилось. Он подошел

к двери и постучался — сперва тихонько, затем — просто отчаянно. Обембе рассказывал, что Боджа от бессилия прижался ухом к двери, словно это была дверь чужого дома, а после обернулся к нему, словно молнией пораженный, и произнес:

— Я ничего не слышу. Ты уверен, что Икенна там вообще живой?

Обембе говорил, что спрашивал Боджа взволнованно, искренне испугавшись, что с Икенной могло случиться что-то ужасное. Затем он снова прижался ухом к двери, пытаясь услышать хоть что-нибудь, и опять принялся колотить в дверь — еще громче. Он звал, просил Икенну открыть.

Не дождавшись ответа, Боджа в отчаянии попытался высадить дверь. Потом, остановившись, он отступил; в глазах его читались облегчение и новый страх.

— Он там, внутри, — пробормотал Боджа. — Я слышал, он шевелится… живой.

— Что за безумец тревожит мой покой? — пролаял изнутри Икенна.

Боджа сперва ничего не ответил, но затем прокричал:

— Это ты безумец, Икенна! Лучше открой дверь, сейчас же! Это и моя комната тоже.

Послышались торопливые шаги. В следующий

миг дверь распахнулась и из комнаты на полной скорости выскочил Икенна. Боджа не успел среагировать, не заметил удара: опомнился он уже на полу.

— Я слышал все, что ты наговорил, — произнес Икенна, пока Боджа пытался встать. — Все слышал: и то, что я покойник, больше не жилец. После всего, что я для тебя сделал, Боджа, ты желаешь мне смерти, да? И вдобавок обзываешь меня безумцем. Меня? Сегодня я покажу тебе…

Он еще продолжал говорить, когда Боджа молниеносно подсек ему ноги. Икенна спиной распахнул дверь и, ввалившись в спальню, рухнул навзничь. Пока он, морщась от боли, ругался и сыпал проклятиями, Боджа вскочил с пола.

— Я тоже готов, — произнес он с порога дома. — Если хочешь, то выйдем на открытое место, на задний двор, чтобы ничего здесь не сломать. Чтобы мама потом не узнала.

Сказав это, он выбежал на задний двор, где располагались колодец и сад. Икенна последовал за ним.

* * *

Едва выбежав следом за Обембе на задний двор, я увидел, как Боджа пытается уклониться

от удара. У него не получилось, и Икенна заехал ему кулаком прямо в грудь. Боджа пошатнулся. Икенна воспользовался этим и ударил его ногой. Боджа упал, и Икенна навалился сверху; они сцепились, точно гладиаторы или кулачные бойцы. Невероятный ужас сковал меня. Мы с Обембе замерли в дверном проеме, не в силах пошевелиться, и умоляли братьев прекратить.

Они нас не слушали, только с дикой яростью мутузили друг друга. В смятении смотрели мы, как наши братья катаются по земле, суча ногами. Обембе вскрикивал, когда их свирепые удары достигали цели, а когда кто-то визжал от боли — ахал. Я тоже не мог вынести этого зрелища. Я то и дело закрывал глаза, когда кто-то из моих братьев резко замахивался, открывая их, только когда удар уже был нанесен. Сердце громыхало в груди. У Боджи пошла кровь из рассеченной брови над правым глазом, и Обембе снова стал просить братьев остановиться. Но Икенна осадил его.

— Заткнись! — прорычал он и сплюнул в грязь. — Если не заткнешься, оба к нему присоединитесь. Придурки. Не слышали разве, как он обо мне отзывался? Я не виноват. Это он начал, так что…

Тут Боджа прервал его, нанеся страшный удар

в спину, а потом перехватив поперек талии. Оба рухнули на землю, подняв облако пыли. Они били друг друга с такой яростью, с какой ребята их возраста никогда не дерутся с братьями. С таким жаром Икенна, даже мальчишку, продавца куриц с базара Исоло, не охаживал. Перед очередным Рождеством мать отказалась купить у него птицу, и он обозвал ее *ashewo* — шлюхой. Мы тогда болели за Икенну, и даже мать, презиравшая насилие в любой форме, сказала — когда торговец поднялся на ноги, подхватил плетеную клетку с птицей и дал деру, — что обидчик заслужил тумаки. Родного брата Икенна молотил куда сильнее, жестче, больнее. Да и Боджа работал руками и ногами куда смелее, чем когда сцепился с мальчишками, грозившими не пустить нас на рыбалку в одну субботу. Эта драка отличалась от прочих. Наши братья бились как одержимые; казалось, ими овладела некая сила, проникшая в каждую клетку их существа, пропитавшая даже мельчайшие частички их крови. Должно быть, та же сила — никак не рассудок — заставляла пускать в ход такую грубую мощь. И пока я наблюдал за дракой, меня охватило предчувствие, что теперь уже ничто не будет по-прежнему. Каждый удар был наполнен разрушительной

мощью, которую не сдержишь, не подчинишь и не отразишь.

Мой разум — точно смерч, захватывающий пыль, — принялся вращаться с бешеной скоростью, превратившись в воронку лихорадочных мыслей, и самой яркой, самой сильной среди них была странная и непривычная мысль о смерти.

Икенна сломал Бодже нос. Кровь вытекала толчками и капала с подбородка в грязь. Охваченный болью, Боджа опустился на землю, плача и промокая нос клочками разодранной футболки. Мы с Обембе расплакались при виде его окровавленного лица. Я понимал, что драка еще далеко не закончена и Боджа отомстит, потому что он не из тех, кто может запросто струсить. Когда он пополз в сторону сада, пытаясь подняться на ноги, мне в голову пришла мысль. Я обернулся к Обембе и сказал, что нужно привести кого-нибудь из взрослых, чтобы разнял их.

— Да, — согласился брат, обливаясь слезами.

Мы тут же бросились в соседний дом, но там на воротах висел амбарный замок. Мы и забыли, что хозяева два дня назад уехали из города и не вернутся до вечера. Побежав дальше, мы увидели пастора Коллинза из нашей церкви — он ехал мимо в фургоне. Мы принялись отчаянно махать

руками, но он нас не заметил. Ехал себе дальше, качая головой в такт музыке из автомобильного стерео. На бегу мы перепрыгнули через сточную канаву, где лежала изувеченная мертвая змея, маленький питон: его забили камнями.

Наконец мы нашли мистера Боде, автомеханика. Он жил в трех кварталах от нас в одном из некрашеных и неотделанных бунгало. Его недостроенный дом стоял в окружении разбросанных тут и там досок и песочных куч. Внешне мистер Боде напоминал военного: высоченный рост, огромные бицепсы и лицо — суровое, как изрытая канавками кора дерева ироко. Он как раз пошел из мастерской в туалет — общий для всех, кто жил с ним в пятикомнатном бунгало. Когда мы нашли его, он стоял у крана — длинный смеситель торчал прямо из земли у стены — и, напевая какую-то мелодию, мыл руки, еще даже не успев застегнуть штаны, так что были видны натянутые до пояса трусы.

— Добрый день, сэр, — приветствовал его Обембе.

— Привет, мальчики, — ответил он и поднял на нас взгляд. — Как дела?

— Хорошо, сэр, — хором ответили мы.

— В чем дело, ребята? — спросил мистер Боде,

вытирая руку о грязную промасленную штанину.

— Да, сэр, — произнес Обембе. — Наши братья дерутся, и мы… мы…

— У них кровь, eje ti o po — много крови, — вставил я, видя, что Обембе не может говорить дальше. — Помогите, пожалуйста.

Глядя на наши заплаканные лица, мистер Боде нахмурился, будто сам получил неожиданный удар.

— Что за дела? — спросил он, стряхивая с рук последние капли воды. — Почему они дерутся?

— Мы не знаем, сэр, — коротко соврал Обембе. — Пожалуйста, идемте с нами. Помогите.

— Ну хорошо, идем, — согласился мистер Боде.

Он кинулся было в дом, — хотел, наверное, что-то забрать — но передумал и, махнув вперед рукой, сказал:

— Идем.

Мы с братом побежали, но пришлось остановиться и подождать мистера Боде.

— Надо спешить, сэр, — умоляюще произнес я.

Мистер Боде, хоть и был босиком, тоже перешел на бег. Почти у самого дома дорогу нам преградили две женщины в дешевых грязных платьях и с сумками кукурузы на головах. Обембе на бегу

задел одну женщину, и у нее из дырки в сумке вывалилась пара небольших початков. Вслед нам полетела ругань.

Во дворе мы наткнулись на соседскую беременную козу. Она лежала рядом с воротами на разбухшем животе и отвисшем вымени и мекала; язык свисал у нее изо рта, словно кусочек клейкой ленты. Ее темное, тучное и вонючее тело было покрыто собственным пометом: какие-то комочки расплющились в кляксы, похожие на капли бурого гноя; прочие лепились к шерсти по два, по три рядом, а то и больше. Кроме натужного дыхания козы, я ничего не слышал. Мы бросились на задний двор, но нашли там лишь обрывки того, что раньше было одеждой. Темнели капли крови, да виднелся нижний слой жирной земли, взбитой ногами наших братьев. Невозможно было представить, что они сами прекратили бой, без постороннего вмешательства. И куда они делись? Кто их разнял?

— Так где, говорите, они дрались? — озадаченно спросил мистер Боде.

— Вот здесь, на этом самом месте, — ответил Обембе, и на глазах у него выступили слезы.

— Ты уверен?

— Да, сэр, вот тут, мы оставили их прямо тут.

Здесь вот.

Мистер Боде взглянул на меня, и я сказал:

— Да, здесь. Здесь они и дрались. Видите кровь? — Я указал на слипшиеся от крови комочки песка и на влажное темное пятнышко в форме полуприкрытого глаза.

Мистер Боде в замешательстве произнес:

— Тогда где они сейчас? — Он снова принялся озираться по сторонам, а я тем временем утер глаза и высморкался на землю. В этот момент на забор справа от меня сел, быстро хлопая крыльями, голубь. Затем, словно чем-то напуганная, птица снялась с места и, пролетев над колодцем, опустилась на забор с противоположной стороны. Я обернулся посмотреть, не сидит ли у себя на веранде дедушка Игбафе — я заметил его там во время драки, но и его не оказалось на месте, только пластиковая кружка стояла на пустом кресле.

— Ладно, пойдем посмотрим в доме, — предложил мистер Боде. — Идем, идем. Может, они перестали драться и вернулись в дом.

Обембе кивнул и повел его внутрь, а я остался на заднем дворе. Ко мне, ковыляя и мекая, подошла коза. Я попробовал отпугнуть ее, но она встала как вкопанная, вскинула рогатую башку и замекала, точно бессловесная тварь, которая, став

свидетелем чего-то страшному, пытается всеми силами извлечь из пасти членораздельную речь и обо всем рассказать. Однако как коза ни старалась, самое большее, что получалось у нее, было оглушительное «ме-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е!». Сейчас я понимаю, что она, наверное, обращалась ко мне с мольбой на козлином языке.

Оставив козу, я направился в сад. Тем временем Обембе и мистер Боде ходили по дому и звали наших братьев. Я пробирался между стеблями кукурузы, которые резко пошли в рост после августовского дождя, и уже почти дошел до конца посадок, где у забора лежали старые шиферные листы, — когда из кухни раздался пронзительный крик. Я сломя голову помчался к дому. На кухне царил разгром.

Дверцы шкафчиков были открыты: на полках стояла бутылка из-под «Хорликса», банка смеси для заварного крема и несколько старых кофейных жестянок, одна на другой. У двери лежал, задрав черные, как сажа, ножки, мамин пластиковый стул со сломанным подлокотником. По столешнице, возле забитой немытой посудой мойки, растекалась лужа бурого пальмового масла, она уже переливалась через край и капала на пол. Синяя жестянка из-под масла лежала на

полу, в ней еще оставался темный осадок. В бурой луже, точно дохлая рыба, лежала вилка.

Рядом с Обембе стоял мистер Боде. Он схватился за голову и скрежетал зубами. Впрочем, был и третий человек, жизни в котором, однако, оставалось не больше, чем в рыбе и головастиках из реки Оми-Ала. Он лежал лицом к холодильнику, глядя перед собой неподвижными глазами, вывалив язык и широко разведя руки, словно прибитый к невидимому кресту. С губ у него капала белая пена, из живота, наполовину скрывшись в плоти, торчала деревянная рукоять маминого кухонного ножа. Весь пол был в крови: живая, подвижная кровь медленно затекала под холодильник и, к моему ужасу, — точно реки Нигер и Бенуэ, чьи воды, сливаясь у Локоджи, породили слабое и никчемное племя, — смешивалась с пальмовым маслом. В этом месте, словно в ямке на грунтовой дороге, образовалась странная бледно-красная лужица. В Обембе как будто вселился демон, лишающий дара связной речи.

— Красная река, красная река, красная река… — бормотал брат, губы у него дрожали.

Больше он ничего сказать и сделать не мог, ибо ястреб уже взлетел и парил, поймав восходящий поток теплого воздуха. Оставалось выть и кри-

чать, выть и кричать. Я, как и Обембе, оцепенел от того, что видели мои глаза; я выкрикивал имя брата, но язык сделался точно у Абулу, и потому имя звучало неверно. Оно было урезанное, израненное, выхолощенное, мертвое и ускользающее: Икена.

9. Воробушек

Икенна был воробушком.

Крылатым созданием, способным в мгновение ока скрыться из виду. К тому времени, как мы с Обембе привели мистера Боде, жизнь уже покинула Икенну. На кухне, в луже крови лежало пустое, продырявленное тело. Вскоре и его забрали у нас — увезли на «скорой» в главную городскую больницу. Через четыре дня вернули — в деревянном гробу, в кузове пикапа, но мы с Обембе брата не видели; просто слышали время от времени упоминания о его «теле в гробу». Многочисленные слова утешения от соседей: «E jo, ema se sukun mo, oma ma'a da — не плачьте, все будет хорошо» — мы глотали, точно горькие пилюли, способные исцелить. Никто не говорил, что Икенна в одночасье сделался путешественником. Необычным путешественником, оставившим собственное тело пустым, как две половинки арахисовой скорлупы, которые заново склеили, предварительно вынув ядра. Я понимал, что Икенна умер, но верить в это не хотел. Даже увидев, как его забирают врачи, не мог представить,

что брат больше не поднимется на ноги и не войдет в дом.

Узнав обо всем, отец вернулся спустя два дня после смерти Икенны. Моросил дождь, было сыро и прохладно. Ночь я провел в гостиной и поутру, смахнув с окна испарину — так что получилась этакая арка, увидел, как во двор въезжает машина. Отец приехал домой впервые с того дня, как назвал нас рыбаками. С собой он привез все пожитки, явно не собираясь больше никуда уезжать. Он несколько раз безуспешно просил начальство отпустить его на пару дней с проходящих в Гане курсов обучения, еще когда мать пожаловалась на то, как изменился Икенна. Зато потом, когда мать спустя несколько часов после гибели Икенны позвонила, сказав только: «Эме, Икенна *an-a-a-a-a*!», и в отчаянии бросилась на пол, отец написал заявление об увольнении и оставил его у коллеги в учебном центре. Вернувшись в Нигерию, он ночным автобусом отправился в Йолу, там собрал вещи и, бросив их в машину, вернулся в Акуре.

Икенну похоронили на четвертый день после возвращения отца. Куда пропал Боджа, мы так и не знали. Новости о трагедии быстро разлетелись по району, и соседи осаждали наш дом,

делясь тем, что видели или слышали, но о местонахождении Боджи не было никаких сведений. Беременная женщина, жившая от нас через дорогу, слышала громкий крик — примерно в то же время, когда умер Икенна. Она спала, и этот крик разбудил ее. Один аспирант университета по прозвищу Док — неуловимый тип, почти не бывающий в своем маленьком двухкомнатном бунгало по соседству с Игбафе, — примерно в то же время занимался и слышал металлический грохот. Однако более или менее правдоподобные подробности трагедии сообщила мать Игбафе. Она передала рассказ своего отца, дедушки Игбафе: один мальчик (наверное, Боджа) с трудом поднялся с земли, но не стал драться дальше, а в слепой ярости ринулся на кухню; другой мальчик побежал следом. В тот момент испуганный старик, решивший, что драке конец, оставил свое место на веранде и вернулся в дом. И куда делся потом Боджа, он сказать уже не мог.

Как по волшебству, в течение двух дней в доме собралась целая толпа, почти все — наши родственники, Nde Iku na' ibe; некоторых я видел прежде, а некоторые были для меня просто лицами со множества дагерротипов и выцветших фотографий в семейных альбомах. Все они

приехали из деревни Амано, места, для меня почти незнакомого. Мы только раз ездили туда — на похороны Йейе Кенеолисы, старого паралитика, нашего двоюродного деда по отцовской линии. Мы проехали по бесконечной дороге, зажатой между двумя густыми лесами, пока не достигли места, в котором огромные джунгли сменились небольшой рощицей, грядками и рассредоточенной армией пугал. Вскоре после того как отцовский «Пежо», дико трясясь, преодолел засыпанные песком дорожки, к нам стали подтягиваться люди, которые знали отца. Они приветствовали наших родителей и нас шумно и с лучезарным радушием. Позднее, одетые в черное, мы в компании других людей совершили траурную процессию. Никто не разговаривал, только плакал, словно мы из наделенных даром речи существ превратились в создания, способные только рыдать. Это поразило меня просто неописуемо.

И вот я снова увидел этих людей — точно такими, какими запомнил: в черном. Только Икенна на собственные похороны получил другую одежду. Ослепительно белые рубашка и брюки делали его похожим на ангела, земное воплощение которого застали врасплох и переломали ему кости

— чтобы не вернулся на небо. Все остальные облачились в черное и разные оттенки скорби, кроме нас с Обембе — мы единственные не плакали. В те дни, что минули со смерти Икенны и скапливались, точно дурная кровь внутри нарыва, мы с Обембе отказывались плакать. Слезы, пролитые на кухне при виде мертвого брата, стали последними. Даже отец несколько раз плакал: сначала когда вешал на стену дома некролог с фотографией Икенны и еще — беседуя с пастором Коллинзом, в первый раз зашедшим выразить соболезнования. Хотя я не мог логически объяснить своего решения не плакать, держался я его стойко, как и Обембе. До того стойко, что когда хотелось всплакнуть, я устремлял взгляд на лицо Икенны, которое, я знал, мне больше не суждено было увидеть. Лицо Икенны омыли и умастили оливковым маслом, так что кожа засияла неземным блеском. Рана на губе и шрам на брови были отлично видны, но от брата веяло таким сверхъестественным покоем, словно он был ненастоящий, словно он всем нам мерещился. И только теперь, глядя на него мертвого, я заметил то, что давно уже видел Обембе: у Икенны была щетина. Она будто внезапно проклюнулась и теперь темнела на подбородке, подобно изящной

штриховке.

Уложенное в гроб тело Икенны — лицо, поднятое к небу, ноги вместе, руки по швам, в ушах и в носу ватные затычки, — имело почти эллиптическую, яйцевидную форму и очертаниями походило на птицу. Все потому, что Икенна, по сути, был воробушком — хрупким созданием, которое не определяет свою судьбу. Все было решено за него. Его *chi*, личный бог, который, по поверью игбо, есть у каждого, оказался слаб. Это был *efulefu*, безответственный страж, порой оставлявший подопечного без защиты и улетавший в далекие странствия или по каким-то своим делам. Именно поэтому уже подростком Икенна хлебнул горя, ведь он был воробушком в мире черных бурь.

Как-то в шесть лет он играл в футбол, и какой-то мальчик ударил его между ног — да так, что одно из яичек переместилось из мошонки в живот. Икенну срочно доставили в больницу, где врачи в срочном порядке вставили ему трансплантат, тогда как в соседней палате другие врачи откачивали нашу мать: услышав о травме Икенны, она потеряла сознание. К утру оба очнулись. У матери вчерашний страх, что сын умрет, сменился облегчением, а у Икенны вместо утраченного яичка в

мошонке теперь болтался маленький шарик. Он не играл потом в футбол три года, а когда снова вышел на поле, то хватался за мошонку всякий раз, когда мяч летел в его сторону. А в восемь лет, когда он сидел под деревом в школе, его ужалил скорпион. И снова Икенна избежал смерти, но вот его правая нога навсегда осталась увечной: ссохлась и стала меньше левой.

Похороны состоялись на кладбище Святого Андрея — огороженном поле с множеством надгробий и редкими деревьями. Кругом виднелись плакаты с некрологом, которые мы наделали для церемонии. Некоторые из них, распечатанные на белых листах формата А4, висели на автобусах, доставивших на кладбище прихожан нашей церкви и прочих гостей, а еще парочка — на лобовом и заднем стеклах отцовской машины. Один мы поместили на внешнюю стену дома, рядом с номером дома — его написали и обвели в кружок куском угля в 1991-м, во время национальной переписи населения. Один плакат висел на столбе линии электропередачи у ворот дома, другой — на доске объявлений у церкви. Еще плакаты повесили на воротах моей школы, где Икенна когда-то учился, и колледжа Фомы Аквинского, средней школы, в которую он ходил с Боджей.

Отец решил, что развешивать плакаты стоит лишь там, где это необходимо, просто чтобы «дать родне и друзьям знать о случившемся».

Все портреты были озаглавлены словом «Некролог». Правда, чернила размазались — в верхней части буквы Н и в нижней части буквы Р. Почти на всех плакатах белизна бумаги оттеняла сам портрет, из-за чего создавалось впечатление, будто это фото человека из прошлого столетия. Внизу шла подпись: «Пусть ты ушел столь рано, мы тебя сильно любим. Надеемся, когда придет время, мы снова свидимся». И еще ниже другая:

> Икенна А. Агву (1981–1996),
> безвременно покинул родителей,
> гна и гжу Агву, своих братьев и сестру,
> Боджу, Обембе, Бенджамина, Дэвида и Нкем Агву.

* * *

Во время похорон, перед тем как Икенну засыпали песком, пастор Коллинз попросил членов семьи собраться вокруг него, а прочих — отойти.

— Чуть-чуть отойдите, пожалуйста, — произнес он по-английски с сильным акцентом игбо. — О, спасибо, благодарю. Да благословит вас Господь.

Еще немного, пожалуйста. Да благословит вас Господь.

Члены семьи и родственники окружили могилу. Некоторых из этих людей я отродясь не видел. Пастор попросил закрыть глаза и помолиться, но мать разразилась пронзительным криком боли, и всех нас накрыло ужасной волной скорби. Пастор Коллинз внешне невозмутимо продолжал молиться, но голос его дрожал. И хотя его слова: «…Ты простил и принял душу его в царствие Свое… Мы знаем, что Ты как даешь, так и забираешь… стойкости перенести утрату… благодарим Тебя, Господи Иисусе, ибо знаем, что услышал нас…» — казались мне почти бессмысленными, в конце все громко прогудели «аминь». Затем, передавая по кругу единственную лопату, стали забрасывать могилу землей.

Дожидаясь своей очереди, я глянул на горизонт и увидел там похожие на комки ваты облака — такие белые, что даже белые цапли, случись им пролетать в тот час на их фоне, показались бы постыдно серыми. Я увлекся этим видом и не сразу услышал, как меня зовут. Глянул по сторонам и увидел, что Обембе дрожащими руками протягивает мне лопату и что-то бормочет со слезами на глазах. Лопата была большая и очень тяжелая

— особенно из-за комка земли, налипшего на заднюю сторону полотна и похожего на горб. А еще она была холодная. Стоило копнуть и поднять немного земли, и ноги мои погрузились в песок. Бросив землю в могилу, я передал лопату отцу: тот зачерпнул полный штык. Он был последним в очереди и, отложив лопату, опустил мне руку на плечо.

Затем, словно по сигналу, пастор откашлялся и шагнул было вперед, но покачнулся на краю могилы. Пытаясь удержать равновесие, он нечаянно присыпал гроб песком. Наконец ему помогли, и он немного отступил от края.

— Время прочесть из Слова Божьего, — произнес пастор, наконец заняв устойчивое положение. Говорил он отрывисто, будто слова его были — что тропические кузнечики: спрыгивая с языка, они на мгновение замирали. Прыг — остановка — скок, прыг — остановка — скок… И так до конца речи. При этом адамово яблоко у него ходило туда-сюда, вверх и вниз. — Давайте же зачитаем отрывок из Послания к Евреям, стих первый, глава одиннадцатая. — Подняв суровый взгляд, он охватил им сразу всю толпу скорбящих. Затем, чуть наклонив голову, стал читать: — «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность

в невидимом…»

Пока пастор читал нам из Библии, мне страшно захотелось взглянуть на Обембе, попытаться понять, что он чувствует. И когда я взглянул на него, меня переполнили воспоминания о потерянных братьях, словно прошлое вдруг взорвалось и его осколки, подобно конфетти внутри воздушного шара, теперь плавали во взгляде Обембе. Сперва я увидел Икенну: глаза его подернулись пеленой гнева; он навис надо мной с Обембе, стоящими перед ним на коленях. Это происходило у куста крапивы, на пути к реке Оми-Ала: сразу после того, как Обембе пошутил над прихожанами Небесной церкви, Икенна велел нам встать на колени в наказание за «неуважение к чужой вере». Потом я увидел, как мы с Икенной сидим на ветке мандаринового дерева во дворе, точно киношные Шварценеггер-коммандо и Рэмбо, устроившие засаду на Обембе и Боджу. Они были Халк Хоган и Чак Норрис соответственно и прятались на веранде. Они то и дело высовывались из укрытия и, тыча в нашу сторону игрушечными автоматами, кричали: тра-та-та, бах-бах-бах. Стоило им вскочить или закричать, как мы кидали в них воображаемой гранатой: ба-ах!

Я увидел Икенну в красной майке у прочер-

ченной мелом полосы, на спортивной площадке начальной школы. На дворе 1991-й, и я только что пробежал дистанцию за детсадовскую команду синих; пришел вторым с конца — мне удалось обогнать участника команды белых. Меня обнимает мама, мы вместе с Обембе и Боджей стоим за ограждением — натянутой между столбов веревкой — у края беговой дорожки. Болеем за Икенну, кричим, Обембе и Боджа прихлопывают в ладоши. В какой-то момент раздается свисток, и Икенна — стоящий на одной отметке с участниками от команд зеленых, синих, белых и желтых — опускается на одно колено. Мистер Лоуренс, наш учитель на все руки, в том числе и физрук, кричит:

— На старт!

Он делает паузу, когда бегуны выпрямляют одну ногу и упираются пальцами в землю, точно кенгуру.

— Внимание! — кричит он дальше, а когда выкрикивает: «Марш!» — то кажется, что мальчики все еще стоят на одной линии, плечом к плечу, хотя они уже сорвались с места и бегут. Но вот между бегунами появляются просветы. Майки мелькают перед глазами: где была только что майка одного цвета, внезапно появляется другая.

Затем зеленый спотыкается и падает, поднимая облако пыли. Остальных ребят словно окутывает дым, но вот Боджа замечает Икенну: тот победно вскидывает руку, он пересек финишную черту. Теперь я тоже это вижу. Мгновение — и Икенну окружает толпа ребят в красных майках, кричащих: «Да здравствуют красные! Да здравствуют красные!» Мать от радости начинает прыгать, держа меня на руках, а потом вдруг замирает. И я вижу почему: Боджа пролез под веревкой и несется к финишной линии, крича:

— Ике победил! Ике победил!

А следом за ним гонится учитель с длинной тростью, стоявший на посту у заграждения.

Когда мое внимание вновь переключилось на похороны, пастор уже дошел до тридцать пятого стиха: его голос звучал громче, завораживая, так что каждый прочитанный им библейский стих повисал на крючке разума и бился пойманной рыбой. Наконец пастор закрыл потрепанную Библию с загнутыми уголками страниц и убрал ее под мышку. Утер и так уже влажным платком лоб.

— Разделим же благодать, — сказал он.

В ответ все, соединившись в хор могучих глоток, произнесли молитву — и я читал ее как

можно громче, крепко зажмурившись:

— Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь[13].

Медленно затухая, слово «аминь» пронеслось меж могильных камней, чей язык — тишина. Затем пастор сделал знак могильщикам, которые всю церемонию сидели в сторонке, о чем-то болтая и смеясь. Работники сразу же подошли. Эти странные люди принялись спешно забрасывать могилу землей, ускоряя исчезновение Икенны, как будто им было невдомек, что, как только Икенна скроется под слоем земли, никто его больше никогда не увидит. Комья земли сыпались на гроб, и снова вспыхнуло горе: почти все, кто пришел на похороны, не выдержали, точно скорлупа ореха ифока. Я, правда, сам не заплакал, но зато остро, до боли, почувствовал потерю. Могильщики работали с ошеломляющим безразличием, все больше ускоряясь; один из них ненадолго сделал паузу — чтобы достать из-под песка, уже наполовину скрывшего гроб с телом Икенны, расплющенную бутылку воды. Наблюдая за ними, я мысленно ушел в холодную землю собственного

[13] Примечания: 13
2 Кор. 13:13.

разума, и мне вдруг стало ясно — как становится ясно все с опозданием, что Икенна был нежной и ранимой птичкой. Он был воробушком.

Даже самые незначительные вещи могли растревожить его душу. Смутные мысли часто прочесывали его меланхоличный дух в поисках кратеров, чтобы наполнить их печалью. Маленьким мальчиком он засиживался на заднем дворе, погруженный в раздумья, положив локти на колени и сцепив пальцы. Он ко всему относился недоверчиво, сильно напоминая в этом отца. Он мелкие вещи распинал на тяжелых крестах и подолгу корил себя, сказав кому-то что-то не то; неодобрение со стороны окружающих страшило его неимоверно. В нем не было места иронии и сатире — они его смущали.

Сердце Икенны было как воробушек — такое же бездомное, ведь мы считали, что у воробьев нет дома. У него не было постоянных привязанностей. Икенна любил далекое и близкое, маленькое и большое, странное и понятное. Но сострадание вызывали в нем вещи незначительные, они вытягивали его из Икенны. Больше всего мне запомнилась птичка, которая жила у него в 1992-м, всего несколько дней. Накануне Рождества Икенна сидел один перед домом, тогда

как остальные в гостиной танцевали и пели, ели и пили. И тут на землю перед ним упала птичка. Икенна медленно нагнулся и протянул вперед обе руки — его пальцы сомкнулись на пернатом тельце. Это был облезлый воробушек: кто-то держал его у себя, но он сумел вырваться; на лапке у него висел кусок нитки. Душа Икенны раскрылась перед этой птичкой, и он ревностно оберегал ее три дня, искал прокорм. Мать просила отпустить ее, но Икенна отказывался. А потом, на утро четвертого дня, отнес мертвое тельце на задний двор и сам выкопал могилку. Сердце его было разбито. Они с Боджей засы́пали трупик землей. Точно так же исчез и сам Икенна. Сперва его засыпа́ли землей скорбящие, а завершили дело могильщики: Икенна и его облаченный в белое торс, его ноги и руки, его лицо скрылись от наших взоров навсегда.

10. Грибок

Боджа был грибком.

Он сам кишел грибком. Сердце его качало кровь, наполненную спорами. Его язык был поражен грибком, как, наверное, и большая часть органов. Из-за грибка в почках он писался в постель до двенадцати лет. Мать стала волноваться, не наложили ли на него заклятия недержания. Сводив Боджу несколько раз на молебен, она стала мазать края его кровати елеем — освященным оливковым маслом, хранившимся в маленьких бутылочках, — каждый вечер перед сном. И все же Боджа писаться не перестал, пусть даже ему приходилось терпеть позор, выставляя обмоченный матрас — зачастую покрытый пятнами разных форм и размеров — с утра на просушку. Соседские мальчишки могли увидеть, как матрас сохнет на солнце, особенно Игбафе и его кузен Тоби, которым открывался хороший вид на наш двор из окна двухэтажного дома. Именно потому, что отец высмеял его за описанный матрас, Боджа и устроил переполох на школьной линейке в то памятное утро 1993 года, когда мы повстречали

М.К.О.

Точно так же, как грибок обитает в теле ничего не подозревающего носителя, Боджа целых четыре дня после убийства Икенны, незамеченный, оставался с нами. Он был рядом, тихий и неприметный, отказываясь говорить, в то время как весь район и даже город отчаянно пытались найти его. Полиция не догадывалась, что далеко за ним ходить не надо, ведь он ничем себя не выдавал. Не пытался прогнать скорбящих, что слетелись в наш дом, словно рой пчел — на бочку меда. Не возражал, когда по городу, точно вспышка гриппа, распространились его портреты, напечатанные почти выдохшимися чернилами. Плакаты развесили всюду: на автобусных остановках, в автопарках, в отелях и у подъездных дорожек. Имя Боджи не сходило с уст горожан.

Боджанонимеокпу Агву, он же Боджа, 14 лет. Последний раз его видели в его доме номер 21 на углу Акуре-Хай-Скул-роуд и Арароми-стрит, 4 августа 1996 года. Был одет в выцветшую синюю футболку с изображением багамского пляжа. Футболка была изодрана, на ней имелись пятна крови. Видевших его убедительная просьба сообщить в ближайший полицейский участок или позвонить по номеру 04-8904872.

Он не выдал себя, даже когда его фото стало безостановочно мелькать на экранах телевизоров, занимая приличное эфирное время на госканалах. Вместо того чтобы дать знать о своем местонахождении, он стал являться нам во снах, а матери еще и в тревожных галлюцинациях. Обембе приснилось — в ночь перед похоронами Икенны, что Боджа сидит на диване в гостиной, смотрит телевизор и смеется над выкрутасами мистера Бина. Мать говорила, что часто видела его в гостиной: окутанный темнотой, он исчезал прежде, чем мать успевала позвать на помощь и зажечь свет.

Боджа был не просто грибком; он воплощал большое разнообразие представителей этого царства. Он был губительным грибком: напористым человеком, который силой ворвался в этот мир и с силой же из него вырвался. В 1982-м он самовольно вылез из утробы матери, когда та прилегла вздремнуть. Внезапные схватки застали ее врасплох, словно вызванный клизмой позыв облегчиться. С первым спазмом мать пулей пронзила дикая боль. Мать свалилась на пол, а затем, не в силах встать на ноги, с криками заползла обратно. Ее услышала домовладелица — раньше родители жили в другом доме — и

прибежала помочь. Понимая, что времени ехать в больницу нет, женщина захлопнула дверь, взяла кусок ткани и обернула им ноги матери. Затем принялась дуть и обмахивать матери лоно со всей силой, на которую только была способна, и мать родила на кровати, которую делила с отцом. Потом, годы спустя она вспоминала, что крови натекло очень много — она просочилась через матрас и под кроватью осталось большое несмываемое пятно.

Боджа лишил нас покоя, заставил думать только о нем. В те дни отцу даже присесть было некогда. Не прошло и двух часов после возвращения с похорон, как он объявил, что идет в полицию — выяснить, как продвигаются поиски Боджи. Мы в тот момент сидели в гостиной. Я сам не заметил, как бросился следом за ним:

— Папочка! Папочка!

— Что такое, Бен? — спросил отец, обернувшись. На указательном пальце у него висело кольцо с ключами. Я увидел, что у него расстегнута ширинка, и, перед тем как ответить, указал на нее. — В чем дело? — снова спросил отец, посмотрев вниз.

— Я с тобой хочу.

Застегнув молнию, он взглянул на меня как на

некий подозрительный предмет, лежащий у него на пути. Должно быть, заметил, что я с момента его возвращения не пролил и слезинки.

Полицейский участок размещался у старых железнодорожных путей, уходивших за поворот и дальше, влево — через изрытую подтопленными выбоинами дорогу. Он занимал большую территорию, на которой возле здания полиции, под матерчатым навесом, на вбитых в мостовую металлических столбах стояло несколько черных (цвет нигерийской полиции) фургонов. Под другим — проходившимся — навесом громко спорила группа голых по пояс молодых людей; за ними наблюдала группа офицеров.

Мы прошли сразу к дежурному за огромной деревянной стойкой. Он сидел по ту сторону на высоком стуле. Отец спросил, нельзя ли поговорить с заместителем начальника.

— Представьтесь, пожалуйста, сэр, — без тени улыбки попросил констебль и зевнул, растягивая слово «сэр», отчего оно прозвучало, как заключительное слово погребальной песни.

— Я Джеймс Агву, работаю в Центральном банке Нигерии, — ответил отец.

Порывшись в нагрудном кармане, он достал красное удостоверение и показал его констеблю.

Тот изучил документ; лицо его сморщилось и тут же просияло. Возвращая отцу удостоверение, он улыбался от уха до уха и потирал висок.

— Ога, порадуете нас? — спросил он. — Знаете, говорят, вы можете…

Завуалированная просьба о взятке разгневала отца: он яро ненавидел коррупцию, поразившую нигерийский народ, во всех ее проявлениях и часто открыто порицал ее.

— Нет у меня на это времени, — сказал отец. — У меня сын пропал.

— Ах! — воскликнул офицер, словно перед ним вдруг явился мрачный призрак. — Так вы отец тех мальчиков? — машинально спросил он и тут же, осознав, что наговорил до того, произнес: — Простите, сэр. Прошу, подождите, сэр.

Он вызвал коллегу, и из коридора вышел другой офицер — худой и с очень темной кожей. Он как-то странно чеканил шаг. Остановившись, он поднял руку к голове, так что кончики пальцев оказались прямо над ухом, а затем уронил руку и прижал ее к бедру.

— Отведи его к ога замначальника, — распорядился первый полицейский по-английски.

— Есть, сэр! — отозвался младший офицер и притопнул.

Его лицо показалось мне смутно знакомым. Подойдя, он уныло предупредил:

— Простите, сэр, но прежде чем вы пройдете дальше, мне надо вас обыскать.

Офицер обыскал отца, похлопав его по карманам брюк. Затем уставился на меня, словно сканируя взглядом, а после спросил, нет ли у меня чего в карманах. Я мотнул головой, и он, поверив мне, обернулся к старшему по званию и снова отдал честь.

— Все в порядке, сэр!

Старший коротко кивнул и жестом велел проходить дальше.

Замначальника был тощим и очень высоким, с поразительным строением лица: широченный лоб, который, словно шиферная плита, нависал над выступающими, как будто бы опухшими, бровями и глубоко посаженными глазами. При виде нас он быстро встал.

— Мистер Агву, верно? — Он протянул отцу руку.

— Да, а это — мой сын Бенджамин, — буркнул отец.

— Добро пожаловать. Прошу, присаживайтесь.

Отец опустился на единственный стул, стоявший перед столом, а мне жестом велел присесть

на тот, что стоял у стены возле двери. Кабинет был оформлен по-старому: все три шкафа ломились от книг и папок. Лампа не была включена, но в щель между коричневыми занавесками пробивалась полоса яркого дневного света. Пахло лавандой, и этот запах напоминал о визитах в офис к отцу, когда он еще работал в местном отделении Центрального банка.

Наконец замначальника поставил локти на стол и, сцепив пальцы, начал:

— Эм-м… мистер Агву, мне жаль сообщать, но мы пока еще не выяснили, где ваш сын. — Поерзав и расцепив пальцы, он поспешил добавить: — Но у нас наметился прогресс. Мы опросили одну свидетельницу из вашего района, которая подтвердила, что видела в тот день мальчика через дорогу от дома. Судя по описанию, речь идет о вашем сыне: на нем была окровавленная одежда.

— А куда он направился, она не сказала? — взволнованный, поспешил спросить отец.

— Пока нам неизвестно, но мы ведем тщательное расследование. Члены нашей команды… — Тут он, мелко дрожа, закашлялся в кулак.

— Желаю вам поправиться, — пробормотал отец, и офицер его поблагодарил.

— То есть наша команда ведет поиски, — продолжил он, сплюнув в носовой платок. — Однако нас ждет неудача, если как можно скорее не предложить вознаграждения. То есть надо привлечь к поискам жителей города. — Открыв лежавшую перед ним книгу в твердом переплете, замначальника, казалось, стал внимательно читать ее, продолжая при этом говорить: — Узнав, что нашедшего ждет награда, люди, уверен, подключатся. То есть в противном же случае наши действия будут равносильны ночному подметанию улиц при скудном лунном свете.

— Я все понимаю, офицер, — немного погодя ответил отец. — Однако в таком деле я все же доверяю инстинктам, так что дождусь, когда вы закончите предварительные поиски, прежде чем примусь за исполнение собственных планов.

Замначальника быстро закивал.

— Что-то мне подсказывает, что он жив и здоров, — продолжил отец. — Просто скрывается после содеянного.

— Да, это возможно, — слегка повысив голос, согласился офицер. Казалось, ему было неудобно в кресле: он нажал рычажок под сиденьем, регулируя высоту, а после принялся бездумно перебирать разбросанные по столу бумажки. —

Знаете, дети и даже взрослые, совершив нечто такое ужасное… то есть убив брата… пугаются. Ваш сын может бояться нас, полицейских, или даже вас, родителей, будущего — да всего. Есть вероятность, что он и вовсе сбежал из города.

— Да, — трагичным тоном, качая головой, согласился отец.

— Это мне кое о чем напомнило. — Офицер щелкнул пальцами. — Вы не пытались связаться с родственниками, живущими неподалеку?…

— Да, но вряд ли он подался к ним. Мои сыновья редко навещали дальних родственников, разве что когда были совсем маленькие, да и то в сопровождении меня или матери. К тому же почти вся родня сейчас в городе и никто его не видал. Они приехали на похороны его брата, которые завершились всего несколько часов назад.

В этот момент офицер взглянул на меня. Я как раз присматривался к нему, заметив очевидное сходство с военным в темных очках на портрете, висевшем над столом: это был нигерийский диктатор, генерал Сани Абача.

— Я понимаю, о чем вы. Мы будем стараться и в то же время надеяться, что он сам вернется — в свое время.

— Мы тоже надеемся, — несколько раз произ-

нес отец глухим голосом. — Спасибо за все, сэр.

Офицер еще о чем-то спросил отца, но я не расслышал — снова углубился в свои мысли. Передо мной возник образ Икенны, с ножом в животе. Наконец отец и полицейский встали, пожали друг другу руки, и мы покинули кабинет.

* * *

А еще грибок-Боджа умел самостоятельно проявляться. Спустя четыре мучительных дня, в течение которых никто не имел ни малейшего представления, где он и что с ним, он объявился. Пожалел мать, которая чуть не умирала от горя, или же понял, что отец тоже вымотан случившимся и больше не может находиться в доме. Мать ругала отца и без конца во всем винила. Когда он только вернулся, узнав о смерти Икенны, она выбежала во двор, распахнула дверцу машины и вытащила его из салона под дождь. Схватила за воротник и, чуть не душа, принялась кричать:

— Я же говорила! Я говорила, что они ускользают из моих рук! Предупреждала тебя, предупреждала! Эме, ты ведь знал, что если в стене нет трещин, то ящерица сквозь нее не проникнет. Ты ведь сам знал, Эме.

Она не отпускала его, даже когда прибежала разбуженная криками миссис Агбати, наша соседка, и стала просить мать впустить отца в дом.

— Не впущу, нет! — рыдая еще сильнее, упиралась мать. — Взгляни на нас, ты только взгляни, ты взгляни. Мы дали трещину, Эме, мы раскололись и поглотили множество ящериц.

Мне никогда не забыть, как отец задыхался и мок под дождем, проявляя такую выдержку, на которую, как я думал — и мог бы поклясться, — он не способен. Наконец мать оттащили от него. За последующие четыре дня она еще много раз пыталась напасть на отца, но ее сдерживали те, кто приходил нас утешить. Возможно, Боджа видел и то, как Нкем без конца ходит за отцом и ревет, потому что мать забывала кормить ее. Обембе по большей части приглядывал за Дэвидом, который иногда принимался реветь без видимой на то причины и один раз даже заработал затрещину от раздраженной матери. Наверное, Боджа все это видел и ему стало жаль всех нас. Или он просто не мог больше прятаться и ему пришлось открыться. Никто уже никогда не узнает.

Он покинул укрытие вскоре после того, как мы с отцом вернулись из участка. На экране телевизора как раз появилось его фото — где он, слегка

присев, замахивался на камеру, словно собираясь сбить фотографа с ног, — с припиской «Пропал мальчик». Прямо перед этим показывали репортаж о том, как наша олимпийская сборная по футболу прилетела в Лагос с золотом и как в аэропорту их встречала толпа болельщиков. Мы — Обембе, отец, Дэвид и я — ели ямс в соусе на пальмовом масле. Мать, все еще в черном, лежала на ковре в другом конце гостиной. Нкем была на руках у Мамы Босе, аптекарши. Из родственников осталась только одна тетушка, да и та собиралась вернуться в Абу ночным рейсом на автобусе. Она сидела рядом с Мамой Босе и нашей матерью. Мать беседовала с обеими женщинами, рассуждала о мире в душе и о том, как люди отнеслись к нашему горю, а я смотрел в телевизор: Августин Джей-Джей Окоча пожимал руку генералу Абаче на аэродроме близ Асо-Рок, — и тут в дом с криками вбежала миссис Агбати. Она заглянула к нам взять воды из одиннадцатифутового колодца, одного из самых глубоких в районе. Соседи — особенно семья Агбати — частенько пользовались им, когда их собственные колодцы пересыхали или вода в них становилась непригодной к питью.

Бросившись на пороге на пол, она закричала:

— О нет! О нет!

— В чем дело, Боланле? — спросил отец, вскакивая с места.

— Он… в колодце, о-о-о-о, — выдавила из себя миссис Агбати, стеная и извиваясь на полу.

— Кто? — громко спросил отец. — Кто в колодце?

— Там он, там, в колодце! — повторяла женщина, которую сам Боджа недолюбливал и часто называл ashewo, потому что якобы видел, как она ходила в отель «Ля Рум».

— Я спрашиваю: кто? — крикнул отец и тут же выбежал из дома. Я устремился следом, а за мной — Обембе.

Воды в колодце под крышкой из прохудившегося листа железа было чуть выше восьмифутовой отметки. Пластмассовое ведро соседки валялось в иле у кромки ямы. Тело Боджи плавало в воде, раздутое, словно воздушный шарик, заключенное в раскрывшуюся парашютом одежду. Под прозрачной поверхностью было видно, что один глаз у Боджи открыт; второй, закрытый, разбух. Голова наполовину торчала из воды, покоясь на выцветшем кирпиче стенок, тогда как бледные руки держались на поверхности, словно обнимая кого-то невидимого постороннему глазу.

Этот колодец, в котором Боджа спрятался, а после обнаружился, всегда был частью его жизни. Двумя годами ранее самка ястреба — слепая, наверное, или раненая — упала в открытый зев колодца и утонула. Птицу, как и Боджу, нашли не сразу, а только через несколько дней. Так она там и лежала, под водой, незаметная, как медленно действующий яд. Потом же, когда пришло время, она возникла словно из ниоткуда и всплыла, но к тому времени *уже начала разлагаться*. Случай этот произошел в 1994 году, примерно в то же время, когда Боджа истинно уверовал во время массового евангелизационного собрания, организованного международным проповедником из Германии, евангелистом Рейнхардом Боннке. Когда птицу достали, Боджа — убежденный, что если вознести молитву, то вреда ему не будет, — сообщил, что помолится над водой в колодце и выпьет из него. Он искренне уверовал в отрывок из Писания: «…се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам»[14]. И пока мы ждали прихода работников из министерства водоснабжения, которых вызвал отец — чтобы они очистили

[14] Примечания: 14
Лк. 10:19.

воду, — Боджа взял и выпил ее целую чашку. Опасаясь, что он может умереть, Икенна рассказал обо всем родителям, чем поверг их в панику. Отец увез Боджу в больницу, поклявшись, что после хорошенько его выпорет. Мы испытали огромное облегчение, когда пришли результаты анализов: Боджe ничто не угрожало. Так Боджа победил колодец, однако спустя пару лет колодец победил его. Убил.

Когда Боджу достали, его было не узнать. Набежала толпа — люди со всего района, — а Обембе стоял и в ужасе смотрел на меня. В те дни в небольших западноафриканских сообществах трагические вести вроде этой распространялись, точно лесной пожар, подгоняемый гарматаном. Заслышав крики нашей соседки, люди — знакомые и незнакомые — повалили к нам во двор и вскоре заполнили его целиком. Ни я, ни брат никому не препятствовали, когда стали уносить тело Боджи — не то что после смерти Икенны. Обембе тогда повел себя совершенно иначе: когда он вышел из ступора, в котором все повторял: «Красная река, красная река, красная река», он обнял голову старшего брата и лихорадочно принялся делать ему искусственное дыхание рот в рот, приговаривая: «Ике, очнись, пожалуйста, оч-

нись», пока наконец мистер Боде не оттащил его в сторону. На этот раз, когда на месте оказались и родители, мы с Обембе наблюдали за происходящим с веранды.

Народу набежало столько, что мы почти не видели, как разворачиваются события. Жители Акуре — да и почти любого западноафриканского городка — это голуби: пассивные создания, что прохаживаются вразвалочку по базарам или игровым площадкам, словно ждут каких сплетен или новостей, и слетаются кучей туда, где просыпалось зерно. Все тебя знают, ты знаешь всех. Каждый — тебе брат, и ты — брат каждому. Трудно было найти такое место, где не было никого, кто не знал бы твою мать или брата. И так было со всеми. Мистер Агбати пришел в одной только белой майке и коричневых шортах. Отец и мать Игбафе — в традиционном наряде одинаковой расцветки: они только-только вернулись с какого-то мероприятия и не успели переодеться. Пришли и другие соседи, тот же мистер Боде — именно он спустился в колодец за телом Боджи. Прислушиваясь к разговорам, я рисовал в воображении картину происходящего: мистеру Боде передали лестницу, и он спустился вниз, попробовал достать Боджу одной рукой,

но тело Боджи отяжелело так, что стало *неподъемным*. Тогда мистер Боде уперся свободной рукой в стенку колодца и снова потянул. Футболка Боджи лопнула под мышкой, а лестница просела. Мистер Боде сам чуть не соскользнул в воду, но его удержали мужчины, стоящие у края колодца, — крайнего в цепочке ухватили за ноги и за пояс сразу трое. Мистер Боде спустился еще на несколько ступенек и с третьей попытки вытащил Боджу из водной могилы, в которой тот лежал уже несколько дней. Толпа одобрительно загудела, будто при виде воскрешенного Лазаря.

Однако внешне Боджа ничуть не напоминал воскресшего из мертвых: раздувшийся утопленник, и этот пугающий образ мне никогда не забыть. Отец прогнал нас с Обембе в дом, чтобы мы не смотрели и не запомнили брата таким.

— Вы, двое, сидите тут, — задыхаясь, велел он. Таким я никогда его прежде не видел: на лице появились морщины, воспаленные глаза. Подождав, пока мы сядем, отец опустился на колени и, опустив руки нам на бедра, произнес: — Мужайтесь, вы должны быть стойкими. Смотреть в глаза этому миру и прокладывать себе путь, идти по нему… с такой же… отвагой, какой обладали ваши братья. Понимаете?

Ми кивнули.

— Молодцы, — с отсутствующим видом кивнул отец.

Он опустил голову, спрятал лицо в ладонях и что-то забормотал, скрежеща зубами. Единственное слово, которое мне удалось расслышать, было «Иисусе». А еще я заметил плешь у него на макушке: полукруг голой кожи, не как у старичков.

— Обембе, помнишь, что ты сказал несколько лет назад? — снова взглянув на нас, спросил отец.

Обембе мотнул головой.

— Ты забыл, — на его лице появилась грустная улыбка и тут же исчезла, — что сказал в день, когда твой брат Ике привел машину к моему офису? Во время беспорядков, устроенных сторонниками М.К.О.? Прямо там, за столом, — он указал в сторону стола, на котором остался недоеденный обед. По тарелкам уже ползали мухи. Рядом стояли недопитые стаканы воды и кувшин с остывающим кипятком, над которым сиротливо вился пар. — Ты спросил, что бы вы делали, если бы старшие братья умерли.

Вот тут Обембе кивнул — он, как и я, наконец вспомнил вечер 12 июня 1993 года. Отец отвез нас домой, и за ужином все наперебой приня-

лись делиться впечатлениями. Мать рассказала, как она с подругами спасалась в близлежащих армейских казармах, стоило на рынке появиться бунтовщикам: они прочесывали торговые ряды, убивая всякого, кого принимали за северянина. Последним высказался Обембе:

— Что станет со мной и Беном, когда Икенна и Боджа состарятся и умрут?

Все расхохотались, кроме Обеме и меня, бывших тогда самыми младшими в семье. Вопрос Обембе я счел стоящим, хотя сам ни разу им не задавался.

— Обембе, ты к тому времени тоже состаришься. Братья ненамного старше тебя, — ответил отец, давясь смехом.

— Ну ладно. — Обембе ненадолго задумался. Он смотрел на братьев, и видно было, что его непосильным бременем тяготят и другие вопросы. — Но что, если бы они умерли?

— Заткнись! — прикрикнула на него мать. — Боже милостивый! Как ты вообще можешь о таком думать? Твои братья не умрут, слышишь? — Она схватилась за мочку уха, и Обембе испуганно закивал головой.

— Хорошо, а теперь ешь давай, — громогласно велела мать.

Пристыженный, Обембе уткнулся в тарелку и вопросов больше не задавал.

* * *

— И вот это случилось, — продолжил отец. — Обембе, теперь ты отвечаешь и за себя, и за младших братьев, Бена и Дэвида. Теперь ты старший, ты за рулем.

Обембе кивнул.

— Не понимай буквально, я не о машинах. — Отец покачал головой. — Ты просто подаешь им пример.

Обембе снова кивнул.

— Указывай им путь, — пробормотал отец.

— Хорошо, папа, — ответил Обембе.

Отец встал и утер нос тыльной стороной ладони — кожа на руке заблестела, точно намазанная вазелином. Смотря на отца, я вспомнил, что читал в «Атласе животного мира» об орлах: большинство откладывает всего два яйца, и птенцов, вылупившихся последними, часто заклевывают старшие братья и сестры. Особенно когда еды не хватает. В «Атласе» это называлось «синдром Каина и Авеля». Несмотря на силу и мощь, взрослые орлы никак не препятствуют братоубийству. Должно быть, это происходит, когда родители отлучают-

ся из гнезда, улетают далеко-далеко в поисках пропитания. Поймав белку или мышь, они мчат сквозь облака обратно, а находят орлят — возможно, двух орлят — мертвыми: один в гнезде, и его темно-бордовая кровь просачивается на камни, другой — раздутый — плавает где-нибудь рядом в луже.

— Вы, оба, оставайтесь тут, — велел отец, выдергивая меня из задумчивости. — Не выходите, пока не скажу. Поняли?

— Да, папа, — хором ответили мы с братом.

Отец поднялся и уже хотел уйти, но обернулся и умоляюще произнес:

— Прошу вас, пожалуйста… — Так и не договорив, он вышел, а мы с Обембе, пораженные, остались сидеть на месте.

До меня вдруг дошло, что Боджа был еще и грибком-самоубийцей: такой живет в теле носителя и постепенно разрушает его организм. Так он и поступил с Икенной: сперва подточил его дух, затем изгнал из тела душу — пронзил плоть ножом и выпустил кровь, которая растеклась по кухне красной рекой. Потом, как всякий представитель своего вида, Боджа обратился против самого себя и прервал свою жизнь.

О самоубийстве Боджи первым рассказал мне

Обембе. Он все узнал со слов людей, толпившихся во дворе, и ждал момента, чтобы поделиться услышанным. Наконец, когда отец вышел, Обембе повернулся ко мне и произнес:

— Знаешь, что Боджа сделал?

Новость меня глубоко потрясла.

— Знаешь, что мы пили кровь из его раны? — продолжил Обембе. Я покачал головой.

— Послушай, это не все. Ты знаешь, что у Боджи в голове — большая дырка? Я. Все. Видел! Еще утром мы заваривали чай на воде из колодца и пили его.

Я ничего не понимал. Не мог взять в толк, как Боджа мог все это время быть в колодце.

— Если он был там, все это время… — начал я и запнулся.

— Продолжай, — сказал Обембе.

— Если он все это время был там — там… — Я начал заикаться.

— Договаривай.

— Хорошо… Если Боджа все это время был в колодце, то как мы не увидели его, когда набирали воду этим утром?

— Утопленники всплывают не сразу. Послушай, помнишь ящерицу в бочке с водой у Кайоде?

Я кивнул.

— А птицу, что упала к нам в колодец два года назад?

Я снова кивнул.

— Вот, так оно и происходит. — Обембе устало махнул рукой в сторону окна и повторил: — Да, вот так и происходит.

Он встал со стула и лег на кровать, накрывшись с головой маминой враппой с вытравными изображениями тигра. Из-под чуть подрагивающей враппы донеслись сдавленные рыдания. Я же сидел на месте, словно приклеенный, в то время как что-то начало неудержимо подниматься из желудка наверх. Там словно возник крошечный заяц, и теперь он грыз мои внутренности, все сильнее и сильнее. Я ощутил во рту кислый привкус, и меня вырвало кусочками еды вместе с пищевой кашицей. Тут же последовал приступ кашля. Меня согнуло пополам и снова стошнило.

Обембе вскочил с кровати и кинулся ко мне.

— Что? Что с тобой?

Я не смог ответить. Заяц продолжал раздирать мои внутренности. Я только судорожно втянул воздух.

— А, воды, — сказал Обембе. — Я принесу тебе воды.

Я кивнул.

Обембе сбегал за водой и, вернувшись, спрыснул мне лицо. Но чувство было, что я захлебываюсь, тону. Я хватал ртом воздух и отчаянно смахивал с лица капли.

— С тобой все хорошо? — спросил Обембе.

Кивнув, я промямлил:

— Да.

— Тебе надо попить.

Он принес мне еще воды в кружке.

— Бери, пей. Больше не надо бояться.

Когда он это сказал, мне сразу вспомнился один случай. Мы тогда еще не рыбачили и возвращались домой с футбольной площадки, как вдруг из остова недостроенного дома выскочила собака и принялась на нас лаять. Она была тощая — хоть ребра на боках пересчитывай. Ее шкуру, точно крапинки — ананас, покрывали пятна и свежие раны. Бедное создание рывками, угрожающе подбиралось к нам. Я, хоть и любил зверей, но боялся собак, львов, тигров и прочих крупных кошачьих: начитался, как они разрывают людей и животных на части. И вот при виде этой собаки я закричал и прижался к Бодже, а он, желая успокоить меня, подобрал камень и швырнул им в пса. Боджа не попал, однако пес испугался: продолжая гавкать, машинально дергаясь в нашу

сторону и помахивая тонким хвостом, он все же попятился, оставляя следы на земле.

— Собака ушла, — обернулся ко мне Боджа, — не надо бояться.

В тот же миг страх прошел.

Пока я пил воду, во дворе разразился настоящий ад. Где-то поблизости взвыла сирена. Вот она стала громче, и послышались новые голоса: какие-то люди требовали дать им дорогу. Должно быть, приехала «скорая». Толпа закричала, когда раздувшееся тело Боджи понесли со двора. Обембе метнулся к окну в гостиной: хотел посмотреть, как тело Боджи погружают в «скорую». Одновременно он старался, чтобы отец его не заметил, и приглядывал краешком глаза за мной. Снова, и на этот раз совершенно оглушительно, взвыла сирена, и Обембе вернулся в комнату.

Воду я допил, меня больше не тошнило, однако мысли все еще лихорадочно вращались в голове. Я вспоминал день, когда Икенна толкнул Боджу и тот разбил голову о металлический ящик. Обембе тихо сел в угол комнаты, обхватив себя руками, словно его бил озноб. Потом спросил: видел ли я, когда Икенна зашел в комнату, что было у него в кармане?

— Нет, а что там у него было? — спросил я. Бод-

жа лишь изумленно взглянул на меня. Он сидел с открытым ртом, и его выступающие резцы казались от этого больше, чем на самом деле. Не меняясь в лице, он подошел к окну, посмотрел на забор — мокрый после многодневных дождей, — вдоль которого маршировала длинная колонна муравьев. На заборе висела тряпка, и с нее капала вода, оставляя длинный след, тянущийся до самой земли. На горизонте клубилось кучевое облако.

Я терпеливо ждал ответа, но когда молчание Обембе затянулось, повторил вопрос.

— У Икенны в кармане был нож, — не оборачиваясь, ответил брат.

Я подскочил и бросился к нему, словно в комнату сквозь стену пробился дикий зверь с намерением сожрать меня.

— Нож?!

— Да, — кивнул Обембе. — Я видел. Мамин кухонный нож. Тот, которым Боджа обезглавил петуха. — Он снова покачал головой. — Я видел, — повторил Обембе, предварительно взглянув на потолок, будто полагал, что кто-то сверху кивнет, подтверждая его правоту. — У него был нож. — Скривившись, он сказал упавшим голосом: — Наверное, Икенна хотел убить Боджу.

Снова завыла сирена «скорой», вырывая меня из воспоминаний, и толпа оглушительно взревела. Обембе отстранился от окна и подошел ко мне.

— Его увезли, — хрипловато сказал он. Взяв меня за руку и бережно уложив на кровать, он повторил эти слова. Ноги у меня к тому времени затекли: я ведь так и продолжал сидеть на корточках.

— Спасибо.

Обембе кивнул.

— Я сейчас приберусь и лягу рядом с тобой. Ты не вставай, — сказал он и направился было к двери, но на пороге встал и, обернувшись, улыбнулся мне; на глазах у него поблескивали две прозрачные жемчужины.

— Бен.

— Что?

— Ике и Боджа мертвы. — Челюсть у него задрожала, нижняя губа выпятилась, а жемчужины скатились по щекам, оставляя влажные дорожки.

Я не знал, как следует понимать его слова, и просто кивнул. Обембе вышел из комнаты.

Пока Обембе собирал совком и веником мою рвоту, я лежал, закрыв глаза, а воображение

рисовало картину того, как погиб Боджа, как он — если верить людям — убил себя. Вот он стоит над телом Икенны — воя и внезапно осознав, что одним поступком, одним махом обесценил собственную жизнь, опустошил ее, словно какую-нибудь пещеру со старинными драгоценностями. Должно быть, он понял, какое будущее ему уготовано, и ужаснулся. От страха в нем родилась чудовищная решимость, она впрыснула идею самоубийства в разум, словно морфий — в вену, запустив медленный пагубный процесс. Когда разум Боджи умер, он с легкостью перенес свое тело к колодцу. Страх и неуверенность стежок за стежком прошивали его разум, шов уплотнялся, пока наконец Боджа не прыгнул вниз головой — как он всегда нырял в реку Оми-Ала. Он падал без слов и не плача, тихо; в лицо ударил встречный поток воздуха. В ушах у Боджи, наверное, не застучало, и пульс не участился. Скорей всего, Боджа сохранял удивительное спокойствие, и в этом состоянии перед его мысленным взором, наверное, возникли иллюзорные явления образы прошлого, заключенные в статичные картинки. Вот пятилетний Боджа сидит на высокой ветке нашего мандаринового дерева и напевает песню «Тарзан-бой» группы «Балтимора». А вот пятилет-

ний Боджа стоит на утренней школьной линейке; его попросили выйти и возглавить общее чтение Господней молитвы, и он обкакался. Десятилетний Боджа в 1992 году исполняет роль Иосифа плотника, мужа Богоматери, в рождественской постановке, устроенной в нашей церкви, и, к изумлению всех присутствующих, говорит: «Мария, я не возьму тебя в жены, ибо ты — ashewo!» А вот М.К.О. велит Боджа не драться. А вот Боджа — фанатичный рыбак, которым он был еще недавно. Наверное, такие образы роились у него в голове, точно пчелы — в улье, пока он опускался под воду. Когда же его ноги наконец коснулись дна, улей смело́ и все образы разлетелись.

Падение длилось недолго. Едва уйдя под воду, Боджа, наверное, ударился головой о выступающий из стенки камень. Раздался хруст — раскололся череп; кровь завихрилась в голове и, вытекая из нее, смешалась с водой. Мозг наверняка разнесло в клочья, а вены, отходящие от него, лопнули. Язык в момент удара о камень вывалился изо рта, барабанные перепонки порвались, точно старинная занавесь, и часть зубов пригоршней игральных костей полетела в горло. Потом, наверное, происходило сразу несколько вещей: тело билось в конвульсиях, а изо рта ка-

кое-то время еще вылетали неслышные звуки, и наверх поднимались пузыри, как в котле с кипящей водой. Конвульсии стали постепенно отпускать его тело, и вскоре оно замерло. Потусторонний покой окутал его, приводя к смертной недвижимости.

11. Пауки

Когда мать голодна, она говорит: «Приготовьте что-нибудь поесть моим детям».

Ашантийская пословица

Пауки были порождениями горя.

Тварями, которые, по поверьям игбо, гнездятся в домах скорбящих, бесшумно, самозабвенно плетя свои тенета, пока пряжа не раздуется и не охватит весь дом. Они пришли после смерти моих братьев — среди множества прочих перемен этого мира. В первую неделю после трагедий мне казалось, будто навес или зонт, под которым мы все это время укрывались, порван и я остался беззащитен. Я стал думать о братьях, вспоминал малейшие подробности их жизней. Я словно глядел на них в некую подзорную трубу, направленную в прошлое, которая увеличивала всякое, даже незначительное действие или событие. Но изменился не только мой мир. Все мы — отец, мать, Обембе, я, Дэвид и даже Нкем — страдали каждый по-своему, но в первые несколько недель тяжелее всего приходилось именно матери.

Народное поверье гласит, что пауки приходят и гнездятся в доме, где живут горе и скорбящие люди, но у нас они пошли дальше и вторглись в разум матери. Она первой заметила пауков, их растянутые под потолком пышные сети. Но это не все. В скоплениях хитинистых телец она видела подглядывающего за нами Икенну, а в спиральных переплетениях нитей ей мерещились его глаза. Она все жаловалась: «Ndi ajo ife — эти отвратительные, мохнатые твари». Они ее пугали. Мать плакала, указывая на пауков, пока отец в попытке ее успокоить — Мама Босе, аптекарша, и Ийя Ийябо просили его прислушаться к голосу скорбящей женщины, какими бы нелепыми ему не казались ее просьбы, — не убрал все гнезда и не прихлопнул пауков, оставшихся на стенах. Потом прогнал из дома стенных гекконов и объявил войну тараканам, плодившимся с угрожающей скоростью. Лишь тогда восстановился мир, но то был мир хромой и на опухших ногах.

Вскоре мать начала слышать голоса с того света. Ей вдруг стало казаться, что мозг у нее кишит кусачими термитами и армия их неустанно трудится, пожирая серое вещество. Людям, приходившим с утешениями, мать рассказывала, будто бы Боджа заранее, во сне, предупреждал

ее о своей смерти. Мать часто пересказывала увиденный накануне трагедии сон — соседям и прочим прихожанам нашей церкви, которые слетались в наш дом, словно пчелы. Она считала этот сон предупреждением, ведь люди в нашей области страны да и во всей Африке твердо верят: если плод материнской утробы, ее дитя, умирает или вот-вот умрет, мать неким образом узнает об этом заранее.

Еще накануне похорон Икенны мать рассказала о сне. Аптекарша Мама Босе потрясла меня своей реакцией: упала и принялась кататься с воем по полу, от стены к стене:

— О-о-о, это Господь предупреждал тебя. Бог предупреждал, что это случится. О-о-о-о, э-э-эй-й-й.

Это был настоящий взрыв боли и тоски: стоны навзрыд, резкие гласные звуки, внезапно обрывающиеся, — казалось бы, нечленораздельные и в то же время абсолютно понятные присутствующим. Но больше всего свидетелей этой сцены поразило то, что мать сделала потом. Она встала у висевшего на стене календаря, который все еще был открыт на странице с орлом, — на феврале месяце, — ведь никому и в голову не приходило перелистнуть его в дни страшной метаморфозы Икенны. Вскинув руки, мать закричала:

— Elu na ala — небо и земля, взгляните на руки мои: они чисты! Смотрите, смотрите на шрам от рождения сыновей моих: он еще не зажил, а мои мальчики мертвы. — Она задрала подол блузки и указала на рубец пониже пупка. — Смотрите на грудь, что они сосали. Грудь еще налита, а их уже нет.

Мать задрала блузку под горло, чтобы показать грудь, и к ней подскочила одна соседка, чтобы блузку одернуть. Но было слишком поздно: все в комнате успели увидеть оплетенные венами груди и выступающие соски. Средь бела дня.

Услышав рассказ матери о вещем сне, я сильно испугался: знай я, что сны могут предупреждать о беде, то сумел бы истолковать свой кошмар про мост. Я рассказал Обембе об этом сне, и он согласился: да, то было знамение. Спустя неделю или около того мать пересказала свой сон пастору Коллинзу и его супруге. Отца в это время дома не было: он отправился за бензином, а заправка располагалась на окраине города. В ту же неделю, когда нашли Боджу, правительство взвинтило цены на топливо с двенадцати до двадцати одной найры — чем вынудило заправщиков тайно запасать бензин впрок. По всей стране к колонкам выстроились бесконечные очереди. На одной

такой отец и проторчал с полудня до раннего вечера. Он вернулся усталый с полным баком и бочкой керосина в багажнике и сразу же рухнул в кресло, свой трон. Он еще не успел снять пропитанную потом рубашку, как мать принялась перечислять всех, пришедших в тот день. Она сидела близко, но будто не чувствовала сильного запаха пальмового вина, который окружал отца, точно мухи — свежую рану на теле коровы. Мать говорила долго, пока отец не вскричал: «Хватит!»

— Хватит, я сказал! — повторил он, вскакивая на ноги. На руках его выступили жилы. Мать застыла, сложив ладони на коленях. — Что за ерунду ты несешь, а, друг мой? Неужели мой дом превратился в приют для всякой живой твари в этом городе? Сколько еще народу придет выразить соболезнования? Скоро и собаки подтянутся, потом козы, лягушки да ожиревшие коты. Разве ты не знаешь, что некоторые из этих людей — просто плакальщики, ревущие громче горюющих. Закончится это когда-нибудь?

Мать не ответила. Она молча опустила взгляд на обернутые выцветшей враппой колени и покачала головой. В свете керосиновой лампы я увидел, что у нее на глазах блеснули слезы. Со

временем я пришел к выводу, что этот спор иглой уколол ее в душевную рану и с тех пор эта рана кровоточила. Мать перестала разговаривать и погрузилась в молчание. Оцепенел весь ее мир. Она просто сидела в доме и бездумно пялилась в одну точку. На вопросы отца чаще всего отвечала пустым взглядом, будто не слышала обращенных к ней слов. Язык, который прежде сыпал словами, как грибок спорами, замер. Обычно, если мать была взбудоражена, слова соскакивали с ее уст, точно тигры, а когда была спокойна — текли, точно вода из прохудившейся трубы. Однако с того вечера они стали собираться в мозгу, застывая там, и лишь некоторые падали редкими каплями. Отец, обеспокоенный, донимал ее целыми днями, и наконец мать прервала молчание, пожаловавшись на то, что ей не дает покоя неприкаянный дух Боджи. К концу сентября эти жалобы сделались постоянными, и отец больше не мог их выносить.

— Ты городская женщина, как ты можешь быть такой суеверной? — сорвался он одним утром после того, как мать рассказала, что Боджа стоял рядом с ней на кухне, пока она готовила. — Скажи, друг мой, как?

Гнев матери разгорелся не на шутку — она

пришла в ярость.

— Как ты смеешь говорить мне такое, Эме? — заорала она. — Как смеешь? Разве я не мать этих мальчиков? Разве не чувствую, когда их духи тревожат меня?

Она вытерла руки о подол врашпы, а отец, скрипя зубами, схватился за пульт от телевизора и так сильно прибавил звук, что пение актера йоруба на экране чуть не заглушило голос матери.

— Можешь притворяться, будто не слушаешь, — с издевкой произнесла она, сцепив ладони, — но не отрицай, что наши дети умерли не своей смертью. Эме, мы оба знаем, что их смерти безвременны! Ты выйди да оглядись. A na eme ye eme — это ненормально. Родители не должны хоронить детей. Все должно быть наоборот!

Телевизор все еще работал, и на экране что-то орало как сирена, но после слов матери на комнату опустилось покрывало тишины. Снаружи горизонт заволокло серой дымкой густых облаков. Сказав последнее слово, мать села в одно из кресел, и почти сразу же прогремел гром; налетевший порыв влажного ветра захлопнул дверь кухни. Тут же погас свет, и комната погрузилась в полумрак. Отец закрыл окна, но не стал задергивать занавески — чтобы с улицы проникал

хоть какой-то свет. Затем вернулся в кресло, осаждаемый легионами демонов — порождениями слов матери.

* * *

Изо дня в день мать продолжала выпадать из этого мира. Самые обычные слова, избитые фигуры речи, старые песни внезапно обернулись для нее демонами, единственной целью которых было сжить ее со свету. Знакомое тело Нкем: длинные ручки, коса — то, что прежде мать обожала, она вдруг возненавидела. Однажды Нкем попыталась забраться матери на колени, но та, обозвав ее «созданием, что пытается залезть на нее», отпугнула малышку. Отец, внимательно читавший в тот момент «Гардиан», встревожился:

— Боже правый! Ты что, серьезно, Адаку? — спросил он. — Это ты с Нкем так обращаешься?

При этих словах мать сильно переменилась в лице, будто была слепа и внезапно прозрела. Распахнув рот, она пристально посмотрела на Нкем. Перевела взгляд на отца, потом снова на дочь и промямлила:

— Нкем. — Язык у нее словно болтался во рту, как оторванный. Снова подняв взгляд, мать пробормотала: — Это Нкем, моя дочь, — одно-

временно утвердительным и вопросительным тоном.

Отец стоял на месте, словно обе ноги ему прибили к полу. Он открыл рот, но не произнес ни звука.

Когда же мать снова заговорила: «Я ее не узнала», — он лишь кивнул и, взяв на руки Нкем — плакавшую и сосавшую большой палец, — тихо вышел из дома.

Мать в ответ разревелась:

— Я ее не узнала.

На следующий день отец сам готовил завтрак. Мать осталась в постели, натянув на себя свитера, словно простуженная, и, всхлипывая, отказалась вставать. Целый день она лежала в кровати и вышла только под вечер, когда мы вместе с отцом смотрели телевизор.

— Эме, видишь белую корову, что пасется у нас в комнате? — сказала она и ткнула куда-то пальцем.

— Что? Какую еще корову?

Мать запрокинула голову и гортанно расхохоталась. Губы у нее пересохли и растрескались.

— Разве не видишь: вот тут, корова траву ест? — требовательно спросила она, раскрыв ладонь.

— Какую еще корову, друг мой? — Мать говори-

ла так уверенно, что отец даже завертел головой, будто и впрямь ожидал застать корову посреди гостиной.

— Эме, ты что, ослеп? Не видишь белую лоснящуюся корову?

Она указала на меня — я сидел отдельно в кресле, положив себе на колени подушечку. Я не верил своим ушам и глазам. До того поразился, что даже обернулся посмотреть, не стоит ли позади кресла корова, и тут до меня дошло: мать указывала именно на меня.

— Взгляни: вон еще одна, а вон — третья, — продолжала мать, указывая по очереди на Обембе и Дэвида. — Одна пасется снаружи, другая внутри. Они тут кругом, Эме, как ты не видишь?

— Может, заткнешься? — взревел отец. — Что ты несешь? Боже милостивый! С каких пор наши дети стали коровами?

Схватив мать, он повел ее в главную спальню. Мать шла, упираясь: косички упали ей на лицо, а под пепельным свитером колыхалась большая грудь. Всякий раз, как мать требовала: «Пусти, пусти, дай на белых коров посмотреть», — отец кричал: «Заткнись!» Он подталкивал мать, и ее голос срывался на визг.

Видя все это, Нкем разразилась плачем. Обембе

попытался взять ее на руки, но Нкем принялась лягаться и реветь еще громче. Отец к тому времени затащил мать в спальню и запер дверь. Внутри они оставались долго, мы то и дело слышали их голоса. Потом отец вышел и попросил нас уйти к себе в комнату. Еще он велел Дэвиду и Нкем посидеть немного с нами, пока он сходит за хлебом. Время было где-то шесть вечера. Младшенькие согласились, но стоило нам запереться, как по ту сторону двери послышались долгие шаркающие шаги, стукнула о стену дверь, а затем раздался безумный вопль: «Эме, оставь меня, оставь, куда ты меня тащишь?» Отец тяжело дышал. Потом с громким стуком захлопнулась входная дверь.

Мать пропала на две недели. Позднее я выяснил, что ее упрятали в психиатрическую больницу — изолировали, точно взрывоопасный материал. Разум ее пережил настоящий катаклизм, и знакомый ей мир разлетелся на мелкие части. Ее чувства обострились невероятным образом: тиканье часов в палате для нее теперь звучало громче визга дрели, а крысиные лапки стучали множеством колоколов.

У матери развилась страшная форма никтофобии: каждая ночь становилась беременной самкой, дававшей приплод в виде навязчивых

ужасов. Крупные вещи сжимались до микроскопических размеров, а мелкие раздувались, пухли и приобретали размеры чудовищные. Ее внезапно окружили противоестественным образом растущие с каждой минутой живые листья ачара на длинных колючих стеблях — они медленно и неуклонно душили ее. Мучимая видением этого растения — и леса, в котором она очутилась, мать стала видеть и другие вещи. Часто являлся ее отец, разорванный в клочья артиллерийским снарядом в Биафре в 1969 году, во время гражданской войны, и танцевал посреди палаты. Обычно дед танцевал, вскинув обе руки — в своем довоенном облике, однако случалось и такое, что он являлся в облике привоенном или послевоенном: вместо одной руки у него была окровавленная культя, — и тогда мать кричала громче всего. Порой дед говорил матери ласковые слова, приглашал ее присоединиться. Впрочем, худшим кошмаром, превосходящим все остальные, стали видения о пауках. К концу второй недели в палате, в лечебнице не осталось ни клочка паутины, а всех пауков передавили. Казалось, что с каждым убитым насекомым, с каждым новым черным пятнышком на стенах приближалось выздоровление.

Дома без матери приходилось трудно. Нкем плакала, почти не переставая, и ее никак не получалось утешить. Я пробовал петь ей колыбельные — те же самые, что обычно пела мать, — без толку. Усилия Обембе тоже обернулись сизифовым трудом.

Как-то утром отец вернулся и, застав Нкем в таком состоянии безутешного горя, объявил, что мы едем навещать маму. Нкем тут же успокоилась. Перед уходом отец, который с тех пор, как мать положили в больницу, готовил для нас всю еду, подал нам завтрак: яичницу и хлеб. Потом они с Обембе, достав ведра, сходили за водой к Игбафе: наш колодец, после того как из него достали Боджу, стоял закрытый. Затем мы по очереди умылись и оделись. Отец надел просторную белую футболку, воротник которой пожелтел от множества стирок. А еще к тому времени у отца прилично отросла борода, так что он изменился до неузнаваемости.

Мы вышли во двор и сели в машину: Обембе впереди, а я, Дэвид и Нкем — сзади. Отец молча закрыл дверь, опустил стекло и включил зажигание.

Все так же молча он вел машину по улице, на которой в то утро царило шумное оживление.

Мы обогнули большой стадион, утыканный прожекторами и бесчисленными флагами Нигерии. Над этой частью города возвышалась огромная статуя Оквараджи, неизменно вызывавшая во мне благоговейный трепет. На голове статуи я заметил крупную, похожую на стервятника аспидно-черную птицу. Мы ехали по правой стороне двухрядной дороги, отходящей от нашей улицы, пока не достигли небольшого открытого рынка на пустыре у обочины. Сбавили скорость и поехали по замусоренной грунтовой дороге. Потом снова начался асфальт. У края полосы в одном месте, в ворохе разлетевшихся перьев, лежала раздавленная тушка курицы. В нескольких метрах от нее собака, зарывшись мордой в лопнувший мусорный пакет, лакомилась его содержимым. Дальше отцу пришлось осторожно придвигаться вперед между оставленными у обочин тяжелыми грузовиками и фурами. По обеим сторонам дорожки, ведущей к открытому рынку, почетным караулом выстроились попрошайки, заявляя о своих бедах с помощью плакатов типа «Помогите, пожалуйста, слепому» или «Лоуренсу Оджо, пострадавшему при пожаре, нужна ваша помощь». Одного я даже узнал, он мелькал всюду на нашей улице: у церкви, у почты, возле

школы и даже на базаре. Передвигался он на короткой доске с колесиками, загребая «обутыми» в сморщенные шлепанцы руками. Миновав государственную радиостанцию «Ондо», мы кое-как вписались в движение на кольцевом перекрестке в центре Акуре — внутри кольца стоял памятник: трое мужчин бьют в традиционные говорящие барабаны. Вокруг цилиндрического цоколя, на котором помещался памятник, заросли кактусов боролись за выживание с сорняками.

Отец остановился у желтого здания и некоторое время просто сидел на месте, словно бы осознав, что совершил ошибку. Вскоре я понял, в чем дело: прямо перед нами из другой машины выбралась группа людей; они вели мужчину средних лет — тот дико хохотал и покачивал торчащим из расстегнутой ширинки крупным членом. Если бы не более светлый цвет кожи да и относительно приличный вид, этого сумасшедшего можно было бы принять за Абулу. При виде него отец обернулась к нам и произнес:

— Ну-ка, быстро закрыли глаза и молимся за маму!

Потом он обернулся еще раз и, заметив, что я глазею на безумца, рявкнул:

— Все быстро закрыли глаза!

Убедившись, что мы выполнили требование, отец обратился ко мне:

— Бенджамин, начинай.

— Да, папа, — ответил я и, откашлявшись, начал молитву на английском. На других языках молиться я, впрочем, и не умел. — Во имя Иисуса, Господа нашего, прошу Тебя: помоги… благослови нас, Боже, и молю, исцели маму. Ты, который исцелял больных, Лазаря и прочих, сделай так, чтобы она больше не разговаривала, как сумасшедшая. Во имя Христа мы молимся.

Остальные хором произнес: «Аминь!»

Когда мы открыли глаза, сумасшедшего уже подвели ко входу в больницу и заталкивали внутрь, однако мы все еще видели его пропыленную спину. Отец вышел и открыл заднюю дверь с моей стороны. Нкем сидела, зажатая между мной и Дэвидом.

— Послушайте, друзья мои, — начал отец, пристально вглядываясь в наши лица покрасневшими глазами. — Во-первых, ваша мать не сумасшедшая. Слушайте, все, когда войдем, не смотрите по сторонам. Только вперед. Все, что увидите в стенах этого дома, должно остаться у вас в голове. Того, кто ослушается меня, по возвращению домой ждет Воздаяние.

Мы согласно кивнули, а потом один за другим вылезли из машины. Обембе с отцом пошли впереди, а я — сзади. Двинулись по длинной тропинке, обрамленной цветочными клумбами, и наконец вошли в большое здание, выложенные плиткой полы которого пахли лавандой. Мы оказались в просторном холле, полном разговаривающих людей. Я старался не смотреть по сторонам, чтобы меня потом не высекли, но искушению противиться не мог. И вот, пока отец меня не видел, я глянул влево — заметил бледную девочку. Ее голова на длинной тощей шее механически подергивалась, как у робота, язык почти постоянно торчал изо рта, а сквозь редкие тусклые волосы проглядывала бледная кожа. Я пришел в ужас. Обернувшись, увидел, как отец берет синий квиточек у женщины в белом фартуке за стойкой и говорит:

— Да, это все ее дети, они пойдут со мной.

Тут женщина за стеклянной стойкой встала и посмотрела на нас.

— Это все ее дети, — буркнул отец.

— Уверены, что им следует видеть мать в таком состоянии? — спросила женщина.

У нее была довольно светлая кожа. На голове у нее, поверх красиво напомаженных волос,

неподвижно сидел сестринский чепчик, а на приколотой к груди табличке с именем было написано: «Нкечи Даниэль».

— Думаю, все будет хорошо, — пробормотал отец. — Я все тщательно взвесил, с последствиями справлюсь.

Сестра, однако, не удовлетворенная его ответом, покачала головой.

— У нас действуют строгие правила, сэр, — сказала она. — Но дайте мне минутку, я посоветуюсь с начальством.

— Хорошо, — согласился отец.

Пока мы ждали, сгрудившись вокруг него, меня не отпускало чувство, что бледная девочка не сводит с меня глаз. Тогда я постарался сосредоточиться на календаре, висевшем на стене шкафа за стойкой, а также на множестве плакатов, посвященных лекарствам и врачебным рекомендациям. На одном из них был изображен силуэт беременной женщины. На спине у нее сидел малыш, а по бокам стояли еще два карапуза. Чуть впереди высился мужчина — должно быть, муж. Он держал на плече еще одного ребенка, а на переднем плане стоял мальчик моего роста с плетеной корзиной в руках. Надписи под картинкой я прочесть не мог, но догадывался о

ее содержании: это была одна из многочисленных социальных реклам в рамках агрессивной правительственной политики по контролю рождаемости.

Наконец вернулась медсестра и сказала:

— Хорошо, проходите все, мистер Агву. Тридцать вторая палата. Chukwu che be unu.

— Da-alu — спасибо, сестра, — произнес отец в ответ на ее фразу на игбо и слегка поклонился.

Мать, которую мы увидели в тридцать второй палате, сидела в истощенном состоянии: пустой взгляд и все та же черная блузка, которую она не снимала со дня смерти Икенны. Вид у нее был такой болезненный и бледный, что я чуть не вскрикнул от ужаса. Глядя на мать, я подумал: а что, если это место высасывает из людей плоть, сдувает бока и ляжки? Меня сильно поразило, какие у матери сальные и свалявшиеся волосы, какие сухие и шелушащиеся у нее губы, да и вообще вся она изменилась. Отец направился к ней, а Нкем закричала:

— Мама, мама!

— Адаку, — позвал отец, обнимая мать, но та не обернулась. Продолжала пялиться в голый потолок, на неподвижный вентилятор посередине и верхние углы палаты. При этом она шептала едва

слышно, осторожно и убежденно:

— Umu ugeredide, umu ugeredide — пауки, пауки.

— Nwuyem, снова пауки? Разве их всех не убрали? — Отец оглядел углы. — Где на этот раз?

Мать его будто не слышала и продолжала шептать, прижав к груди руки.

— Зачем ты поступаешь так с нами, с детьми и со мной? — спросил отец, а Нкем разревелась еще громче. Обембе взял было ее на руки, но сестренка так отчаянно лягалась, попадая ему по коленкам, что пришлось ее отпустить.

Отец хотел присесть на койку рядом с матерью, но она отпрянула, закричав:

— Оставь меня! Уйди! Оставь меня!

— Так мне уйти, да? — спросил отец, вставая. Он побледнел, и вены на висках проступили особенно четко. — Взгляни на себя, взгляни, как ты усыхаешь на глазах у оставшихся у тебя детей. Ада, ты знаешь, что нет в мире ничего такого, при виде чего глаз прольет кровавые слезы? Знаешь, что нет такой потери, которую мы не переживем?

Он, растопырив пальцы, провел над ней ладонью — от головы к ногам.

— Ну так чахни, чахни дальше.

Тут я заметил, что рядом стоит Дэвид и держится за подол моей рубашки. Он едва не плакал. Мне вдруг захотелось обнять брата, чтобы он успокоился, и я прижал его к себе. Ощутив аромат оливкового масла, которым я смазал его волосы этим утром, вспомнил, как Икенна купал меня, когда я был маленький, и как он за руку отводил меня в школу. Я был тогда очень застенчивым и до жути боялся учителей с их тростями, так что не мог просто поднять руку и отпроситься: «Простите, *ма*, можно выйти и сделать ка-ка?» Вместо этого я переходил на игбо и кричал во весь голос, чтобы меня услышал Боджа, сидевший в соседнем классе, отделенном от нашего лишь тонкой деревянной перегородкой: «Брат Боджа, achoro mi iyun insi!» Тогда его и мои одноклассники валились на пол от хохота, но брат прибегал и отводил меня в туалет. Он ждал, пока я закончу, подмывал и отводил обратно в класс, где учитель почти всегда лупил меня перед всеми по рукам — за нарушение порядка. Так происходило много раз, однако Боджа никогда не жаловался.

* * *

Больше отец меня и Обембе в больницу не брал. Разве что возил на свидание с матерью Нкем и

Дэвида — да и то лишь когда они доводили его нытьем. Мать продержали в лечебнице еще три недели, и все эти дни стояла неестественно холодная погода. Даже ветер, что задувал по ночам, казалось, пел раненым зверем. А потом в конце октября налетел гарматан: сухой пыльный ветер, дующий в это время года с севера Нигерии, от Сахары, в сторону юга. И тогда даже на рассвете в городе тяжелыми полотнищами висел густой призрачный туман. Отец привез мать, посадив ее рядом с собой, спереди. Ее не было пять недель, и за это время она похудела вдвое. Волосы у нее потемнели, словно она бесконечно красила их изо дня в день. Ее руки испещряли следы от внутривенных инъекций, а на большом пальце была заплатка в виде толстого слоя ваты, обмотанного пластырем. И хотя мне стало ясно, что прежней мать уже не станет, глубину перемен осознать было трудно.

Отец оберегал ее, словно яйцо редкой птицы, и гонял нас — особенно Дэвида — как мошкару. Вертеться возле матери разрешалось только Нкем. Общалась мать с нами через отца, а если приходили гости, то он спешно отводил ее в родительскую спальню. О состоянии матери отец поведал только ближайшим друзьям, а соседям

врал, что она уехала в деревню близ Умуахии, к своим родным, восстанавливать силы после утраты. Нам же он, схватившись за обе мочки уха, строго-настрого запретил кому-либо говорить о недуге матери:

— Даже москит, что жужжит у вас над ухом, не должен прослышать об этом.

Готовить он продолжал сам: кормил сперва мать и только потом — нас. Все заботы по дому легли на его плечи.

Однажды, спустя почти неделю после возвращения матери, мы уловили обрывки жаркого спора: мать с отцом шепотом о чем-то ругались за закрытыми дверями. Мы с Обембе отправились в кинотеатр, располагавшийся рядом с почтой, а вернувшись, застали отца выносящим картонные коробки с книгами и рисунками Икенны. Почти все пожитки наших старших братьев уже громоздились кучей на пустыре, где мы когда-то играли в футбол. Обембе спросил у отца, зачем сжигать эти вещи, и отец ответил, что на этом настаивает мать: она не хочет, чтобы через эти предметы проклятье, наложенное Абулу, перешло с покойных сыновей на остальных членов семьи. Отвечая, отец даже не взглянул нас, а положив коробки, покачал головой и вернулся

в дом за следующими. Когда в комнате больше ничего не осталось, стол Икенны придвинули к стене, окрашенной в пурпурный цвет и покрытой карандашными рисунками и акварелями. Сверху на него водрузили кривой стул. Отец вынес последние сумки с вещами Боджи и свалил в общую кучу. Ногой задвинул туда же гитару, которую Икенне — когда он еще был маленький — подарил уличный музыкант-растафари. Этот человек с дредами до лопаток частенько исполнял песни Лаки Дубе и Боба Марли, и послушать его сходилось много народу — и взрослые, и дети — со всего района. Он часто пел под кокосовой пальмой у ворот нашего дома, а Икенна — вопреки родительскому запрету — танцевал на потеху публике. Его даже прозвали Раста-бой, но отец быстро сорвал с него этот ярлык, прибегнув к силе болезненного Воздаяния.

Мы смотрели, как отец поливает кучу вещей керосином — последним, что у нас оставался, — из красной канистры. Несколько раз оглянувшись на дом, он чиркнул спичкой. Куча загорелась, и в воздух взметнулось облако дыма. Огонь пожирал пожитки Икенны и Боджи, те вещи, к которым они прикасались, пока были живы, и от чувства, что братья покинули нас окончательно, мне в

сердце словно вонзилась тысяча гвоздей. Я очень живо помню, как боролась с огнем одна из любимых вещей Боджи, пестрая рубашка *дашики*. Она была сложена, но внезапно распахнулась — точно живое существо, борющееся за жизнь, а потом стала заваливаться назад, увядать, медленно рассыпаясь пеплом. Услышав всхлипы матери, я обернулся. Она покинула свою комнату и теперь сидела на земле в нескольких метрах от горящей кучи, а рядом с ней опустилась на корточки Нкем. Отец еще долго стоял возле костра, с пустой канистрой в руке, утирая влажные от слез глаза и запачканное лицо. Мы с Обембе встали подле него. Наконец заметив мать, отец отбросил канистру и направился к ней.

— Nwuyem, — произнес он, — я же говорил, что горе пройдет… Да. Нельзя горевать бесконечно. Я же говорил, что нельзя изменить порядок вещей: вчерашний день завтрашним не станет, а в завтрашний день нам не заглянуть раньше времени. Довольно, Адаку, умоляю тебя. Вот он я, вместе мы справимся.

Вокруг столба дыма кружила стая птиц, едва приметных в наступающей темноте. Небо над нами приобрело оттенок яркого пламени, а деревья превратились в силуэты — жутких сви-

детелей того, как обращаются в пепел портфель Икенны, сумки Боджи, дурная гитара, тетрадки с изображением М.К.О., фотографии, блокноты с рисунками Фифидона, головастиков, реки Оми-Алы, рыбацкие тряпки, одна из баночек, в которой мы надеялись держать рыбу, да так и не использовали, игрушечные автоматы, будильник, альбомы для рисования, спичечные коробки, нижнее белье, рубашки, брюки, обувь — все, чем братья когда-то владели и к чему прикасались, — поднималось и исчезало с дымом.

12. Ищейка

Обембе был ищейкой.

Тем, кто первым обо всем узнавал, кто выведывал все и изучал это. Голова его вечно ломилась от идей, а когда приходило время, он их рождал — словно окрыленных и способных летать созданий.

Именно Обембе — через два года после переезда в наш дом в Акуре — обнаружил, что за этажеркой в гостиной спрятан заряженный пистолет. Оружие он нашел, гоняясь за маленькой мушкой, что влетела к нам в комнату. Насекомое жужжало у него над головой и умудрилось избежать двух яростных ударов учебником «Элементарной алгебры», которым Обембе поспешил воспользоваться в качестве орудия убийства. Стоило ему второй раз промахнуться, и мушка улетела в гостиную, где опустилась на полку с расставленными в разных секциях телевизором, видеоплеером и радиоприемником. Пустившись в погоню за насекомым, Обембе внезапно вскрикнул и уронил учебник. Мы только недавно переехали, и никто еще не успел заметить торча-

щий из-за этажерки кончик пистолетного ствола. Отец, испугавшись не меньше нас, отнес оружие в полицию. Он радовался, что его не успели найти младшие дети — Дэвид или Нкем.

У Обембе были глаза ищейки.

Глаза, подмечающие мельчайшие детали — такие, которые другой бы на его месте пропустил. По-моему, Обембе даже догадывался, что Боджа в колодце, еще до того, как его нашла там миссис Агбати. Утром, когда она обнаружила утонувшего Боджу, Обембе жаловался, что вода — какая-то маслянистая и дурно пахнет. Он набрал воды, чтобы умыться, и заметил на ее поверхности в ведре жирную пленку. Позвал меня, и я, зачерпнув воды, попробовал ее и тут же выплюнул. Запах я тоже заметил — вонь гниения, мертвечины, — но откуда он, определить не мог.

Именно Обембе раскрыл тайну того, что стало с телом Боджи. Мы не ходили на его похороны, не было плакатов, гостей — вообще никаких признаков ритуала. Я спросил у брата, когда наконец погребут Боджу, но он не знал и не хотел спрашивать у родителей, двух стражей нашего дома. И хотя Обембе не стал бить тревогу или копать глубже, если бы не он, я бы так и не узнал, что стало с телом Боджи. В первую субботу ноября

— через неделю после возвращения матери из психбольницы — он нашел кое-что, чего я не замечал, прямо на верхней полке этажерки, за свадебной фотографией родителей, сделанной в 1979-м. Обембе показал мне небольшой прозрачный сосуд. Внутри лежал полиэтиленовый пакетик, наполненный порошком пепельного цвета — вроде глинистого песка из-под поваленных деревьев, высушенного на солнце до состояния мелких, похожих на соляные, кристалликов. Едва взяв сосуд в руки, я заметил ярлычок: «Боджа Агву (1982–1996)».

Через несколько дней мы подошли к отцу, и Обембе прямо заявил, что он все знает: странный порошок в пакетике — это пепел Боджи. Оторопевший отец во всем признался. Рассказал, как члены клана и родственники строго предупредили его и мать, что Боджу хоронить нельзя. Предать земле самоубийцу или братоубийцу значило согрешить против Ани, богини земли. Христианство, конечно, прочесало земли игбо мелкой гребенкой, однако крохи традиционных верований сумели проскочить между зубцов. Время от времени из деревни или от членов клана в местных диаспорах доходили слухи о мистических происшествиях — несчастных случаях

и даже смертях в наказание от богов. Отец не верил в кару богини и в то, что подобное «изобретение неграмотных умов» вообще существует, однако решил все же не хоронить Боджу — ради матери и еще потому, что горя с него хватило. Нам с Обембе ничего не сказали, и мы бы так ни о чем и не проведали, если бы не Обембе-ищейка.

* * *

У Обембе был разум ищейки: неугомонный ум, постоянно жаждущий новых знаний. У него постоянно возникали вопросы — его все интересовало, и он любил читать, насыщая свой мозг. Самым близким его другом была лампа, при свете которой он читал по ночам. Всего в нашем доме имелось три керосиновые лампы с колесиком-регулятором и фитильком, кончик которого окунался в небольшой резервуар с топливом. В те дни в Акуре постоянно случались перебои в подаче электричества, и каждый вечер Обембе приходилось читать при свете лампы. После смерти братьев он стал читать так, будто от этого зависела его жизнь. Он жадно, как всеядный зверь, глотал сведения из прочитанных книг и запасал их в уме. А потом, обработав и выделив самое главное, передавал мне в упрощенном

виде — в качестве историй на ночь.

Еще до смерти братьев Обембе рассказал историю о принцессе, которая отправилась в лесную чащу вслед за идеальным господином небывалой красоты, намереваясь выйти за него замуж, и обнаружила, что он — лишь череп, заимствовавший плоть и части тел у людей. Эта история, как и прочие хорошие истории, заронила семя в моей душе, оставшись в ней навсегда. В те дни, когда Икенна был питоном, Обембе рассказал об Одиссее, царе Итаки, — о нем брат прочел в сокращенном варианте гомеровской «Одиссеи». У меня в уме навсегда остались образы Посейдоновых морей и бессмертных богов. Чаще всего Обембе рассказывал истории ночью, в полутьме нашей комнаты, и я медленно погружался в созданный его словами мир.

Спустя две ночи после возвращения матери мы с Обембе сидели на кровати, привалившись спиной к стене. Я почти уже заснул, как вдруг Обембе сказал:

— Бен, я знаю, почему наши братья погибли. — Щелкнув пальцами, он встал и схватился за голову. — Послушай, я… я только что понял.

Обембе сел и принялся рассказывать длинную историю, вычитанную из одной книги. Названия

брат не упомнил, но был уверен, что автор ее — игбо. Голос Обембе заглушал треск потолочного вентилятора. Закончив, брат умолк, а я пытался осмыслить историю сильного человека по имени Оконкво, которого один белый коварством довел до самоубийства.

— Понимаешь, Бен, — сказал Обембе, — жителей Умуофии удалось завоевать, потому что они не были едины.

— Верно, — согласился я.

— Белые люди были общим врагом племени, и оно победило бы, если бы сплотилось в борьбе. Знаешь, почему наши братья погибли?

Я покачал головой.

— Точно потому же: между ними не было единства.

— Да, — пробормотал я.

— А знаешь, почему Ике и Боджа были разъединены? — Обембе, решив, что я не знаю, не стал ждать и ответил сам: — Пророчество Абулу. Они умерли из-за пророчества Абулу.

Он с отсутствующим видом поскреб тыльную сторону левой ладони и даже не обратил внимания, что на сухой коже остались белые следы от ногтей. Некоторое время мы сидели в тишине, а мой разум заскользил в прошлое, точно по отвес-

ному склону.

— Наших братьев убил Абулу. Он — наш враг.

Голос Обембе надломился, и слова прозвучали как шепот из дальнего конца пещеры. Я, конечно, знал, что Икенна преобразился под действием проклятия, но не думал винить в этом одного Абулу, как сделал сейчас брат. Да, безумец посеял страх в душе Икенны, и все же я не спешил возлагать на него всю ответственность за гибель брата. Однако Обембе объяснил, как обстоит дело, и я понял: так оно и есть. Пока я размышлял, Обембе подтянул колени к груди и обнял их. При этом он зацепил пятками простыню, обнажив часть матраса. Затем обернулся ко мне и — упираясь одной рукой в кровать, так что она промялась до пружин, — пронзил сжатым кулаком воздух.

— Я убью Абулу.

— Зачем тебе это? — ахнул я.

Некоторое время Обембе сквозь быстро набухающие слезы рассматривал мое лицо.

— Я сделаю это ради наших братьев, которых он погубил. Я убью его ради них.

Я ошеломленно смотрел, как Обембе запирает дверь и отходит к окну. Потом он запустил руку в карман шортов. Два раза чиркнул спичкой. На третий раз щелкнуло, и коротко вспыхнул

огонек. Я поразился, увидев, как Обембе — силуэт в слабом свете спички — сует в рот сигарету. Струйка дыма потянулась в окно, исчезая во тьме ночи. Я чуть из кровати не выскочил. Я не знал, не догадывался, не понимал, что и как произошло.

— Сигаре… — дрожащим голосом залепетал я.

— Да, только ты молчи, не твое это дело.

В мгновение ока силуэт брата обернулся властной фигурой, что нависла надо мной, окутанная сигаретным дымом.

— Скажешь папе с мамой, — произнес Обембе, глядя на меня полными тьмы глазами, — и усилишь их боль.

Он выдохнул дым в сторону окна, а я в ужасе воззрился на брата: он был всего на два года старше меня, и вот он курил и при этом плакал, как ребенок.

* * *

Характер Обембе формировали книги. Они стали его видениями, он верил в них. Теперь-то я понимаю: во что веришь, то часто становится постоянным, а что постоянно, то может стать нерушимым. С Обембе так все и было: раскрыв свой план, он отстранился от меня и стал прорабатывать детали замысла — ежедневно, куря

по ночам. Он читал еще больше, иногда сидя на мандариновом дереве, растущем на заднем дворе. Он осуждал мою неспособность стать храбрее ради братьев и жаловался, что я не хочу ничему учиться на примере героя романа «И пришло разрушение»[15] и не готов бороться против общего врага, безумца Абулу.

Хотя отец и пытался вернуть прежние времена, как до его отъезда из Акуре, — девственно чистые дни нашей жизни, моего брата его старания оставили равнодушным. Сердце его не могли согреть даже новые фильмы: отец купил боевики с Чаком Норрисом, новый фильм про Джеймса Бонда, кино под названием «Водный мир» и даже нигерийский ужастик «Жизнь в путах».

Обембе где-то вычитал, что если изобразить какую-то проблему в виде рисунка и наглядно представить, в чем она заключается, то это поможет ее решить. Он целыми днями делал схематичные наброски планов отмщения. Я же сидел в сторонке и читал. Как-то, спустя примерно неделю после нашей размолвки, я наткнулся на его рисунки. Они напугали меня. На одной схеме, выполненной остро заточенным каранда-

---

[15] Примечания: 15
Роман нигерийского писателя Чинуа Ачебе (1959 г.).

шом, брат метал камни в Абулу, и безумец падал замертво.

На другой, изображающей свалку и фургон Абулу, Обембе — палочный человечек — с ножом в руке крался к машине, а я — следом за ним. В отдалении стояла роща деревьев, рядом паслось стадо свиней. Внутри грузовика — в разрезе — он же, Обембе, отсекал голову Абулу, *словно Оконкво, убивающий судебного стражника*.

Наброски ужасали. Я вглядывался в них, держа листы в трясущихся руках, и в этот момент Обембе вернулся из туалета, куда отлучился минут на десять.

— На что это ты смотришь? — яростно вскричал он и толкнул меня так, что я, не выпуская рисунков, упал на кровать.

— Отдай! — гневно велел Обембе.

Я бросил листки в его сторону, и Обембе подобрал их с пола.

— Не трогай больше ничего у меня на столе! — прорычал он. — Слышишь, ты, болван?

Я лежал, прикрыв голову рукой. Боялся, что брат меня ударит, однако он просто спрятал рисунки в шкаф, под стопку одежды. Затем отошел к окну. С соседнего двора, отделенного от нас высоким забором, доносились крики — ребята гоняли

мяч. Почти всех мы знали: Игбафе, например; он вместе с нами ходил рыбачить на речку. Сейчас его голос то и дело раздавался громче остальных:

— Да, да, пасуй мне. Пинай! Пинай!! Пинай!!! Эх, ну что ты делаешь?

Смех, а затем быстрый топот ног, бурное дыхание. Я сел на кровати.

— Обе, — как можно спокойнее позвал я брата.

Он не ответил: мычал себе под нос какую-то мелодию.

— Обе, — снова, чуть не плача, позвал я. — Ну зачем тебе так нужно убивать безумца?

— Все просто, Бен, — сказал брат, да так хладнокровно, что нервы у меня не выдержали. — Я хочу убить его, потому что он убил наших братьев. Он не заслуживает жизни.

Когда Обембе, рассказав мне историю Оконкво, в первый раз заявил о планах убить Абулу, я решил, что он просто подавлен и в нем говорит гнев. Но сейчас, услышав в его голосе мрачную решимость и увидев рисунки, я испугался, что он настроен серьезно.

— Зачем, зачем тебе… убивать человека?

— Вот видишь, — отмахнулся Обембе, хотя слова мои сочились тревогой, и слово «убивать» я почти прокричал. — Ты даже не знаешь зачем.

Ты уже забыл наших братьев.

— Я не забыл их, — возразил я.

— Забыл. Помнил бы — не сидел бы тут, глядя, как Абулу, убив наших братьев, продолжает жить.

— Неужели мы обязаны убить человека-демона? Разве нет иного пути, Обе?

— Нет, — покачал головой Обембе. — Послушай, Бен, раз уж мы испугались вмешаться, когда братья дрались и убили друг друга, то не должны бояться отомстить за них сейчас. Мы должны убить Абулу, иначе не видать нам покоя. Мне не будет покоя. Маме с папой не будет покоя. Из-за Абулу мама рассудка лишилась. Он нанес нашей семье незаживающую рану, и если мы не убьем этого безумца, ничто уже не станет прежним.

Обембе говорил так убежденно, что я не знал, как ответить, и сидел, оцепенев. Брат исполнился железной решимости; каждую ночь он сидел на окне и курил — обычно голый по пояс, чтобы футболка не пропахла дымом. Он курил, кашлял, отплевывался и то и дело прихлопывал на себе москитов.

Когда к нам постучалась Нкем, лепеча, что ужин готов, Обембе открыл и сразу же закрыл за собой дверь — только свет из гостиной успел

мелькнуть в проеме, и снова наступила темнота.

Прошло несколько недель, и Обембе, не сумев убедить меня, отдалился. Вознамерился все сделать один.

* * *

Ближе к середине ноября, когда сухой гарматан сделал кожу людей пепельно-белой, наша семья уподобилась мыши, которая, точно первый признак жизни, показывается из-под обломков выжженного мира. Отец открыл книжную лавку. На сбережения и при щедрой поддержке друзей — особенно мистера Байо, который обещал навестить нас и которого мы очень ждали, — он арендовал однокомнатное помещение всего в двух километрах от королевского дворца. Местный плотник смастерил большую вывеску, где на белом фоне красной краской вывел: «Книжная лавка Икеботжа». Вывеску повесили над входом. В день открытия отец взял нас собой. Большую часть книг он выставил на деревянных полках, пахнущих лаком. Для начала отец закупил четыре тысячи книг, сказал, что расставлять их придется несколько дней. Запас хранился в мешках и коробках в неосвещенной кладовой. Стоило же отцу туда сунуться, как в зал выскочила кры-

са. Мать гортанно рассмеялась — впервые с тех пор, как умерли наши братья, — и долго не могла успокоиться.

— А вот и первый покупатель, — заметила она, пока отец гонялся за крысой. Та была вдесятеро быстрее, чем он, но вот наконец — под наш дружный смех — крыса все-таки шмыгнула вон.

Отец, отдышавшись, рассказал, как одного его коллегу из Йолы постигла странная напасть: его дом наводнили крысы. Коллега долго терпел их полчища, прибегая лишь к помощи обычных мышеловок: не хотел, чтобы крысы дохли неизвестно в каких углах дома и гнили там, пока их не найдут. Другие меры оказались тщетны. Но вот одним ясным днем, когда к нему пришли двое коллег и он угощал их, в гостиной показались две крысы. Они немало смутили хозяина дома, и он решил: с него хватит. Переселил на неделю всю семью в отель и посыпал в каждом уголке и закуточке дома порошком «Ота-пиа-пиа». Когда же семья вернулась, то обнаружила дохлых крыс везде: они валялись даже в обуви.

В центре лавки, лицом к двери, отец поместил рабочий стол и кресло. На стол он поставил вазу с цветами и стеклянный глобус, который Дэвид, опрокинув по неосторожности, разбил бы, если

бы отец не успел его поймать.

Едва покинув лавку, мы застали ссору на другой стороне улицы: в окружении толпы зевак дрались двое. Не обращая на них внимания, отец указал на крупную вывеску у дороги: «Книжная лавка Икеботжа». Только Дэвиду пришлось объяснять, что название составлено из имен наших умерших братьев. Затем отец отвез нас в супермаркет «Теско» и купил нам пирожных, а на обратном пути решил поехать по улице на задворках нашего района, по узкой дорожке, с которой были видны скрывающие реку Оми-Алу заросли крапивы. По пути нам попалась труппа танцоров: музыка у них играла из нескольких бумбоксов, стоящих в кузове грузовика. На этой улице было полно деревянных и матерчатых навесов, под которыми женщины продавали красивые безделушки. Прочие, стоя у обочины, предлагали сложенные в мешки клубни ямса, рис в пиалах и даже корзинах и много чего еще. Между машинами опасно мелькали перегруженные пассажирами мотоциклы, и было всего лишь вопросом времени, когда кто-нибудь обязательно свалится и расшибет голову. Над зданиями возвышалась стоящая рядом со стадионом статуя Самуэля Окваражи — нигерийского футболиста,

умершего в 1989 году прямо на поле: рука неизменно указывает на невидимого товарища по команде, а нога вечно бьет по мячу. Его дреды покрылись слоем пыли, из зада торчали прутья арматуры. Через дорогу от стадиона под брезентовыми навесами собрались люди в традиционной одежде. Они сидели на пластиковых стульях за столиками, на которых стояли вино и прочие напитки. Двое играли на говорящих барабанах в форме песочных часов, а мужчина в *агбаде* и длинных брюках из той же ткани исполнял танец с элементами акробатики, и агбада развевалась во все стороны.

Едва мы подъехали к повороту налево — дальше дорога вела прямиком к нашему дому, — как увидели Абулу. После смерти наших братьев он нам еще ни разу не попадался на глаза. Безумец словно испарился, будто и не было его вовсе, будто он вошел к нам в дом, распалил огонь пожара и пропал. Родители о нем, с тех пор как мать вернулась, почти не говорили — разве что мать сама сообщала какие-то слухи. Абулу исчез, лишенный бремени, как всегда, ведь жители Акуре все ему спускали с рук.

Абулу стоял у обочины и смотрел куда-то вдаль, пока мы медленно — из-за «лежачих полицей-

ских» — ехали в его сторону. Он заметил нас и, улыбаясь и размахивая руками, кинулся навстречу. Одного верхнего зуба у него не хватало, а под рукой алела длинная и свежая, еще кровоточащая царапина. Завернутый во враппу с цветочным орнаментом, безумец перешел на тротуар. При этом он двигался как-то вальяжно и жестикулировал, точно общаясь с попутчиком. А потом, когда мы прижались к краю узкой дороги, пропуская нагруженный стройматериалами грузовик «Бедфорд», Абулу остановился и принялся что-то очень внимательно разглядывать на земле. Отец продолжал ехать, словно не замечая его, но мать зашипела и, едва слышно пробормотав: «Злой человек», защелкала над головой пальцами.

— Сдохнуть тебе лютой смертью, — продолжила она на английском. — Сдохнуть тебе. Ka eme sia.

Мимо с грохотом и прерывисто сигналя, проехал фургон, буксировавший сломанную машину. Продолжая следить за Абулу, я стал смотреть в боковое зеркало и заметил, что он удаляется от нас со скоростью реактивного истребителя. Когда он скрылся из виду, я прочел предупреждение на зеркале: «Осторожно. Объекты в зеркале ближе, чем кажутся». Интересно, как близко был

от нашей машины Абулу? Стоило вообразить, как он касается ее, и в голове пронеслась лавина мыслей. Сперва я задумался о том, как мать отреагировала на его появление: прикинул, ждет ли безумца на самом деле лютая смерть? Да нет, вряд ли. Кто сможет его убить? Кто приблизится к Абулу и пырнет его ножом в живот? Разве безумец не заметит приближения убийцы и не убьет его первым? Разве не убило бы его большинство горожан, будь у людей возможность? Разве не предпочитают они разбегаться от него, точно круги на воде? Разве не обращаются на пороге расплаты в соляные столбы, словно Абулу неуязвим?

Услышав мать, Обембе обернулся ко мне и поймал меня взглядом в сеть немого вопроса: «Ну, видишь, о чем я тебе говорил?» И тут меня озарило: я понял, что Абулу и впрямь виновник нашего горя. Когда мы проезжали мимо соседского грузовика Аргентины, изрыгавшего клубы черного дыма, до меня дошло: это Абулу нанес рану нашей семье. Хотя я не поддерживал намерение брата отомстить безумцу, встреча с Абулу в тот день изменила меня. Реакция матери: ее проклятие, слезы, что покатились по щекам при виде его, — тронула и меня. Когда Нкем звонким

голосочком сказала: «Папа, мама плачет», я ощутил прокатившуюся по телу холодную волну и как будто весь онемел.

— Да, знаю, — ответил отец, глядя в зеркало заднего вида. — Скажи ей, пусть перестанет.

Когда Нкем передала матери: «Мама, папа просил сказать, чтобы ты перестала плакать», мое сердце не выдержало, и, точно плотина прорвалась, я припомнил все беды, причиненные нам Абулу:

1 1. Это он отнял у нас братьев.

1 2. Это он отравил ядом нашу с братьями кровь.

1 3. Это из-за него отец лишился работы.

1 4. Это из-за него мы с Обембе пропустили целую четверть.

1 5. Это он чуть не свел мать с ума.

1 6. Это из-за него пришлось сжечь вещи моих братьев.

1 7. Это из-за него тело Боджи сожгли, словно мусор.

1 8. Это из-за него тело Икенны закопали в песок.

1 9. Это из-за него Боджа раздулся, точно шар.

10. Это из-за него Боджу объявили в розыск по всему городу.

Список можно было продолжать без конца. Я перестал считать, а строчки бежали перед мысленным взором, точно вода из незакрытого крана. Поражало и страшило то, что этот человек — причинив столько горя нашей семье, заставив страдать мою мать, внеся раздор между нами, — даже отдаленно не представлял, что он натворил. Он продолжал жить, целый и невредимый.

11. Он разрушил карту желаний моего отца.

12. Он породил пауков, захвативших наш дом.

13. Это он — не Боджа — воткнул нож Икенне в живот.

К тому времени как отец заглушил мотор, голем, созданный внутри меня этим откровением, восстал и стряхнул с себя лишнюю глину. На челе его был начертан вердикт: Абулу — враг.

Вскоре мы с Обембе оказались в нашей комнате, и когда брат натягивал бриджи, я сказал ему, что тоже хочу убить Абулу. Обембе замер и взглянул на меня. Потом подошел и обнял.

Ночью, в темноте, он рассказал мне историю — чего не делал уже очень давно.

13. Пиявка

Ненависть — это пиявка.

Тварь, что присасывается к коже человека и питается от него, истощает силу духа. Она меняет человека и не отстанет, пока не высосет до последней капли весь покой его души. Ненависть впивается в кожу и постепенно проникает все глубже и глубже, так что, удаляя паразита, ты вырываешь себе кусок плоти, а убивая его — калечишь себя. Некогда люди использовали огонь, раскаленный прут, и после прижигания пиявки на коже оставался след. Так вышло и с ненавистью, которую мой брат питал к Абулу: она впилась ему глубоко в кожу. С того вечера, как я дал согласие отомстить, мы почти всегда держали дверь в комнату запертой и каждый день, пока родители работали — мать в лавке, отец в книжном, планировали миссию.

— Сперва, — сказал одним утром Обембе, — надо победить его здесь, в нашей комнате. — Брат показал рисунки, на которых палочные человечки в драке убивали безумца. — Победим сперва мысленно, потом на бумаге, а потом и вживую.

Ты ведь слышал, как пастор Коллинз много раз повторял: то, что происходит в физическом мире, уже случилось в мире духовном. — Ответа на вопрос он, однако, не ждал. Сразу продолжил: — Так что перед тем, как отправиться на поиски Абулу, мы должны убить его здесь.

Первым делом мы рассмотрели пять рисунков, на которых был изображен момень уничтожения Абулу, и обсудили пути достижения цели. Первый рисунок Обембе назвал «Давид и Голиаф»: он мечет камни в Абулу, и тот умирает.

Я в успехе этого плана усомнился. Мы ведь не были слугами Божьими вроде Давида, и нам не суждено было стать царями, как Давиду, и потому мы могли не попасть Абулу камнем в лоб. Стоял самый разгар дня, и солнце пекло вовсю, так что Обембе включил потолочный вентилятор. Где-то в нашем районе зазывал уличный торговец: «Резиновые сандалии — налета-а-а-ай!» Мой брат сел на стул и, потирая челюсть, подумал над моими словами.

— Послушай, я понимаю твои страхи, — сказал он наконец. — Может, ты и прав, но закидать Абулу камнями реально. Вопрос — как это сделать? Где и в какое время, чтобы нас не поймали? Вот в чем недостатки этого варианта, а не в том,

что мы не цари вроде Давида. — Я согласно кивнул. — Если мы закидаем его камнями у всех на виду, кто знает, что будет? А вдруг мы попадем в случайного прохожего?

— Ты прав, — кивнул я.

Далее Обембе представил рисунок, на котором Абулу был заколот ножом — совсем как Икенна. Этот план Обембе назвал «Оконкво», в честь героя книги «И пришло разрушение». Изображение пугало.

— А если он будет сопротивляться и сам тебя зарежет? — спросил я. — Он ведь коварный, ты знаешь.

Такая перспектива встревожила моего брата. Он взял карандаш и перечеркнул рисунок.

Одну за другой мы перебирали схемы и обдумывали варианты, пробовали их на зуб, а после, найдя непригодными, зачеркивали. Когда же заготовки у Обембе закончились, мы стали на ходу придумывать стечения обстоятельств, несчастные случаи, но большинство идей отвергалось, еще даже толком не оформившись. На одном из таких набросков мы гнались за Абулу ненастным вечером, и его на полном ходу сбивала машина — содержимое раздавленной головы выплескивалось на асфальт. В нашей фантазии на дороге

оставались части разорванного тела. Это была моя мысль, ведь я много раз видел на дороге тушки сбитых цыплят, коз, собак, кроликов… Мой брат некоторое время думал, закрыв глаза. Тем временем в район вернулся торговец сандалиями. Он кричал еще громче: «Сандалии! Налетай! Резиновые сандалии!» Торговец так близко подошел к нашему двору, что из-за его криков я не сразу услышал, как Обембе заговорил:

— …неплохая идея, но ты ведь знаешь: эти *трусые* глупцы, которым неизвестно, как этот безумец обошелся с нашей семьей, попытаются остановить нас.

И снова, как обычно, пришлось согласиться. Обембе разорвал рисунок и бросил клочки бумаги на пол.

Пиявка — решимость Обембе отомстить за смерть наших братьев — так глубоко впилась в него, что убить ее было уже нельзя даже при помощи огня. В течение последующих дней, когда родителей не бывало дома, мы выходили искать безумца. Выбирались утром, бродя по улицам часов с десяти и до двух дня. В школе началась новая четверть, но отец написал директрисе с просьбой позволить нам не ходить на занятия, поскольку мы до сих пор не оправились от гибели

братьев и не готовы вернуться за парту. А чтобы случайно не наткнуться на одноклассников или просто приятелей и знакомых, мы выбирали окольные пути. Почти всю первую неделю декабря прочесывали улицы в поисках безумца, но так и не нашли его следов. В фургоне его не было, не было и поблизости; не отыскали мы его и у реки. Спрашивать о нем не решались: люди из нашего района так много о нас знали, что при встрече почти всегда делали сочувственные лица, словно мы несли на челе знак трагедии.

Неудачи не отпугнули моего брата, как и история про Абулу, услышанная на той неделе. Меня же она лишила всякого мужества, какое помогло мне присоединиться к предприятию Обембе. Безумца много дней не видели, он словно пропал из нашего района. И тогда мы начали спрашивать о нем у тех людей, которые нас не знали. Так постепенно добрались до крупной заправки у северной границы района. Перед находившимся неподалеку торговым центром стоял цветастый надувной человечек. Он постоянно кланялся, кренился и полоскал руками на ветру. На заправке мы встретили Нонсо, бывшего одноклассника Икенны. Он сидел на деревянном стульчике у обочины магистрали, а перед ним на мешках

из рафии были разложены газеты и журналы. Нонсо с хлопком пожал нам руки и сообщил, что в нашем районе он — главный продавец прессы.

— Вы что, не слыхали обо мне? — спросил он надтреснутым голосом, постоянно стреляя взглядом то на меня, то на Обембе. Ощущение было, что он под кайфом.

В ухе у него поблескивала серьга, а на голове — лощеный темный «ирокез». Нонсо слышал о гибели Икенны, о том, как его пырнул ножом в живот свой же «шкет». Боджу он всегда ненавидел.

— Но, — сказал Нонсо, — земля им пухом.

В этот момент мужчина, сидевший чуть в стороне и читавший выпуск «Гардиан», встал и, бросив газету на стол, дал Нонсо несколько монет. На передней полосе газеты я заметил фото убитой Кудират Абиолы, супруги победителя президентских выборов 1993 года. Нонсо жестом пригласил нас сесть на лавочку под матерчатым навесом — туда, где до этого сидел мужчина. Я вспомнил день, когда мы повстречали М.К.О.: Кудират стояла рядом с нами и даже взъерошила мне волосы — пальцы у нее были унизаны кольцами. Голосом, в котором сочетались властность и скромность, она попросила толпу отступить.

На фото же ее глаза были закрыты, а лицо — бесцветное, безжизненное.

— Ты ведь знаешь, что это — жена М.К.О.? — спросил Обембе, забирая у меня газету.

Я кивнул. Еще долго после нашей встречи с М.К.О. мне хотелось вновь увидеть эту женщину. Мне тогда казалось, что я влюблен в нее. Ее я первой представлял в роли жены. Прочие женщины были для меня просто женщинами, чьими-то матерями, девушками, но она — женой.

Обембе спросил у Нонсо, не встречал ли он в последнее время Абулу.

— Этого демона? — отозвался Нонсо. — Два дня назад, прямо здесь. Вот на этой самой дороге, у заправки, над трупом…

Он указал на грунтовку возле магистрали, соединявшейся с дорогой на Бенин.

— Каким еще трупом? — спросил мой брат.

Нонсо покачал головой и, сняв с плеча полотенце, утер им блестящую от пота шею.

— Вы разве не слыхали?

Абулу, сказал он, наткнулся на тело убитой молодой женщины рано утром — наверное, на рассвете. Учитывая, как медленно в Нигерии работает дорожная полиция, тело пролежало на месте довольно долго, и даже еще в середине дня

прохожие останавливались посмотреть на него. После полудня тело привлекало уже не так много внимания, но вот вокруг него собралась галдящая толпа. Нонсо хотел посмотреть, в чем дело, но зеваки загородили обзор.

Когда его любопытство достигло предела, Нонсо оставил газеты и перешел дорогу. Продравшись через толпу, он наконец увидел, из-за чего переполох; женщина лежала в той же позе, что и раньше: голова в ореоле запекшейся крови, так что волосы образовали неровную клейкую массу, руки раскинуты в стороны. На одном из пальцев у нее поблескивало кольцо. Правда, на сей раз женщина была голая, и Абулу двигался внутри нее на глазах у пораженной публики. Кто-то спорил: разумно ли позволять ему осквернять труп, тогда как другие отмахивались: женщина мертва, так что ничего страшного. Меньше всего было тех, кто призывал остановить безумца. Кончив, Абулу заснул в обнимку с покойницей и спал, словно рядом с женой, пока наконец полиция не забрала тело.

История до того потрясла нас с Обембе, что больше мы в тот день безумца не искали. Меня накрыло саваном страха, и было видно, что даже Обембе напуган. Он долго сидел в гостиной, в

молчании, пока не уснул, упершись затылком в спинку кресла. В страхе перед Абулу я желал, чтобы брат отступился от задуманного, но не мог сказать ему этого в лицо. Боялся, что он разозлится и даже возненавидит меня, но к концу недели вмешалось само провидение — как я понимаю это сейчас, когда ясно вижу события прошлого, — и попыталось уберечь нас от того, что должно было случиться. За завтраком отец сообщил, что его друг мистер Байо, переехавший в Канаду, когда мне было три года, прилетел в Лагос. Новость была как вспышка молнии. По словам отца, мистер Мистер Байо обещал забрать меня и брата в Канаду. Над столом будто граната разорвалась, и по всей комнате разлетелась шрапнель радости. Мать воскликнула: «Аллилуйя!» — и, вскочив со стула, принялась петь.

Я тоже исполнился безотчетного веселья, тело вдруг сделалось легким-легким. Но взглянув на брата, я увидел, что он никак не отреагировал: хмурый, как туча, он продолжал есть. Мне еще подумалось, что, может быть, Обембе не расслышал отца. Он согнулся над тарелкой, невозмутимо продолжая завтракать.

— А как же я? — со слезами на глазах спросил Дэвид.

— Ты? — со смехом переспросил отец. — И ты поедешь. Не останется же здесь такой большой человек! И ты поедешь. Вообще, ты первым на самолет сядешь.

Я все еще размышлял над тем, что происходит в голове у Обембе, когда он спросил:

— А как же школа?

— В Канаде школы получше, — ответил отец.

Кивнув, Обембе вернулся к еде. Меня поразило, как он равнодушно принимает самую, наверное, лучшую новость в жизни. Мы ели дальше, пока отец рассказывал о том, как Канада в короткий срок в своем развитии превзошла другие страны — включая Великобританию, в состав которой некогда входила. Потом отец перешел к Нигерии, к тому, как коррупция разъела ее изнутри, и наконец принялся, как обычно, поносить Говона[16], человека, которого мы с детства ненавидели, которого отец постоянно винил в бомбежках нашей деревни, — человека, погубившего очень много женщин во время Нигерийской гражданской войны.

— Этот идиот, — резко произнес отец (при этом его кадык ходил ходуном, а на шее выступили

[16] Примечания: 16

Генерал Якубу Говон (р. 1934), с 1966 года нигерийский диктатор, был свергнут в результате переворота в 1975 году.

тугие жилы), — главный враг Нигерии.

Когда отец отправился в книжный, а мать ушла, забрав Дэвида и Нкем, я подошел к брату. Обембе в это время таскал воду из колодца в ванную. Прежде это тяжелое занятие доверяли исключительно Икенне и Боджe, потому как мы с Обембе были слишком малы, чтобы пользоваться колодцем. С самого августа им не пользовались.

— Если мы и правда скоро уезжаем в Канаду, — сказал Обембе, — то надо убить безумца как можно быстрее. Надо срочно отыскать его.

Прежде я испытал бы воодушевление, однако в этот раз хотелось просить брата забыть о безумце и готовиться к новой жизни в Канаде. Но я не мог. Вместо этого я сам не заметил, как произнес:

— Да, да, Обе… надо.

— Мы должны поскорей убить его.

Хорошие, казалось бы, новости так встревожили Обембе, что он даже пропустил ужин. Он рисовал, стирал и рвал бумагу — в нем бушевал огонь. Наконец от карандаша остался огрызок длиной в палец, а стол был завален клочками бумаги. Тогда, у колодца, вскоре после того, как родители ушли на работу, Обембе сказал мне, что действовать надо быстро. Сказал яростно, указывая на колодец: «Боджа, наш брат, гнил

тут, как… как какая-нибудь ящерица. И все из-за этого психа. Мы или отомстим, или не поеду я ни в какую Канаду».

В подтверждение своей клятвы — чтобы я не думал, что это просто слова, — брат облизнул большой палец. Он был полон решимости. Подняв с земли полные ведра, Обембе отправился в дом, а я остался у колодца, размышляя, как всегда после беседы с ним, правда ли я тоскую по Икенне и Бодже так же, как и брат. Но, к своему утешению, я понял, что мне их, конечно, не хватает и я просто боюсь Абулу. Не мог я и убить. Это ведь грех, да к тому же какое право я, ребенок, имел так поступать? Однако Обембе со всей доступной силой убеждения заверил, что доведет план до конца. Он был уверен в успехе, ведь его страсть обернулась неуязвимой пиявкой.

14. Левиафан

Однако Абулу был левиафаном.

Бессмертным китом, убить которого не под силу и отряду бесстрашных моряков. Абулу не мог умереть, как обычный человек из плоти и крови. Хоть он и не отличался от людей своего сорта — безумный бродяга, погрязший, по причине умственного расстройства, на самом дне, в лишениях, и потому стоящий на грани чрезвычайных опасностей, — но смерть часто подходила к нему ближе, чем к кому-либо из них. Мы очень хорошо знали, что питается он главным образом отбросами — тем, что найдет на свалках. Бездомный, Абулу ел что попало: ошметки мяса, разбросанные возле открытых боен, объедки с помоек, упавшие с деревьев фрукты. При такой диете обычный человек давно подхватил бы какую-нибудь заразу, но Абулу жил, здоровый и крепкий, и даже обзавелся пузом. Когда он прошелся по битому стеклу и истек кровью, все решили: ему конец — но спустя несколько дней он снова объявился в городе. Это лишь отдельные примеры того, как он избегал неминуемой гибели, а всего

таких историй имелось множество.

На следующий после встречи с Абулу день, когда мы в очередной раз пришли на речку, Соломон объяснил, почему так упорно просил не слушать пророчество. Он верил, будто Абулу — воплощение злого духа. В доказательство он рассказал об одном случае, свидетелем которому стал много месяцев тому назад. Абулу шел вдоль дороги и вдруг остановился. Моросил дождь, и безумец весь промок. Встав лицом к проезжей части, он окликнул свою мать — она, очевидно, примерещилась ему посреди дороги, — и стал молить о прощении за все. Потом заметил летящую в их сторону машину и, испугавшись, велел матери убираться с дороги. Призрак, похоже, стоял на месте и не думал уходить, и в тот момент, когда — как казалось Абулу — машина должна была сбить его мать, он выскочил на дорогу, чтобы ее спасти. Его отбросило на травянистую обочину, а сама машина съехала в близлежащие кусты. Абулу, которому полагалось умереть на месте, полежал неподвижно некоторое время, затем с трудом поднялся на ноги: весь в крови, с дырой во лбу. Отряхнул мокрую одежду, будто машина лишь обдала его облаком пыли. Хромая, двинулся прочь, то и дело оборачиваясь в ту сторону, куда

поехала машина, и бормоча: «Убить кого вздумал, э? Видишь — женщина на дороге, трудно остановиться? Человека убить хочешь?» Так он и шел: хромая и бормоча себе под нос. Порой он оборачивался и, держась за мочку уха, напоминал водителю ехать в следующий раз помедленней: «Слышишь меня, слышишь?»

На следующий день после новости о скором переезде в Канаду Обембе подошел ко мне и сунул в руки рисунок. Я сел и стал изучать новую схему, а брат тем временем принялся пояснять.

— Можно убить его с помощью «Ота-пиа-пиа». Купим банку и отравим хлеб или еще что, а потом дадим безумцу. Все равно жрет что попало и где попало.

— Да, — согласился я, — даже помои из канав выгребает.

— Верно, — кивнул Обембе. — А ты не думал, почему он до сих пор не умер? Он же на помойках ест, всякий мусор. Как он не сдох еще?

Обембе ждал ответа, но я ничего не сказал.

— Помнишь, Соломон рассказывал, почему по-настоящему боится Абулу и не желает с ним связываться?

Я кивнул.

— Ну, вот видишь. Мы, конечно, не должны

сдаваться, но и забывать нельзя: этот человек — необычен. Глупцы, — так он теперь называл жителей Акуре, позволявших Абулу оставаться живым, — верят даже, что он — сверхъестественное существо, которое просто так не убьешь. Представляешь, они верят в такую глупость, будто годы жизни за пределами разума изменили природу Абулу и отныне он не простой смертный.

— Это правда? — спросил я.

— Скормим Абулу отравленный хлеб, и все решат, что он просто съел что-нибудь не то на помойке. — Я не стал спрашивать, откуда Обембе это известно, ведь он был для меня хранителем тайного знания и я верил ему безоговорочно. Через некоторое время мы вышли из дома. Карманы на шортах моего брата топорщились, набитые кусками обваленного в крысином яде хлеба. Его Обембе раздобыл еще предыдущим днем — отрезал от своей доли за завтраком. Брат при мне достал засохшие куски хлеба и еще немного сдобрил их отравой, наполнив комнату специфическим запахом. Затем сказал, что «на миссию» отправляться нужно немедленно, а после все будет конечно. Вооружившись отравой, мы отправились к фургону Абулу, но на месте

его не застали. Двери у машины, если верить слухам, закрывались, однако стояли почти всегда распахнутые настежь. В салоне еще держались потрепанные сиденья, прохудившиеся до самого деревянного остова: их плоть — кожаная обшивка — порвалась и стерлась. Ржавая крыша в дождь протекала. На сиденьях лежал всякий хлам, например, старые синие шторы — они свисали до самого пола; старая керосиновая лампа без колпака; палка, бумаги; порванные туфли; жестяные банки и много всего прочего, добытого на свалках.

— Должно быть, еще рано, — сказал брат. — Вернемся домой и придем после обеда. Может, тогда застанем его.

Мы отправились домой, а после того как мать прибежала на обед, сварила нам ямс и снова ушла в магазин, вернулись к фургону. Безумец оказался на месте, но мы увидели то, к чему никак не были готовы. Абулу склонился над глиняным горшком, стоящим на двух крупных камнях, и выливал в него воду из бутылки. Между камнями на земле были сложены щепки — очевидно, предполагался костер, — но огонь не горел. Опустошив бутылку, безумец взял баночку из-под какого-то напитка, перевернул ее над горшком и принялся

тщательно выскребать содержимое — что это было, мы не видели. Он то и дело, сощурившись, заглядывал внутрь баночки и скреб дальше, пока с довольным видом не поставил ее аккуратно на низенькую табуретку, на которой находилось еще много чего. Затем он метнулся в фургон и вышел, держа в руках пучок каких-то листьев, кости, некий шарообразный предмет, а также белый порошок — должно быть, соль или сахар. Сложив все это в котелок, он рывком отпрянул, словно перед ним было горячее масло и в этот момент оно брызнуло вверх. Я с изумлением понял, что безумец готовит — или, вернее, воображает, что готовит, — некую мешанину из отходов. На время мы позабыли о нашей цели. Не веря собственным глазам, мы просто наблюдали за этим кухарством, пока к нам не присоединились двое прохожих.

На них были дешевые рубашки, заправленные в брюки из мягкой ткани. На одном мужчине брюки были черные, на другом — зеленые. В руках незнакомцы сжимали книги в твердом переплете, и мы сразу догадались, что это Библии. Должно быть, мужчины шли из церкви.

— Надо бы за него помолиться, — предложил один, с очень темной кожей и лысиной на пол-

головы.

— Мы постились и молились три недели, — сказал второй, — прося Бога о силе. По-моему, пора использовать ее.

Его приятель тупо кивнул, но не успел он ответить, как третий голос произнес:

— Нет, не пора.

Это сказал мой брат. Мужчины обернулись к нему.

— Этот человек, — продолжал Обембе, надев маску страха, — притворщик. Он не настоящий безумец. С головой у него все в порядке. Его все знают: он только строит из себя дурачка, обманом выпрашивая милостыню, пляшет у обочин, у магазинов и на рынках. Но он здоров. У него и дети есть. — Тут он глянул на меня, хотя по-прежнему обращался к мужчинам. — Это наш отец.

— Что? — воскликнул лысеющий.

— Да, — совершенно поразив меня, продолжал Обембе, — мы с Полом, — он указал на меня, — пришли сюда по велению матери. Она просила позвать отца домой, передать, что на сегодня довольно, но он отказался возвращаться.

Обембе стал делать умоляющие жесты, но безумец лишь озирался по сторонам в поисках какой-то пропавшей вещи и, казалось, вовсе его

не замечал.

— Невероятно, — произнес темнокожий. — Чего только не услышишь и не увидишь в этом мире… Человек притворяется сумасшедшим, чтобы заработать на жизнь? Невероятно.

Покачивая головами, мужчины пошли прочь, напоследок велев нам молиться за отца, чтобы Господь коснулся его и открыл ему глаза на его алчность.

— Бог все может, — сказал темнокожий, — если просить с верой.

Обембе согласился и поблагодарил незнакомцев. Когда они удалились на приличное расстояние, я спросил брата, что это такое было.

— Тс-с-с, — сказал он, ухмыляясь. — Послушай, я испугался, что у этих людей и правда есть сила. Мало ли: три недели постились! Ну и ну! Вдруг они наделены силой, как Рейнхард Боннке, Кумуйи или Бенни Хинн — помолятся и исцелят Абулу? Оно мне надо? Если Абулу выздоровеет, то перестанет бродить по улицам и, — бог его знает — может, даже вообще из города уйдет. Ты ведь понимаешь, что это значит? Абулу уйдет от наказания после всего, что сделал. Нет-нет, я этого не допущу, только через мой тру…

Тут он осекся, увидев остановившихся по-

смотреть на безумца мужчину с женой и сыном примерно моего возраста. Абулу хихикал. А Обембе приуныл: нам снова мешали и безумец мог тем временем куда-нибудь убежать. В конце концов брат сделал вывод: это место — слишком людное, чтобы травить Абулу, и мы отправились домой.

* * *

На следующий день мы снова пришли к фургону, но Абулу на месте не оказалось. Мы отыскали его лежащим возле небольшой начальной школы, огороженной высоким забором. До нас долетали детские голоса: это школьники стройным хором декламировали стихотворения. Время от времени учительница прерывала их и просила похлопать друг дружке. Безумец вскоре поднялся с земли и принялся величаво расхаживать, заложив руки за спину — ни дать ни взять гендиректор какой-нибудь нефтяной компании. Недалеко от него валялся зонтик: оторвавшиеся от матерчатого купола спицы ребрами торчали в стороны. Неотрывно глядя на кольцо у себя на пальце, Абулу отбивал шаг и бубнил себе под нос: «В жены… отныне супруги… любовь… сочетаются браком… прекрасное кольцо… отныне супруги… ты… отец… сочетаются браком».

Когда безумец, продолжая невнятно бормотать, скрылся из виду, Обембе объяснил мне, что он изображает христианский свадебный обряд. Мы медленно, держась на почтительном расстоянии, последовали за ним. Миновали то место, где в 1993-м Икенна вытащил из салона машины мертвеца. Я прикидывал, насколько гибельна приготовленная нами отрава, и страх во мне разгорелся с новой силой. Стало жаль безумца, живущего, как бродячий пес, и питающегося чем придется. Абулу часто останавливался, оборачивался и принимал позу, словно модель на подиуме, вытягивая руку с кольцом. На этой улице мы еще ни разу не бывали. Абулу направился к бунгало, где на веранде две женщины заплетали косы третьей, сидевшей на стуле. Безумца криками и камнями погнали прочь.

Еще долго после того, как женщины вернулись на веранду — а они кричали ему, такому поганому, вслед, чтобы убирался, — он бежал, то и дело оборачиваясь. С его лица при этом не сходила похотливая ухмылка. Вскоре выяснилось, что по грунтовке, по которой мы шли, машины почти не ездили, потому что она упиралась в деревянный мост: длиной почти в две сотни метров, он тянулся над рекой Оми-Ала. Ребятня превратила

дорогу длиной всего в несколько метров в игровую площадку: с обоих концов поставили по паре крупных камней, обозначив футбольные ворота. Поднимая пыль, ребята с криками гоняли мяч. Абулу следил за детворой с улыбкой. Затем, взяв в руки невидимый мяч, примерился к нему и с силой ударил. Чуть не упав при этом, он вскинул руки и заорал: «Го-о-о-ол! Это — го-о-о-о-ол!»

Подойдя поближе, мы заметили среди играющих Игбафе и его брата. А едва ступив на мост, я вспомнил сон, приснившийся мне в ту пору, когда Икенна еще только претерпевал метаморфозу. Знакомый запах реки, пестрые рыбки — каких мы удили, — мельтешащие у берегов, пение невидимых глазу лягушек и стрекот сверчков, и даже тухлая вонь Оми-Алы, — все это напомнило о тех днях, когда мы рыбачили. Я стал пристально следить за рыбешками, потому что давно не видел, как они плавают. Некогда я даже мечтал стать рыбой — и чтобы все мои братья тоже были рыбами. И чтобы мы целыми днями только и делали, что плавали и плавали.

Как мы и думали, Абулу, глядя на горизонт, направился к мосту. Наконец он ступил на деревянные планки, и мы — со своего конца — ощутили, как мост качнулся под его весом.

— Как только скормим ему хлеб, сразу бежим, — сказал брат, ожидая приближения безумца. — Он может свалиться в воду и умереть там. Никто ничего и не увидит.

Я хоть и боялся, но все же кивнул. Оказавшись на мосту, Абулу сразу же подошел к оградке и, взявшись за нее, стал мочиться в воду. Мы следили за ним, пока он не закончил и его член, роняя последние капли на планки моста, не обвис эластичным шнурком. Обембе огляделся, убедился, что никто его не видит, и, достав отравленный хлеб, направился к безумцу.

Когда Абулу оказался близко, я, уверенный, что безумец вскоре умрет, принялся его разглядывать. Он напоминал силача из древности, когда люди способны были голыми руками порвать все, что под руку попадется. На щеках и подбородке у него росла курчавая борода, а угольно-черные усы словно были нарисованы изящными движениями кисти. Длинные грязные волосы свалялись. Густая растительность покрывала также большую часть груди, ягодицы и лобок. Под длинные и жесткие ногти набился толстый слой грязи.

Абулу окружал ореол сразу нескольких запахов, но среди них выделялась вонь фекалий. Стоило приблизиться к безумцу, и она накрыла меня,

словно рой мух. Должно быть, подумал я тогда, это оттого, что Абулу с давних пор не подмывался. Еще от него воняло потом, что скапливался в волосах под мышками и на лобке. Несло от него и тухлой едой, незалеченными ранами и гноем, жидкостями тела. Ржавым металлом, разложением, старыми тряпками, чужим выброшенным нижним бельем, которое Абулу порой натягивал. Еще от него пахло листьями, ползучими растениями, гнилыми манго с берега Оми-Алы, речным песком и даже самой водой. От него исходил запах банановых деревьев и гуавы, пыли, принесенной гарматаном, одежды, которую портной выбрасывает в большую корзину позади своей лавки, мясных отходов с бойни, объедков, которыми питаются стервятники, использованных презервативов из отеля «Ля Рум», сточных вод и грязи, спермы, которой он орошал себя, когда мастурбировал, вагинальных выделений, засохшей слизью. Впрочем, и это было не все: от Абулу пахло чем-то нематериальным. Сломанными жизнями, безмолвием в душах его жертв. От него пахло неизведанным, чем-то страшным и забытым. От него пахло смертью.

Обембе протянул безумцу хлеб, и тот, подойдя, взял его. Он, похоже, не вспомнил нас, будто и не

пророчествовал нам.

— Еда! — сказал Абулу, высунув язык, и разразился потоком слов: — Съесть, рис, бобы, съесть, хлеб, съесть, это, манна, маис, эба, ямс, яйцо, съесть. — Впечатав кулак в раскрытую ладонь, он продолжал ритмичный напев, который пробудило слово «еда». — Еда, еда, ajankro ba, еда-а-а-а! Съесть это. — Он развел руки, обнимая невидимый горшок. — Съесть, еда, съесть, съесть…

— Это добрая пища, — запинаясь, произнес Обембе. — Хлеб, ешь, ешь, Абулу.

Абулу так ловко закатил глаза, что посрамил бы лучших закатывальщиков глаз. Приняв от Обембе кусок хлеба, он хихикнул, потом зевнул, словно ставя некий знак препинания в предложении на своем языке. Когда безумец забрал хлеб, Обембе выразительно посмотрел на меня, и мы попятились. Оказавшись на безопасном расстоянии, мы дали деру и побежали по другой улице. Вдали дико гудела автомобильная дорога, пересекающая участок грунтовки.

— Не будем уходить слишком далеко, — задыхаясь и держась за мое плечо, произнес брат.

— Да, — пролепетал я, пытаясь отдышаться.

— Скоро он упадет, — проурчал Обембе. Взгляд его напоминал горизонт, на котором взошла одна

яркая звезда радости, тогда как мой наполнился быстрыми водами душераздирающей жалости. В тот момент я вспомнил рассказ матери о том, как Абулу сосал коровье вымя, и мне подумалось: ведь это лишения и нищета толкнули безумца на столь отчаянный поступок. В нашем холодильнике всегда стояли банки молока: «Коубелл», «Пик», — с коровами на этикетках. Абулу же ничего из этого позволить себе не мог. У него не было ни денег, ни одежды, ни родителей, ни дома. Он был как голуби из песни, которую мы пели в воскресной школе: «Взгляни на голубей, у них одежды нет». И нет садов у них, но с ними сам Господь. Абулу напоминал этих самых голубей, и мне стало жаль его, как это бывало не раз.

— Он скоро умрет, — сказал брат, вырывая меня из задумчивости.

Мы остановились у ларька, в котором женщина продавала разную мелочь. Витрина была забрана решеткой, и через окошко в ней торговка общалась с клиентами. С решетки свисали коробки с напитками и сухим молоком, пакеты печенья, сладостей и прочих продуктов. Я представлял, как Абулу падает на мост и умирает. Мы успели заметить, как он взял отравленный хлеб в рот и как задвигались его челюсти. И вот теперь увиде-

ли, что он, по-прежнему держась за ограду, стоит и смотрит на реку. Мимо него прошло несколько человек — один даже обернулся. Сердце у меня чуть не встало.

— Он умирает, — шепнул брат. — Смотри: дергается, наверное, поэтому на него оборачиваются. Говорят, судороги — первый знак, что отрава подействовала.

Словно подтверждая наши подозрения, Абулу согнулся и что-то выплюнул. Я еще подумал: Обембе прав. Мы много раз видели в кино, как отравленные люди кашляют, исходят пеной, а потом падают и умирают.

— Получилось, получилось! — вскричал брат. — Мы отомстили за Ике и Боджу. Я же говорил, что у нас все получится. Я же говорил.

Обрадовавшись, Обембе принялся рассуждать о том, что теперь мы заживем спокойно и что безумец больше не станет никому докучать… Но замолчал, увидев, как Абулу, приплясывая и хлопая в ладоши, идет в нашу сторону. Чудо шло к нам, танцуя и напевая торжественные песни о Спасителе, ладони которому пробили гвоздями и который однажды вернется. Пение Абулу окрасило вечерние сумерки в мистические тона, и мы пошли следом за ним. Поражаясь

его живучести, мы шли мимо длинной дороги, мимо закрывающихся на ночь магазинов, пока лишившийся дара речи Обембе не остановился и не развернулся в сторону нашего дома. Он, как и я, теперь понял разницу между невредимым пальцем, опущенным в лужу крови, и пальцем, из раны на котором хлещет кровь. Понял, что ядом Абулу не взять.

* * *

Пиявка, что присосалась к нам с братом, не давала горю, словно крови, свернуться, не позволяла ране зажить, зато родители наши исцелились. Мать ближе к концу декабря сбросила траурные одежды и вернулась к нормальной жизни. Она больше не взрывалась на ровном месте и не погружалась внезапно в пучину печали, да и пауки как будто повывелись. А раз мать поправилась, пришло время для поминальной службы с Икенной и Боджей — которую раньше устроить не получалось. Много недель мы откладывали обряд из-за болезни матери, и вот теперь его назначили на субботу, через пять дней после нашего с Обембе неудачного покушения на Абулу. В то утро мы все, одетые в черное — даже Дэвид и Нкем, погрузились в машину. Накануне мистер Боде по-

чинил ее. Вообще, трагедия сблизила с ним нашу семью: он теперь часто заходил в гости, а один раз даже привел невесту, девушку, у которой из-за выпирающих зубов почти не закрывался рот. Отец теперь называл мистера Боде не иначе как братом.

Служба состояла из прощальных песен, краткой «истории мальчиков» в пересказе отца и небольшой проповеди от пастора Коллинза. Наш пастор за пару дней до этого попал в аварию на мототакси и пришел с повязкой на голове. В зале я увидел много знакомых лиц: соседи по району, большинство из которых посещали другие церкви. В своей речи отец назвал Икенну великим человеком — при этом Обембе устремил на меня пристальный взгляд, — таким, который, если бы не смерть, повел бы за собой людей.

— Если коротко, то Икенна был прекрасным ребенком, — говорил отец. — Ребенком, который успел познать немало невзгод. Дьявол пытался забрать его, но Господь не дал. В шесть лет от удара одно яичко у него оказалось в животе… — В этом месте отца прервал пронесшийся по залу вдох ужаса.

— Да, в Йоле, — продолжал отец. — А всего через несколько лет его ужалил скорпион. Не стану

утомлять вас деталями, но, прошу, знайте: Бог не оставил Икенну. Его брат Боджа… — Тут на собрание опустилась небывалая тишина. Ибо, стоя на возвышении, перед церковью, отец — наш папа, человек, все повидавший, отважный, сильный, генералиссимус, командир телесных наказаний, интеллектуал, орел, — заплакал. Меня охватил стыд при виде отца, рыдающего на глазах у всех, и я упер взгляд в собственные туфли. Отец тем временем вновь заговорил, хотя на сей раз его слово — точно перегруженный лесоматериалами грузовик на запруженной дороге в Лагосе — вихляло по ухабистой грунтовке трогательной речи, с остановками, рывками и задержками.

— Он тоже мог бы стать великим. Он… был одаренным мальчиком. Если бы вы знали его… он… был хорошим сыном. Спасибо, что пришли.

Отец поспешно закончил речь. Ему долго хлопали, а потом начали петь гимны. Мать все время тихонько плакала, промокая глаза платочком. И пока я тоже плакал по усопшим братьям, горе медленно вонзало мне в сердце маленький ножик.

Люди пели «Течет ли жизнь мирно», и вдруг я заметил необычное оживление: гости стали оборачиваться и стрелять взглядами в сторону

дверей. Я оборачиваться не хотел — рядом со мной и Обембе сидел отец, — но пока я гадал, в чем дело, ко мне наклонился Обембе и шепнул: «Абулу пришел».

Я тут же обернулся и увидел безумца — он стоял среди людей в грязной коричневой рубашке с большим пятном пота. Отец зыркнул на меня, взглядом веля не отвлекаться. Абулу часто наведывался в церковь. Первый раз он заявился посреди проповеди: прошел мимо привратников и сел на скамью в женском ряду. Прихожане сообразили, что что-то неладно, однако пастор продолжал читать проповедь. Привратники — юноши — пристально следили за Абулу. Правда, он держался неожиданно спокойно и, когда пришло время заключительной молитвы и гимна, исполнил и то, и другое вместе со всеми — словно его подменили. После он тихо и мирно двинулся к выходу, оставляя позади себя взбудораженных прихожан. Потом он еще несколько раз посещал службу, почти всегда занимая место среди женщин и порождая горячие споры между теми, кто полагал, что голому не место в церкви — ведь там дети и женщины, — и теми, кто верил, что в доме Господнем одинаково рады как голым, так и одетым, как бедным, так и богатым, как

здравомыслящим, так и безумцам, и вообще Богу неважно, кто ты. В конце концов духовенство решило запретить Абулу присутствовать на службах, и с тех пор привратники гоняли его палками.

Однако в день, когда прощались с моими братьями, он застал всех врасплох. Проскользнул внутрь, пока никто не видел, а когда его заметили, уже смешался с толпой. Служба была не обычная, требовала особой деликатности, и ему позволили остаться. Позднее, когда церковь закрылась и безумец ушел, женщина, рядом с которой он сидел, рассказала, что Абулу во время службы плакал. Он спросил ее, знала ли она погибшего мальчика, и признался, что сам его знал. Женщина, мотая головой — словно увидела призрака средь бела дня, говорила: «Абулу постоянно упоминал имя Икенны».

Не знаю, что подумали родители, когда Абулу заявился на прощание с их сыновьями, в смерти которых сам же и был повинен, но когда мы собрались домой, всех нас охватило мрачное молчание, а значит, родителей его появление потрясло. Всю дорогу никто не произнес ни слова. Только Дэвид, зачарованный одной из спетых во время службы песен, мычал ее себе под нос и пытался напевать.

Был почти полдень, и большая часть церквей в нашем преимущественно христианском городе уже закрылась, улицы наводнил транспорт. Мы с трудом продирались через заторы на дороге, а душевное пение Дэвида — чудесное сочетание коверканных и оборванных слов, перевернутых и задушенных смыслов — действовало на нас как успокаивающее, да так, что тишина сделалась ощутимо плотной, как будто с нами ехали еще два человека — те, кого нельзя было увидеть, — и они тоже проникались покоем.

Теёти зизь мо боно ике
Исюсь и а озых ланах
Вофяое емя лизи а леке
Ы а мой,
Аспой,
Тох а поюсь каах[17].

Вскоре после того как мы вернулись домой, отец вышел и до конца дня не возвращался. Время перевалило за полночь, и беспокойство матери

---

[17] Примечания: 17

Течет ли жизнь мирно подобно реке, Несусь ли на грозных волнах, Во всякое время, вблизи, вдалеке… Ты со мной, Да, Господь, В Твоих я покоюсь руках.

Известный христианский гимн Горацио Спаффорда и Филиппа Блисса (переводчик неизвестен).

достигло необычайных пределов. Она металась по дому, как обезумевшая кошка, затем побежала к соседям, крича, что муж пропал. Ее страх был так велик, что вскоре у нас дома собралось прилично народу: они просили проявить терпение, подождать немного — хотя бы до утра, — прежде чем идти в полицию. Советов мать послушала, но к тому времени, как отец вернулся, она чуть с ума не сошла от тревоги. В это время все дети, кроме меня, — даже Обембе, — спали. Мать умоляла рассказать, где он пропадал и откуда у него на глазу повязка, но отец ничего не ответил. Сразу прошел, еле волоча ноги, в спальню. А наутро, на расспросы Обембе просто сказал: «Операция по поводу катаракты. Все, не спрашивай».

Я сглотнул скопившуюся в горле слюну и постарался сдержать рвущийся наружу поток вопросов.

— Ты ничего не видел? — спросил я немного погодя.

— Я сказал. Хватит. Вопросов! — пролаял отец.

Однако уже судя по тому, что ни он, ни мать на работу не вышли, я понял: с отцом что-то не так. Трагедии и труд изменили его бесповоротно. И даже когда повязку сняли, этот глаз уже никогда не закрывался до конца.

На той неделе мы с Обембе уже не охотились на Абулу, потому что отец не выходил дома: слушал радио, смотрел телевизор, читал. Брат постоянно клял болезнь, «катаракту», из-за которой отец все время торчит дома. Как-то раз, когда отец смотрел вечерний выпуск новостей — программу вел Сирил Стобер, Обембе спросил его, когда же мы отправимся в Канаду.

— В начале следующего года, — флегматично ответил отец.

По телевизору показывали пожар, сущий ад и безумие; на обгоревшем поле лежали почерневшие, обугленные тела. Обембе хотел еще что-то спросить, но отец вскинул растопыренную пятерню. Голос диктора произнес:

— По причине злостного саботажа дневная добыча страны снизилась на пятнадцать тысяч баррелей в день. Правительство генерала Сани Абачи просит граждан проявлять осторожность и заявляет, что возвращение очередей на заправках — это лишь временное явление. Злоумышленники непременно понесут заслуженное наказание.

Мы терпеливо ждали окончания блока новостей, и вот на экране появился мужчина, методично чистящий зубы.

— В январе? — поспешил спросить брат.

— Я сказал: в начале следующего года, — проворчал отец, опуская глаза (одно веко опустилось лишь до середины). Мне стало интересно, что же на самом деле случилось у отца с глазом. Я как-то подслушал родительский спор: мать обвиняла отца во *лжи*, говорила, что у него не было никакой «катаракты». Наверное, ему попало в глаз какое-то насекомое, решил я. Мне было тяжко оттого, что я не мог докопаться до истины — вот Икенна или Боджа, будь они живы, употребили бы в дело свою совершенную мудрость и нашли бы ответ.

— В начале следующего года, — пробормотал Обембе, когда мы вернулись к себе в комнату. Затем его голос упал, как уставший верблюд, и он повторил: — В начале. Следующего. Года.

— Это, наверное, в январе? — предположил я, радуясь про себя.

— Да, в январе, и значит, у нас мало времени… У нас его вообще не остается. Очень мало времени. — Он покачал головой. — Не видать нам счастья ни в Канаде, ни еще где, если безумец и дальше будет разгуливать на свободе.

Я очень боялся вызвать гнев брата, но не мог не напомнить:

— Мы ведь уже попытались. Он не умирает. Ты

сам сказал: он — словно кит…

— Ложь! — вскричал Обембе, а из покрасневшего глаза у него по щеке скатилась слезинка. — Он — лишь человек и тоже может умереть. Мы совершили всего одну попытку. Всего одну — ради Ике и Боджи, но я клянусь: мы отомстим за них.

В этот момент нас позвал отец — велел помыть машину.

— Я сам все сделаю, — снова перешел на шепот брат.

Он вытер глаза платочком.

Вооружившись полотенцем и ведром с водой, Обембе помыл машину, а после сообщил, что нам следует попробовать план «Нож». Вот как мы должны были поступить: выбравшись посреди ночи из дома, прокрасться в фургон к Абулу, зарезать его и убежать. Описанный план действий напугал меня, но мой брат, этот маленький скорбящий мужчина, запер дверь и закурил — впервые за долгое время. Электричество в доме было, однако он погасил свет, чтобы родители думали, будто мы спим. Ночь выдалась холодная, и все же Обембе распахнул окно. Затем, докурив, обернулся ко мне и прошептал:

— Это надо сделать сегодня.

Сердце у меня чуть не остановилось. Где-то по

соседству звучала знакомая мелодия рождественского гимна. До меня вдруг дошло: сегодня же 23 декабря, а значит, завтра — сочельник. По сравнению с предыдущими годами Рождество выдалось поразительно блеклое и скучное. По утрам, как всегда, было туманно, и когда дымка рассеялась, в воздухе остались оседающие тучи пыли. Обычно люди украшали дома, слушая целыми днями по радио и телевизору рождественские песни. Статую Мадонны у ворот кафедрального собора — новую, воздвигнутую взамен старой, осквернённой Абулу, — порой обвешивали яркими сверкающими гирляндами, превращая ее в главное украшение святок в районе. Лица людей озарялись улыбками, пусть даже цены на самые ходовые товары — в основном на живых кур, индеек, рис и все, из чего готовили блюда на Рождество, — взлетали до небес. Но ничего этого не было — по крайней мере у нас дома: ни украшений, ни подготовки. Естественный порядок вещей был словно разрушен напавшим на нас чудовищным термитом горя. От нашей семьи осталась лишь тень.

— Этой ночью, — немного погодя сказал брат, глядя на меня. Его лицо проглядывало во тьме силуэтом. — Я приготовил нож. Убедимся, что

мама с папой спят, и выскользнем через окно.

Затем, словно передавая мне слова сквозь размытое облако дыма, он спросил:

— Я иду один?

— Нет, я с тобой, — запинаясь, проговорил я.

— Хорошо.

Мне отчаянно хотелось заслужить любовь брата и не хотелось снова разочаровывать его, но я никак не мог заставить себя посреди ночи отправиться убивать безумца. По ночам в Акуре было опасно, и даже взрослые с наступлением темноты старались лишний раз не выходить на улицу. Где-то в конце прошлой четверти — еще до гибели Икенны и Боджи — нам на утренней линейке сообщили, что Иребами Оджо, мой одноклассник, живший на одной с нами улице, лишился отца: его убили грабители. Как же мой брат, еще ребенок, не боялся выйти из дома ночью? Разве он не знал, не слышал этих страшных рассказов? А безумец, этот демон, наверняка знал, что мы придем, и не собирался спокойно нас дожидаться. Я вообразил, как Абулу хватается за нож и сам убивает нас, и жутко испугался.

Я встал с кровати и сказал, что мне надо попить воды. Вышел в гостиную, где у телевизора все еще сидел отец, скрестив на груди руки. На кухне

я чашкой зачерпнул воды из бочонка и выпил. Потом присел в кресло рядом с отцом, лишь кивнувшим при виде меня, и спросил: все ли у него хорошо с глазом?

— Да, — ответил отец и снова отвернулся к телевизору. На экране спорили двое в костюмах, на фоне задника с надписью «Проблемы экономики». Я попытался придумать, как не ходить с братом к Абулу, и в голову пришла одна мысль. Я взял газету, лежавшую под боком у отца, и принялся читать. Отцу это нравилось, он поощрял в нас любые попытки обрести новые знания. Читая газету, я задавал разные вопросы, на которые отец давал односложные ответы, а мне требовалось разговорить его. И тогда я спросил о том дне, когда его дядя отправился на войну. Отец кивнул, однако он уже засыпал, постоянно зевая, и поэтому история вышла короткая.

И все же в деталях она не потеряла: мой двоюродный дед прятался в придорожной роще, готовя засаду на нигерийский военный конвой. Дед и его товарищи открыли шквальный огонь по солдатам, которые, не понимая, откуда летят пули, принялись в панике палить по лесу — и все впустую. Их перебили.

— Ни один, — подчеркнул отец, — живым не

ушел.

Я снова уткнулся в газету, молясь про себя, чтобы отец еще задержался в гостиной. Мы разговаривали уже с час, и время было почти десять. Я гадал, чем занимается брат и придет ли он за мной? Отец тем временем заснул, и я свернулся калачиком в кресле.

Прошло меньше часа, наверное, когда открылась дверь и в гостиной послышались шаги. Ко мне подкрались сзади и стали трясти: сперва осторожно, потом настойчиво — но я даже не пошевелился. Я постарался притворно засопеть, но только начал, как отец заерзал и Обембе поспешно спрятался за моим креслом. Потом он прокрался обратно в нашу комнату. Я выждал немного и открыл глаза. Отец спал, уронив голову набок и сложив руки вдоль бедер. На лицо ему через щелку в занавеси падал лучик желтоватого света — от соседской лампы, что часто светила нам из-за забора, — и создавал иллюзию маски из двух половинок, светлой и темной. Вид был поразительный. Я еще некоторое время следил за отцом, а после, убедившись, что брат ушел, попытался заснуть.

Наутро я рассказал Обембе, что пошел выпить воды, а когда возвращался, отец пристал с раз-

говорами, и я сам не заметил, как заснул. Брат ничего не ответил. Он сидел, опершись головой на руку, и смотрел на обложку книги, где были изображены корабль в море и скалы.

— Ты убил его? — спросил я, когда молчание затянулось.

— Этого придурка не оказалось на месте, — к моему удивлению, сказал Обембе. Я этого не ожидал, но было похоже, что брат купился на мой трюк. Я даже не думал, что у меня когда-либо получится его обмануть, но вот он стал рассказывать, как выбрался из дома, с ножом, один — не добудившись меня. Он медленно шел по улицам — совершенно пустым в такое время ночи, — к фургону безумца, но его там не оказалось! Обембе пришел в ярость.

Я лежал на кровати, отпустив разум в странствие по обширной территории прошлого. Вспомнил день, когда мы поймали много рыбы — так много, что Икенна даже жаловался на боль в спине. Мы тогда сидели у реки и пели нашу рыбацкую песню, словно некий гимн свободы, до хрипоты. Мы весь остаток вечера пропели при гаснущем свете солнца, что висело в уголке неба — бледное, точно сосок на груди девушки-подростка вдали.

* * *

Сломленный чередой неудач, Обембе на много дней замкнулся в некоем коконе. В Рождество, за обедом, он пялился в окно, в то время как отец рассказывал, что отправил своему другу деньги на наш переезд. Слово «Торонто» порхало над столом, точно фея, наполняя сердце матери большой радостью. Казалось, отец — у которого по-прежнему один глаз закрывался не полностью — упоминает его так часто специально ради нее. В канун Нового года, когда на улицах — невзирая на запрет военного губернатора, капитана Энтони Ониеаругбулема, — трещали петарды, мы с братом сидели грустные в своей комнате. В прошлом мы с братьями сами взрывали на улицах петарды, а порой, вооружившись хлопушками, играли с другими ребятами в войнушку. Но только не в этот раз.

По традиции в новый год следовало вступить, находясь в церкви, и вот мы погрузились в отцовскую машину и отправились в храм. Народу собралось так много, что некоторым не нашлось места внутри. Накануне Нового года в церковь являлись все, даже атеисты. Эта ночь проходила под знаком суеверий, страхом перед свирепым,

злобным духом месяцев «брь», который зубами и когтями сражался за то, чтобы люди не вошли в новый год. Мы верили, что в эти четыре месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь — регистрируется больше смертей, чем в остальные месяцы вместе взятые. Напуганные духом-жнецом, спешащим завершить жатву в последние минуты уходящего года, прихожане в тесной и душной толпе разразились гомоном в полночь, когда пастор объявил об официальном наступлении 1997 года. Воздух сотрясали крики: «С Новым годом, аллилуйя! С Новым годом, аллилуйя!», и люди бросались друг другу в объятия, даже совершенные незнакомцы, прыгали, свистели, пели и кричали. А снаружи над королевским дворцом сверкали безопасные огни: вспышки стробоскопов и искусственные молнии. Так всегда все и происходило, так жил мир, продолжая существование, несмотря ни на что.

Святочный дух не позволял мрачным мыслям задерживаться в умах, но они были точно занавеска на окне — днем ты отодвигаешь ее, чтобы впустить в комнату свет, но никуда она не девается, ждет терпеливо, когда наступит ночь и ты снова ее задернешь. Так было всегда. Мы вернулись домой, съели перечного супа и биск-

витов, выпили газировки — все как в прошлые годы. Отец включил видео с выступлением Раса Кимоно, и мы танцевали под его музыку.

Дэвид, Нкем и я пустились в пляс — и вместе с нами Обембе, который словно забыл о неудачах и вообще о нашей миссии. Он отплясывал под отрывистый ритм регги. Мать подбадривала нас: «Onye no chie, Onye no chie», глядя, как Обембе, мой верный брат, танцует при свете экрана. Как и многие люди в тот день, он искал временного облегчения, чтобы горе отправилось в землю, оставив его в этом балагане блаженства. А на рассвете, когда город погрузился в сон, на улицах воцарился покой, в небе стало тихо, церковь опустела, рыбы уснули в реке, бормочущий ветер ерошил мех ночи, отец заснул в большом кресле, а мать — у себя, вместе с малышами, мой брат вновь вышел за ворота. Занавеска вернулась на окно, скрывая его из виду. Рассвет адской метлой смел остатки праздника — принесенные им покой, облегчение и даже искреннюю любовь — словно конфетти, разбросанные на полу после гуляний.

15. Головастик

Надежда была головастиком.

Созданием, которое приносишь домой в баночке, но которое умирает, даже если держать его в речной воде. Сколько отец ни берег свою карту желаний, надежду, что его сыновья вырастут в великих людей, вскоре она умерла. Моя надежда, что мы с братьями никогда не расстанемся, наплодим детей и создадим собственный клан, сколько мы ее ни выхаживали еще в самом зародыше, тоже умерла. Так же умерла и наша надежда эмигрировать в Канаду — почти на самой грани ее исполнения.

Эта надежда пришла с Новым годом, принеся новый дух и покой, контрастирующий с печалью прошедшего года. Казалось, больше она в наш дом не вернется. Отец перекрасил машину в блестящий темно-синий цвет. Он часто, почти непрерывно, говорил о приезде мистера Байо и нашей скорой эмиграции в Канаду. Он снова стал называть нас ласковыми прозвищами: мать была Omalicha, прекрасная; Дэвид — Onye-Eze, король; Нкем — Nnem, его мать. Перед нашими с Обембе

именами он, словно звание, ставил эпитет «рыбак». Мать вернула себе свой нормальный вес, но моего брата эта перемена не тронула. Ничто его не радовало. Ни одна новость, даже самая важная. Его не впечатляла мысль, что мы впервые полетим на самолете и будем жить в городе, где по улицам можно кататься на велосипедах и скейтах — как дети мистера Байо. Когда отец впервые упомянул об этом, для меня это была большая новость: если сравнивать с животными, то это была корова или целый слон, тогда как для брата она имела размер муравья. Позже, когда мы вернулись к себе в комнату, он зажал этого муравьишку обещаний лучшего будущего в щепоти и вышвырнул в окно. Сказал:

— Я должен отмстить за наших братьев.

Однако отец был настроен решительно. Утром 5 января он разбудил нас — точно так же, как за год до этого, когда сообщил о командировке в Йолу, — и сказал, что едет в Лагос. Меня посетило ощущение дежавю. Кто-то говорил, что большинство вещей заканчиваются похоже — пусть и отдаленно — на то, как они начинались. Так же было и с нами.

— Я прямо сейчас отправляюсь в Лагос, — заявил отец. Он надел свои обычные очки, скрыв

глаза за стеклами, и старую рубашку с короткими рукавами и бэджиком Центрального банка Нигерии на кармане.

— Возьму ваши фотографии для загранпаспортов. К тому времени, как я вернусь, Байо уже прилетит в Лагос, и потом мы все вместе отправимся получать для вас канадские визы.

За два дня до этого нам с Обембе побрили головы, и мы пошли к «нашему фотографу» мистеру Литтлу, как мы его называли: он держал фотолавку «Литтл-бай-литтл». Он усадил нас на стулья с мягкой обивкой под яркой флуоресцентной лампой и тканевым навесом. Позади стульев на треть стены был натянут белый задник. Сверкнула ослепительная вспышка, мистер Литтл щелкнул пальцем и велел моему брату занять место на стуле.

Отец достал две пятидесятинайровые купюры, положил их на стол и одними губами произнес:

— Будьте осторожны.

Развернулся и ушел, совсем как в то утро, когда уезжал в Йолу.

После завтрака, состоявшего из кукурузных хлопьев и жареного картофеля, пока мы таскали воду из колодца в ванную, брат заявил, что пришла пора «последних попыток».

— Когда мама с малышами уйдут, мы отправимся на поиски Абулу, — сказал он.

— Куда? — спросил я.

— На реку, — не оборачиваясь, ответил Обембе. — Убьем его как рыбу, удочками с крючьями.

Я кивнул.

— Я уже два раза ходил за Абулу до самой реки. Он, похоже, каждый вечер туда наведывается.

— Правда?

— Да, — кивнул Обембе.

Первые несколько дней нового года он не обсуждал нашу миссию, но много думал и оставался замкнутым, часто исчезая из дома, особенно по вечерам. Потом возвращался и делал какие-то пометки в блокноте, что-то рисовал. Я никогда не спрашивал, где он пропадает, а он и не рассказывал.

— Я уже некоторое время слежу за ним. Он ходит на реку каждый вечер, — сказал Обембе. — Ходит туда почти каждый день и моется, наверное, а потом сидит под манговым деревом, под которым мы его тогда встретили. Если убьем Абулу там, — он осекся, словно в голове у него промелькнуло возражение, — никто ничего не выяснит.

— Когда пойдем? — пробормотал я, кивая.

— Абулу отправляется на реку на закате.

Позднее, когда мать с младшими детьми ушла и мы остались одни, Обембе указал под кровать:

— Там наши удочки.

И сам же вытащил их оттуда: две уснащенные колючками палки с серповидными крючками на концах. Лески были укорочены так сильно, что казалось, будто крючья приторочены к самим палкам, в которых уже нельзя было узнать удочки. Я понял, что в оружие их переделал Обембе, и эта мысль парализовала меня.

— Я принес их вчера после того, как проследил за Абулу, — сказал он. — Теперь я готов.

Должно быть, пропадая, Обембе и переделывал удочки. Меня же в это время переполнял страх, и я погружался в омут темных мыслей. Я, как обезумевший, искал брата по всему дому и двору, лихорадочно соображая, куда он мог подеваться, пока один раз в голову не пришла мысль, от которой никак не получалось избавиться. Я метнулся к колодцу и, тяжело дыша, попытался поднять крышку, но она, словно бы в знак протеста, сорвалась и громко ударила по кромке. Напуганная грохотом, с мандаринового дерева, громко крича, вспорхнула птица. Я дождался, пока осядет пыль раскрошенного бетона, взметнувшаяся от удара

крышкой, и открыл-таки колодец. Заглянул в него, но увидел только отражение светящего мне в затылок солнца, мелкий песок на дне и маленькое пластмассовое ведерко, наполовину ушедшее в глину. Притенив глаза ладонью, я присмотрелся лучше, пока не убедился, что брата внизу нет. Тогда, все еще тяжело дыша, снова закрыл колодец, раздосадованный собственным мрачным воображением.

При виде оружия миссия вдруг показалась более реальной и конкретной, словно мне только что все втолковали. И пока Обембе прятал удочки назад под кровать, я вспомнил все, что говорил утром отец. Вспомнил, что мы пойдем в другую школу — вместе с белыми людьми — и получим лучшее западное образование, о котором отец постоянно твердил, точно об осколке рая, неким образом ускользнувшем даже от него. Зато в Канаде этих осколков вдосталь, как листьев в лесу. Я хотел отправиться туда вместе с братом. Он все еще рассуждал о походе на реку, объясняя, где именно на берегу нам следует подкараулить Абулу, но тут я заорал:

— Нет, Обе!

Он пораженно уставился на меня.

— Нет, Обе, давай не будем этого делать. Послу-

шай, мы ведь в Канаду едем, будем жить там. — Я говорил, пользуясь его молчанием и ощущая прилив отваги. — Давай не будем этого делать. Давай уедем. Вырастем большими, как Чак Норрис или Шварценеггер, вернемся и пристрелим безумца, даже…

Обембе замотал головой. И тогда, лишь тогда, я увидел в его глазах слезы ярости.

— Что, что такое? — запинаясь, пробормотал я.

— Ты дурак! — прокричал Обембе. — Сам не понимаешь, что говоришь. Хочешь, чтобы мы бежали в Канаду? Где Икенна? Где, я спрашиваю, Боджа?

Прекрасные улицы Канады в моем воображении подернулись рябью.

— Ты не знаешь, — сказал брат, — зато знаю я. Хочешь — уезжай, без тебя обойдусь. Сам все сделаю.

Образы детей на велосипедах потускнели, и мне отчаянно захотелось угодить брату:

— Нет-нет, Обе. Я с тобой.

— Нет! — вскричал Обембе и вылетел вон.

Какое-то время я сидел неподвижно, но потом мне стало слишком страшно оставаться в комнате. Я боялся, что наши мертвые братья — как и предупреждал Обембе — узнают о моем нежела-

нии мстить за них, и вышел на веранду, сел там.

Брат пропал надолго — ушел неизвестно куда. Посидев еще немного на веранде, я отправился на задний двор, где на бельевой веревке висела одна из разноцветных маминых врапп. Я забрался на мандариновое дерево и, устроившись в его кроне, стал думать.

Когда Обембе наконец вернулся, то сразу же направился в нашу комнату. Я слез с дерева, прошел за ним и, встав на колени, принялся умолять взять меня с собой на миссию.

— Что, больше в Канаду не хочешь? — спросил он.

— Без тебя — нет.

Постояв немного на месте, он отошел в другой угол комнаты и произнес:

— Встань.

Я встал.

— Послушай, я тоже в Канаду хочу. Потому и тороплюсь выполнить миссию, а после уже начну собираться. Ты ведь знаешь, что отец уже поехал за визами?

Я кивнул.

— Послушай, если мы не завершим дело здесь, то счастливыми из Нигерии не уедем. Послушай, дай сказать, — произнес Обембе, подходя бли-

же. — Я старше тебя и знаю куда больше.

Я согласно кивнул.

— Поэтому я говорю тебе, послушай: если уедем в Канаду, не закончив дело, то на новом месте нам будет плохо. Не будет нам счастья. Разве ты не хочешь быть счастлив?

— Хочу.

— И я хочу.

— Тогда идем, — сказал я, убежденный его словами. — Я готов.

Обембе медлил:

— По правде готов?

— По правде.

Он пристально взглянул на меня.

— Точно по правде?

— Да, точно по правде, — сказал я, безостановочно кивая.

— Ну хорошо, тогда идем.

День уже клонился к вечеру, и кругом черными фресками лежали тени. Брат спрятал удочки снаружи, под окном, и накрыл их старой врапой, чтобы мать не заметила. Я подождал, пока он сходит за нашим оружием. Потом Обембе вручил мне фонарь.

— Это на случай, если придется ждать до темноты, — пробормотал он. — Сейчас — самое время.

Мы наверняка застанем безумца у реки.

* * *

И мы вышли в вечер, точно рыбаки, которыми некогда были, неся с собой завернутые во врапны удочки. Вид, открывшийся на горизонте, вызывал ощущение дежавю: румяное небо и красный шар солнца на нем. По пути к фургону Абулу я заметил, что рухнул уличный фонарь на деревянном столбе: светильник разбился вдребезги, и из него вывалились лампы, повиснув на проводах. Мы старались избегать мест, где нас могли узнать люди, знакомые с нашей историей: они всегда смотрели на нас с жалостью или даже с подозрением. Мы планировали устроить засаду на безумца на ведущей к реке тропинке, между зарослями крапивы.

Пока мы ждали, Обембе рассказал, как в один день застал у реки группу людей: те застыли в странных позах, словно молились некоему божеству. Оставалось надеяться, что сегодня их у реки не будет. Он все еще говорил, когда послышалось веселое пение Абулу. Безумец остановился напротив бунгало, где на веранде двое голых по пояс мужчин, сидя друг напротив друга на деревянной скамье, играли в лудо. Между ними лежала

прямоугольная стеклянная доска с фотографией белокожей модели. Мужчины кидали кости и двигали фишки по доске, стремясь к финишу. Абулу опустился на колени, что-то быстро бормоча и качая головой. Были сумерки, время, когда он обычно превращался в Абулу сверхъестественного, и глаза у него сделались уже не человеческие, но как у духа. Молился он с чувством, глубоко стеная. Мужчины же продолжали играть как ни в чем не бывало, словно Абулу не молился за них, словно одного из них не звали мистер Кингсли, а другого — именем йоруба, оканчивающимся на «ке». Я уловил конец пророчества:

— …когда ваш сын, мистер Кингсли, сказал, что готов пожертвовать родной дочерью ради денежного ритуала. Его застрелят вооруженные грабители, и кровь его замарает окно машины. Господь воинств, сеятель, говорит, что он…

Абулу еще продолжал свою речь, когда мужчина, названный мистером Кингсли, вскочил и в ярости бросился внутрь бунгало. Потом выбежал и, размахивая мачете и сыпля убийственными проклятиями, погнался за Абулу. Остановился он там, где дорожка с трудом пробивалась между кустами крапивы, и, возвращаясь, пообещал Абулу убить его, если тот еще раз приблизится к дому.

Мы тихонько покинули укрытие и последовали за Абулу к реке. Я плелся за братом, словно ребенок, ведомый на эшафот для порки, — боясь кнута, но не в силах свернуть. Обембе нес удочки, а я фонарь. Поначалу двигались мы медленно, чтобы не вызвать подозрений, но стоило зайти за Небесную церковь, скрывавшую реку от обзора с улицы, и мы прибавили шагу. Напротив церкви в луже собственной мочи лежал козленок, а на пороге валялась старая газета, принесенная, наверное, ветром: раскрывшись, она одним листом, как плакат, лепилась к двери.

— Подождем тут, — запыхавшись, сказал брат.

Мы почти подошли к концу тропинки, ведущей к реке. Я видел, что и Обембе боится, что грудь, из которой мы пили молоко отваги, опустела и сморщилась, как у старухи. Обембе сплюнул и затоптал слюну ногой в парусиновой туфле. Мы были уже совсем близко и слышали, как Абулу поет у реки и прихлопывает в ладоши.

— Он там, нападаем, — сказал я, и пульс у меня снова участился.

— Нет, — шепнул брат и покачал головой, — надо подождать немного, убедиться, что больше никого нет. Вот тогда и убьем его.

— Темнеет же.

— Не волнуйся. — Обембе огляделся по сторонам. — Убедимся только, что мужиков поблизости нет. Тех двоих.

Голос у него слегка надломился, как будто он до этого плакал. Я вообразил, как мы преображаемся в кровожадных человечков с его рисунков — бесстрашных, способных прикончить безумца, — но испугался, что мне не дано быть столь же храбрым, как те воображаемые мальчишки, убивающие Абулу камнями, ножами и удочками с крючьями. Я все еще предавался этим мыслям, когда брат развернул удочки и дал одну мне. Они были очень длинные, выше нас, как копья древних воинов. Со стороны реки по-прежнему доносились плеск, пение и хлопки, и тогда брат обернулся ко мне. В его взгляде я прочел вопрос: «Готов?» Команды к действию я ждал с замирающим сердцем.

— Ты боишься, Бен? — спросил Обембе и бросил врапну в кусты. — Скажи, тебе страшно?

— Да, страшно.

— Почему? Мы вот-вот отомстим за братьев, за Икенну и Боджу. — Он утер лоб, упер свою удочку в травянистую землю и положил руку мне на плечо.

Потом подошел ближе и, не выпуская из руки

удочку, обнял меня.

— Слушай, не надо бояться, — прошептал он мне на ухо. — Видит Бог, мы поступаем правильно. Мы будем свободны.

Опасаясь сказать то, что я хотел сказать на самом деле: чтобы Обембе одумался и мы пошли домой, что мне страшно за него, — я пробормотал, напуская туману:

— Давай по-быстрому.

Лицо Обембе медленно, точно зажигающаяся керосиновая лампа, озарилось. В тот памятный момент я точно знал: колесико этой лампы поворачивают нежные руки моих мертвых братьев.

— Так и сделаем! — прокричал в темноту Обембе.

Подождав немного, он устремился в сторону реки, а я за ним.

Вылетев на берег, я даже толком не понимал, зачем мы орем, бросившись к Абулу. Может, криком я пытался вновь запустить вдруг вставшее сердце. Или же, потому, что брат мой заплакал, когда мы, точно солдаты прошлого, ринулись в атаку. Или потому, что дух мой катился впереди меня, как мяч по навозному полю. Достигнув берега, мы увидели, что Абулу лежит на спине и громко поет. Позади него тянулась река, оку-

танная покрывалом тьмы. Глаза безумца были закрыты, и даже когда мы накинулись на него с дикими, рвущимися из глубин души воплями, он словно нас не заметил. Джинн, внезапно овладевший нами в тот момент, забрался мне в голову и разорвал в клочья мой рассудок. Мы принялись вслепую хлестать Абулу удочками по груди, лицу, рукам, голове, шее — всюду, куда доставали, — с криками и слезами. Безумец лихорадочно вскочил и принялся в смятении махать руками и отступать назад, неистово крича. Я плотно зажмурился, однако временами все же приоткрывал глаза и видел, как хлещет кровь и летят в стороны куски мяса. Беспомощные крики Абулу потрясли меня до глубины души, но в те мгновения мы с Обембе, как две птицы в клетке, вымещали на нем свой гнев, перескакивая с жерди на жердь, сверху вниз — с пола на свод клетки и обратно. В панике безумец метался и что-то оглушительно громко выкрикивал. Мы продолжали бить его, взмахивали удочками, тянули их на себя, кричали, плакали и всхлипывали, пока ослабевший и весь покрытый кровью Абулу не завыл, как ребенок, и не рухнул с громким всплеском навзничь в воду. Мне как-то сказали, что если человек чего-то хочет, то пока ноги идут,

он цели достигнет — и неважно, насколько она безумна. Так с нами и вышло.

Река уносила тело Абулу, точно раненого левиафана в облаке крови, а позади нас раздались голоса. Кричали на языке хауса. Мы обернулись, все еще во власти эмоций, и увидели, что к нам бегут двое с фонарями. Не успели мы сорваться с места, как один из них схватил меня за пояс брюк. Сильный запах перегара заглушил все прочие. Человек, невнятно тараторя, повалил меня на землю. Мой брат тем временем несся вдоль рощи и звал меня, удирая от второго преследователя, тоже пьяного. Мою же руку словно зажали в клещи — казалось, дернись я, и она оторвется. Пытаясь освободиться, я нашарил удочку и со всей отвагой ударил противника. Закричав, охваченный жгучей болью, он отшатнулся. Фонарик выпал у него из руки, и луч света на мгновение выхватил из тьмы его ботинок. Я сразу понял: это один из солдат, которых мы недавно видели на берегу.

Подхваченный вихрем страха, обезумев, я со всех ног побежал меж домов и кустарников, пока не достиг фургона Абулу. Там остановился и, упершись руками в колени, стал хватать ртом воздух — так, словно кислород мог напитать меня

жизненной силой и успокоить. Тем временем я увидел, что солдат, гнавшийся за моим братом, бежит обратно к реке. Я спрятался за фургоном: сердце колотилось: я боялся, что солдат заметит меня. Я ждал, представляя, как он хватает меня и тащит за собой, но время шло, и вскоре я понял, что видеть меня он не мог: рядом с фургоном не было уличных огней, а ближайший фонарный столб рухнул, и над ним, словно стервятники над падалью, вились мухи. Юркнув в кусты на пятачке, отделявшем фургон от пустыря позади нашего двора, я отполз на приличное расстояние и побежал домой.

Мать уже наверняка закрыла магазин и вернулась, и потому я выбрал окольный путь — через поросячью лужу. Далекая луна освещала землю, и деревья застыли пугающими силуэтами — словно чудовища с темными, неразличимыми лицами. Когда я подбегал к забору, мимо, в сторону дома Игбафе, пролетела летучая мышь. Я проводил ее взглядом, вспомнил про их деда — наверное, единственного человека, кто видел, как Боджа прыгнул в колодец. Он умер в сентябре, в загородной больнице. Ему было восемьдесят четыре. Перелезая через забор, я услышал шепот: у колодца ждал Обембе.

— Бен! — окликнул он меня, вскакивая на ноги.

— Обе, — отозвался я.

— Где твоя удочка? — спросил брат, стараясь унять дыхания.

— Я… бросил ее, — запинаясь, ответил я.

— Зачем?!

— Она застряла в руке у того мужика.

— Правда?

Я кивнул:

— Он схватил меня. Пришлось отбиваться.

Брат, похоже, ничего не понял, и по дороге к помидорным грядкам я все ему объяснил. Затем мы сняли окровавленные футболки и, точно воздушных змеев, перебросили через забор, в кусты. Брат хотел спрятать свою удочку, но когда он включил фонарик, то на крючке мы увидели окровавленный кусок плоти. Пока Обембе соскребал ее о забор, я упал на четвереньки, и меня вырвало.

— Не волнуйся, — успокоил меня Обембе под пение сверчков. — Все кончено.

— Кончено, — не своим голосом повторил я, кивая. Брат, отбросив удочку, подошел и обнял меня.

16. Петухи

Мы с братом были петухами.

Созданиями, что пением поднимают людей, возвещают, словно живые будильники, о наступлении нового дня, а в награду за службу могут угодить на стол к человеку. Убив Абулу, мы сделались петухами, но процесс превращения по-настоящему начался спустя мгновения после того, как мы покинули сад и вошли в дом… где ждал пастор Коллинз, который, казалось, появлялся почти всегда, когда что-то происходило. Пастор уже собирался уходить. Рана на голове у него все еще была заклеена пластырем. Он сидел в кресле у окна, широко расставив ноги — между которых уселась Нкем; она играла и щебетала без умолку. Пастор приветствовал нас зычным голосом. Мать, которую наше отсутствие уже начало беспокоить, точно закидала бы нас вопросами — если бы не гость, а так она просто взглянула на нас с любопытством и вздохнула.

— Рыбаки! — вскинув руки, прокричал пастор Коллинз.

— Сэр, — хором отозвались мы с Обембе. — Доб-

ро пожаловать, пастор.

— Ehen, дети мои. Подойдите и поприветствуйте меня.

Он привстал, чтобы пожать нам руки. Была у него такая привычка — всем при встрече жать руки, даже детям — скромно и с неожиданным почтением. Икенна как-то сказал, что эта его скромность — вовсе не признак глупости и что наш пастор кроток, потому что «рожден заново». Он был старше нашего отца, но телосложением более коренастый.

— Вы давно пришли, пастор? — спросил Обембе, улыбнувшись, и подошел к нему. Хоть мы и выбросили футболки, но от Обембе пахло крапивой, п ***о***том и чем-то еще.

— Да уж порядочно, — ответил пастор, лицо его просветлело. Он прищурился, глядя на часы, съехавшие по руке к запястью. — Часов с шести, наверное. Нет, скорее, с без четверти шесть.

— Где ваши футболки? — растерянно спросила мать.

Я остолбенел. Мы ведь не придумали легенду, совсем о ней забыли. Просто сбросили футболки, испачканные в крови Абулу, и вошли в дом в одних шортах и парусиновых туфлях.

— Было жарко, мама, — после паузы произнес

Обембе, — и они насквозь промокли от пота.

— И… — продолжила мать, вставая и приглядываясь к нам. — Взгляни на себя, Бенджамин, у тебя вся голова в грязи.

Все взгляды устремились в мою сторону.

— Признавайтесь, где были?

— Играли в футбол на площадке возле общественной средней школы, — ответил Обембе.

— Боже! — воскликнул пастор Коллинз. — Ох уж эти уличные футболисты.

В этот момент Дэвид принялся стягивать с себя футболку, и мать отвлеклась на него:

— Ты чего это?

— Жарко же, мама, жарко, мне тоже душно, — ответил наш братик.

— Ах, и тебе жарко?

Дэвид кивнул.

— Бен, включи вентилятор, — велела мать, а пастор Коллинз захихикал. — И марш в ванную, оба, отмойтесь!

— Нет-нет, можно я? — закричал Дэвид. Он быстро подтащил стул к стене, на которой висел выключатель и, забравшись на сиденье ногами, повернул ручку по часовой стрелке. Лопасти с шумом ожили.

Дэвид спас нас: пока все смотрели на него, мы

шмыгнули к себе и заперлись. Шорты мы, конечно, вывернули наизнанку, чтобы скрыть пятна крови, но мать всегда узнавала, если мы в чем-то провинились, так что еще бы немного, и мать точно бы нас расколола.

Едва мы вошли в комнату, Обембе включил лампу, и ее свет заставил меня прищуриться.

— Бен, — сказал брат, его глаза осветились радостью. — У нас получилось. Мы отомстили за них, за Ике и Боджу.

Он снова тепло обнял меня, а я, положив голову ему на плечо, чуть не заплакал.

— Понимаешь, что это значит? — спросил Обембе, отстраняясь, но все еще держа меня за руки.

— Esan — возмездие, — сказал он. — Я много читал и знаю: если бы мы не отомстили, наши братья не простили бы нас и мы не знали бы свободы.

Обембе посмотрел вниз — на левой икре у него темнело пятно крови. Я закрыл глаза и кивнул.

Мы пошли мыться. Обембе поставил в угол ванны ведро с водой. Намылился и принялся смывать с себя пену, периодически зачерпывая воду большим ковшом. Кусок мыла до нас оставили в лужице воды, и он, растворяясь в ней, уменьшился вдвое. Пришлось мыться экономно:

Обембе натер мылом волосы и стал лить воду на голову, чтобы пена, стекая, омывала все тело. Не переставая улыбаться, он затем вытерся большим полотенцем — нашим общим, на двоих. Когда пришла моя очередь лезть в ванну, руки у меня дрожали. Сквозь прореху в москитке на маленьком окне, забранном жалюзи, налетели привлеченные светом жуки и мошки. Теперь они ползали по стенам, а те, что сбросили крылья, образовали живой налет по всей ванной. Я следил за ними, тщетно пытаясь успокоить мысли. Меня накрыло ощущение дикого ужаса, и когда я попытался полить себя водой, то выронил пластиковый ковш, и тот разбился о пол.

— Ах, Бен, Бен, — метнулся ко мне Обембе и взял меня за плечи. — Бен, посмотри мне в глаза.

Я медлил, и тогда он схватил меня за голову и развернул к себе.

— Боишься? — спросил он.

Я кивнул.

— Почему, Бен, почему? Ati gba esan — мы свершили возмездие. Почему, почему, рыбак Бен, тебе страшно?

— Солдаты, — кое-как проговорил я. — Я боюсь их.

— Почему? Что они нам сделают?

— Боюсь, что они придут и убьют нас. Всех нас.

— Тс-с-с, не так громко, — велел Обембе. Я и не заметил, что произнес последние слова в полный голос. — Послушай, Бен, солдаты не придут и не убьют нас. Они нас не знают, поэтому не выследят. Даже не думай об этом. Они не знают, ни кто мы, ни где нас искать. Они же не видели, как ты сюда пришел, правда?

Я покачал головой.

— Так чего же ты боишься? Бояться нечего. Послушай, дни разлагаются, как еда, как рыба, как мертвые тела. И эту ночь точно так же настигнет разложение, ты позабудешь ее. Послушай, мы забудем ее. Ничего, — он горячо замотал головой, — ничего с нами не случится. Никто нас не тронет. Завтра приедет отец, отвезет нас к мистеру Байо, и мы улетим в Канаду.

Обембе встряхнул меня, чтобы я скорей согласился. В те дни я верил, что он сразу видит, когда меня удается переубедить, полностью перевернуть мои убеждения или наивные познания, как переворачивают вверх дном чашку. И часто случалось, что мне это было необходимо и что я нуждался в неизменно поражавшей меня мудрости брата.

— Понимаешь? — снова встряхнул меня Обем-

бе.

— Скажи, а что мама с папой? Их солдаты тоже не тронут?

— Нет, не тронут. — Обембе ударил кулаком левой руки в раскрытую ладонь правой. — Все с родителями будет хорошо. Они будут жить счастливо и навещать нас в Канаде.

Я кивнул, помолчал еще немного, а потом другой вопрос тигром вырвался из клетки моих мыслей.

— Скажи, — тихо попросил я брата, — а что… что же ты, Обе?

— Я? — переспросил Обембе. — Я? — Он провел ладонью по лицу и покачал головой. — Бен, я же говорил, говорил тебе… Со. Мной. Все. Будет. Хорошо. С тобой. Все. Будет. Хорошо. С папой. И с мамой. Все. Будет. Хорошо. Ах, да все будет замечательно.

Я кивнул. Мои вопросы явно расстроили его.

Из большой черной бочки он взял ковшик поменьше и стал поливать меня. Глядя на емкость, я вспомнил, как Боджа, спасшись в лоне евангелистской церкви Рейнхарда Боннке, убедил и нас принять крещение, дабы мы не угодили в ад. Одного за другим он уговорил нас покаяться и крестил в этой вот бочке. Мне тогда было

шесть, Обембе — восемь. Росту нам не хватало, и пришлось встать на пустые ящики из-под пепси. Боджа по очереди окунал нас головой в воду, пока мы не начинали захлебываться, а потом отпускал и, сияя от радости, обнимал, провозглашал нас очистившимися от грехов.

* * *

Мы уже одевались, когда мать позвала: скорей, пастор Коллинз хочет перед уходом помолиться за нас. Мы вышли и по велению пастора опустились на колени. Дэвид стал настойчиво проситься к нам.

— Нет! Вставай! — гаркнула мать, и Дэвид накуксился, готовый заплакать. — Попробуй только заплакать, вот только попробуй — и я тебя высеку.

— О, нет, Паулина, — рассмеялся пастор. — Дэйв, прошу тебя, не переживай, преклонишь колени, когда я закончу с твоими братьями.

Дэвид уступил, а пастор Коллинз опустил руки нам на головы и начал молиться. Молился он горячо, орошая брызгами слюны наши макушки: просил Господа защитить нас от лукавого. Где-то посреди молитвы он перешел к наставлениям, напоминая об обетованиях Божьих. Под конец

просил, во имя Христа, дабы они стали «нашим уделом». Затем стал просить милости Божьей для нашей семьи:

— …прошу, Отец наш Небесный, помоги этим мальчикам и дай им сил двигаться дальше после трагедий минувшего года. Помоги им в странствии за моря и благослови обоих. Пусть чиновники из канадского посольства одобрят им визы, Боже, ибо Ты способен все наладить, ибо сила — Твоя. — Мать то и дело вставляла громкое «аминь», вслед за ней — и Дэвид с Нкем, да и мы с Обембе вторили приглушенно. Пастор же внезапно запел, перемежая слова шипением и щелчками, и мать присоединилась к нему:

Он всесилен, / всесилен / спасти и сохранить,
Он всесилен, / всесилен / сохранить / тех, кто верит в Него.

Спев эту песню по третьему кругу, пастор вернулся к молитве, на сей раз он молился более одухотворенно. Он затронул тему бумаг, необходимых для визы, помолился о достатке и нашем отце. Затем о нашей матери:

— …Тебе, о Боже, ведомо, как настрадалась эта женщина, за детей своих. Тебе ведомо все, Господь.

Мать давилась плачем, и пастор повысил голос:

— Утри слезы с ее глаз, Господь, — и продолжил на игбо: — Утри ее слезы, Иисусе. Исцели навсегда ее разум. Сделай так, чтобы ей больше не пришлось плакать из-за детей.

После он многократно вознес благодарность за то, что Господь отвечает на его молитвы, а после попросил, «не жалея голоса», сказать «аминь» и на том закончил.

Мы все поблагодарили его, пожали руку. Мать, взяв Нкем, пошла провожать пастора до ворот.

* * *

После молитвы на душе посветлело, и груз, который я принес домой, стал немного легче. Я точно не знал, что послужило тому причиной: то ли заверения Обембе, то ли молитвы. Впрочем, я был уверен: нечто вознесло мой дух из темных глубин. Дэвид сообщил, что «наши бобы на кухне», и когда мать, напевая и пританцовывая, вернулась в дом, мы с Обембе уже сели ужинать.

— Господь наконец победил моих врагов, — пела она, поднимая руки. — Chineke na' eme nma, ime la eke le diri gi…

— Мам, в чем дело, что такое? — спросил Обем-

бе, но мать не слушала и продолжала петь, а мы нетерпеливо ждали, чтобы узнать, что случилось. Глядя в потолок, она исполнила еще песню, потом посмотрела на нас полными слез глазами и сказала:

— Abulu, Onye Ojo a wungo — Абулу, этот злодей, мертв.

Ложка выпала у меня из руки, словно ее выбили, и бобовое пюре шлепнулось на пол. Но мать словно не заметила. Она рассказала нам о том, что узнала: «какие-то мальчишки» убили безумца Абулу. Проводив пастора и возвращаясь домой, мать повстречала соседку, ту самую, что обнаружила тело Боджи в колодце. В радостном возбуждении та как раз шла к нам — сообщить новость.

— Говорят, его убили на берегу Оми-Алы, — продолжила мать, потуже затягивая враппу на поясе. Ткань слегка сползла, когда Нкем подергала мать за подол. — Видите, мой Бог хранил вас от беды всякий раз, как вы по вечерам ходили рыбачить. Да, мы пережили потерю, но вы-то остались целы. Эта река — опасное и страшное место. Вообразите только: тело этого злодея лежит там, на берегу, — сказала она, указывая на дверь. — Видите, мой *chi* жив и наконец-то отомстил за меня. Своим язы-

ком Абулу, как бичом, хлестнул моих сыновей, и теперь этот язык сгниет во рту безумца.

Мать продолжала радоваться, а мы с Обембе пытались понять, что же мы навлекли на себя. Но это было все равно что в ухо человеку заглядывать — будущее оставалось темным и закрытым. Мне просто не верилось, что новость о произошедшем распространилась под покровом ночи так быстро — мы с братом такого не ожидали. Хотели убить безумца и оставить лежать на берегу, чтобы нашли его только тогда, когда он начнет гнить — как Боджа в колодце.

После ужина мы с братом вернулись к себе и молча легли спать. В голове моей роились воспоминания о последних минутах жизни Абулу. Я размышлял о том, какие странные силы овладели мной в момент убийства: руки двигались с такой точностью, такой силой, что с каждым ударом оружие глубоко вонзалось в плоть Абулу. Представил, как его тело в реке облепили рыбы, и в этот момент мой брат — не в силах заснуть — внезапно сел в кровати и заплакал. Он не догадывался, что я тоже не сплю.

— Я не знал… я же ради вас… мы с Беном… мы же ради вас. Ради вас обоих, — всхлипывал он. — Мама, папа, мне жаль. Но мы хотели, чтобы вы

больше не страдали… — дальше я не разобрал, потому что слова Обембе потонули во всхлипах.

Я украдкой наблюдал за братом, и разум мой изнывал от страха перед будущим, которое оказалось ближе, чем мы думали, — и наступило на следующий же день. Я тихонько, самым тихим шепотом, помолился, чтобы завтрашний день никогда не пришел, чтобы по пути он переломал себе ноги.

* * *

Не знаю, когда я заснул, но пробудился от далекого пения муэдзина, созывавшего мусульман на молитву. Было раннее утро, и первые лучи солнца проникали в комнату через окно, которое брат оставил на ночь открытым. Не знаю, спал ли он вообще, но он сидел за столом и читал потрепанную книгу с пожелтевшими страницами. В ней рассказывалось о немце, сбежавшем из лагеря в Сибири; название, правда, я не запомнил. Обембе сидел голый по пояс, ключицы его резко выделялись. За недели, что мы планировали нашу — теперь уже завершенную — миссию, он заметно похудел.

— Обе, — позвал я. Брат испуганно вздрогнул. Резко встал и подошел ко мне.

— Тебе страшно? — спросил брат.

— Нет, — сказал я и тут же добавил: — Но я все еще боюсь, что придут те солдаты.

— Нет-нет, не придут, — покачал головой Обембе. — Но нам все равно лучше не высовываться из дому, пока не приедет отец и мистер Байо не заберет нас в Канаду. Не волнуйся, мы уедем из этой страны, и все останется позади.

— А когда приедет отец?

— Сегодня. Отец возвращается сегодня, а на следующей неделе мы уже полетим в Канаду. Наверное.

Я кивнул.

— Послушай, не надо бояться, — повторил Обембе.

Он посмотрел на меня пустым взглядом, а потом, вынырнув из задумчивости и решив, что напугал меня, спросил:

— Рассказать тебе историю?

Я сказал да. Обембе снова погрузился в мысли и немо пошевелил губами. Затем он заставил себя собраться и стал рассказывать историю Клеменса Фореля, сбежавшего из сибирского лагеря и вернувшегося в Германию. Он все еще рассказывал ее, когда где-то недалеко от нашего дома поднялся шум. Мы сразу поняли, что на улице собралась

толпа. Тогда брат замолчал и посмотрел мне в глаза. Вместе мы вышли в гостиную — мать собиралась идти в магазин и одевала Нкем. На часах было уже девять часов, в комнате пахло чем-то жареным. На столе лежал кусок ямса, а рядом, на тарелке — вилка, в зубцах которой застряло немного яичницы.

Мы сели в кресла, и Обембе спросил у матери, из-за чего шум.

— Абулу, — ответила мать, меняя Нкем подгузник. — Его тело сейчас погрузят на машину и увезут, а еще солдаты ищут мальчишек, убивших его. Не понимаю я этих людей, — сказала она по-английски. — Что плохого в убийстве безумца? Зачем считать этих мальчиков преступниками? Вдруг Абулу внушил им сильный страх, напугал какой-нибудь бедой, которая должна с ними случиться? Разве можно их за это винить? Впрочем, говорят, они еще и с солдатами подрались.

— Солдаты хотят убить их? — спросил я.

Мать посмотрела на меня: ее взгляд выдавал удивление.

— Не знаю. — Она пожала плечами. — Как бы там ни было, вы двое сидите дома — на улицу ни ногой, пока шум не уляжется. Сами понимаете: вы некоторым образом с безумцем связаны, вот

и нечего вам там делать. Живая ли, мертвая, эта тварь больше не вернется в ваши жизни.

Мой брат ответил:

— Да, мама, — и я вторил ему надломившимся голосом. Затем мать попросила нас запереть за ней ворота и входную дверь. Дэвид при этом повторял за ней все распоряжения слово в слово. Я встал и пошел провожать ее до ворот.

— Только не забудьте открыть отцу, он возвращается днем, — напомнила мать.

Я кивнул и поспешно запер ворота, опасаясь, как бы меня не заметили с улицы.

Когда я вернулся в дом, Обембе тут же накинулся на меня и припер к входной двери. Сердце у меня чуть из груди не выскочило.

— Ты зачем об этом маму спросил, а? Совсем дурак? Хочешь, чтобы она снова заболела? Хочешь снова нашу семью разрушить?

Я тряс головой, крича: «Нет!» — на каждый его вопрос.

— Послушай, — задыхаясь, проговорил Обембе. — Им нельзя ничего знать. Понимаешь?

Я кивнул, опустив налитые слезами глаза. Потом Обембе, похоже, сжалился надо мной: смягчился и положил руку мне на плечо, как обычно.

— Послушай, Бен, я не хотел обидеть тебя. Прости.

Я кивнул.

— Не волнуйся, если они придут, то мы просто не откроем, и они решат, что дома никого. Мы будем в безопасности.

Обембе задернул все шторы и запер двери, а затем отправился в комнату Икенны и Боджи, я — за ним. Там мы сели на новый матрас, который недавно купил отец, — кроме него да кровати, в комнате больше ничего не было. Впрочем, всюду я видел следы моих братьев, словно несмываемые пятна. Более светлый участок стены, где прежде висел календарь М.К.О., рисунки и изображения схематичных человечков. На потолке я увидел пауков и паутину — словно знаки, указывающие на то, что с момента гибели братьев прошло уже достаточно много времени.

Обембе сидел молча, точно мертвый, а я следил за силуэтом геккона, который карабкался по тонкой шторке, залитой ярким солнцем, и тут в ворота громко застучали. Обембе быстро утянул меня за собой под кровать, и там мы схоронились в темноте, а в ворота продолжали колотить. Раздались крики: «Откройте! Если есть кто дома, откройте!» Обембе стянул простыню с кровати

чуть не до пола. Я нечаянно задел открытую жестяную банку, придвинув ее к себе — сквозь пленку паутины было видно черное, как смола, нутро. Наверное, это была одна из тех банок, в которых мы хранили улов: рыбешек и головастиков, — просто отец не заметил ее, когда выгребал вещи из комнаты.

Вскоре колотить в ворота прекратили, но мы все так же, затаив дыхание, лежали в темноте под кроватью. В голове у меня пульсировала кровь.

— Ушли, — сказал я брату через некоторое время.

— Да, — ответил он. — Но мы останемся здесь, пока не убедимся, что они не вернутся. Вдруг через забор перелезут и войдут в дом, или… — Он вдруг умолк, словно прислушиваясь к чему-то. Потом сказал: — Переждем.

И мы остались под кроватью. Мне невыносимо хотелось писать, но я не собирался огорчать Обембе и заставлять его бояться.

* * *

В следующий раз к нам в ворота постучались через час или около того. Вслед за тихими ударами послышался знакомый голос отца, он звал нас, спрашивал, дома ли мы. Тогда мы выбрались из-

под кровати и принялись отряхиваться от пыли.

— Быстрей, быстрей, открой ему, — торопил меня брат, устремляясь в ванную — промыть глаза.

Когда я открыл ворота, отец взглянул на меня с широкой улыбкой. На нем были кепка и очки.

— Вы, что спали? — спросил отец.

— Да, папа, — ответил я.

— О, боже правый! Мои мальчики совсем обленились. Ну, скоро все изменится, — весело проговорил он, входя в дом. — А зачем вы все замки позакрывали? Дома же сидите.

— Сегодня ограбление было, — сказал я.

— Посреди дня?

— Да, папа.

Когда я вернулся в дом, отец уже прошел в гостиную и поставил портфель на стул. Разуваясь, отец говорил с Обембе, державшимся позади. Брат спросил:

— Как поездка?

— Отлично, просто отлично, — сказал отец с улыбкой. Не улыбался он уже очень давно. — Бен сказал, в районе кого-то ограбили?

Обембе стрельнул взглядом в мою сторону и кивнул.

— Ого, — произнес отец. — Ну, как бы там ни было, у меня для вас, дети, хорошие новости. Од-

нако сперва вопрос: ваша мать оставила в доме что-нибудь поесть?

— Утром она пожарила ямс, наверняка и на тебя приготовила…

— Твоя порция в тарелке, — закончил мою мысль брат.

Голос у меня задрожал, когда на улице взвыла сирена, и меня снова накрыло страхом, что придут солдаты. Отец заметил это и стал присматриваться ко мне, затем к Обембе — ища то, чего сразу не разглядел.

— Вы как? С вами все хорошо?

— Мы вспомнили Ике и Боджу, — ответил брат и расплакался.

Некоторое время отец слепо смотрел на стену, затем поднял взгляд и сказал:

— Послушайте, вы оба должны оставить все это в прошлом. Вот почему я так стараюсь: занимаю деньги, ношусь туда-сюда — делаю все возможное, чтобы переправить вас в новое место, где ничто не будет напоминать о них. Взгляните на мать, взгляните, что с ней произошло. — Он указал на стену, словно там и стояла наша мать. — Эта женщина настрадалась. А почему? Из-за любви к своим детям. Любви к вам, ко всем вам.

Отец замотал головой.

— Поэтому прошу вас: прежде чем что-либо сделать, что угодно, подумайте о ней. О том, чем это для нее обернется. И только потом — только потом! — принимайте решение. Я не прошу вас думать обо мне. Подумайте о матери. Слышите?

Мы кивнули.

— Хорошо, а теперь принесите поесть. Я что угодно съем, даже остывшее.

Я отправился на кухню, на ходу обдумывая слова отца. Принес ему тарелку жареного ямса с яичницей и вилку. На лице отца вновь появилась широкая улыбка, и за едой он рассказал, как получал для нас заграничные паспорта в лагосском иммиграционном бюро. Он даже отдаленно не представлял, что корабль его потонул и все добро — карта желаний (Икенна=пилот, Боджа=юрист, Обембе=доктор, я=профессор) — пропало.

Затем отец достал пирожные в блестящих обертках и бросил нам по одной штуке.

— А знаете, что главное? — произнес он, роясь в портфеле. — Байо уже в Нигерии. Я звонил вчера Атинуке, и мы с ним поговорили. На следующей неделе он приедет сюда и отвезет вас в Лагос получать визы.

На следующей неделе…

Возможность уехать в Канаду вновь показа-

лась такой реальной, что я приуныл: ждать до следующей недели было слишком долго. Мне так хотелось уехать. Я думал, мы соберем вещи и переберемся в Ибадан, переждем в доме мистера Байо, а когда визы будут готовы, то сразу оттуда и отправимся в путь. Никто бы не выследил нас в Ибадане. Так хотелось предложить это отцу, но я боялся реакции Обембе. Впрочем, позднее, когда отец, поев, лег вздремнуть, я рассказал о своих мыслях брату.

— Мы так себя выдадим, — возразил Обембе, не отрываясь от книги, которую читал.

Я тщетно попытался придумать ответ.

Брат покачал головой:

— Слушай, Бен, не надо, не мучайся. И не волнуйся, у меня есть план.

Вечером вернулась мать и сообщила отцу новости: в районе обыски, а на улицах толкуют о мальчишках, удочками убивших Абулу. Отец спросил нас, почему мы не рассказали ему об этом.

— Я думал, ограбление важнее, — ответил я.

— К нам приходили? — спросил он, строго глядя на нас из-за стекол очков.

— Нет, — ответил Обембе. — Я спал меньше Бена, но ничего не слышал — только как ты

приехал.

Отец кивнул.

— Должно быть, он хотел что-то напророчить этим мальчишкам, и те дали ему бой, испугавшись, что предсказание сбудется, — сказал он. — Жаль, что в этого человека вселился такой дух.

— Наверное, так все и было, — согласилась мать.

Весь вечер родители говорили о Канаде: отец поведал матери о поездке с не меньшим пылом, чем нам, а у меня жутко разболелась голова. К тому времени как я отправился спать — раньше всех, — мне стало так дурно, что я приготовился распрощаться с жизнью. Желание перебраться в Канаду разгорелось с неистовой силой, я готов был уехать даже без Обембе. Оно жгло меня еще долго, даже после того, как отец уснул, развалившись в кресле и громко храпя. Спокойствие и уверенность покинули меня, их место занял леденящий душу страх. Я боялся, что нечто, чего я еще не мог угадать, но что уже чуял, — произойдет еще до конца этой недели. Вскочив, я растолкал брата. Он лежал, укрывшись враппой, но явно не спал.

— Обе, надо все рассказать родителям, чтобы

отец увез нас, спрятал в Ибадане, у мистера Байо. Чтобы мы смогли через неделю уехать в Канаду.

Я выпалил все, точно заученный текст. Обембе выбрался из-под враппы и сел.

— Через неделю, — пробормотал я, задыхаясь.

Брат не ответил. Он смотрел на меня, словно не видя, а потом снова лег и скрылся под враппой.

* * *

Где-то посреди ночи, задыхаясь и обливаясь потом, все еще чувствуя головную боль, я услышал:

— Бен, проснись, проснись.

Меня растолкали.

— Обе, — ахнул я.

Первые несколько секунд я его не видел, но потом разглядел, как он носится по комнате, выгребает вещи из шкафа и складывает их в сумку.

— Вставай, идем. Надо уходить, этой же ночью, — сказал он, размахивая руками.

— Что, из дома уйти?

— Да, немедленно, — прервавшись на мгновение, зашипел на меня брат. — Послушай, я прикинул шансы: солдаты могут нас найти. Когда я убегал с реки, меня видел тот старый священник. Он меня узнал. Я его чуть с ног не сбил.

Обембе ясно увидел, как в ответ на это открове-

ние мой взгляд наполняется страхом. Ну почему, думал я, Обембе не сказал об этом сразу?

— Боюсь, священник нас выдаст. Так что уходим, сейчас же. Солдаты могут заявиться к нам этой же ночью и опознать нас. Я не спал и слышал шум на улице. Если они не придут ночью, то утром уж точно. Или днем. Если нас поймают, то посадят в тюрьму.

— И что нам делать?

— Уходить, уходить — иначе никак. По-другому ни себя, ни родителей — особенно маму — не защитить.

— Куда же мы пойдем?

— Куда угодно, — начиная плакать, ответил Обембе. — Слушай, ты ведь и сам знаешь: утром нас поймают.

Я хотел ответить, но слова не шли на язык. Тогда Обембе отвернулся и расстегнул рюкзак.

— Ты что, разве не идешь? — спросил он, обернувшись и увидев, что я не тронулся с места.

— Нет. Куда идти-то?

— Едва рассветет, они придут и обыщут дом. — Голос у Обембе надломился. — Нас найдут. — Брат умолк и присел на краешек кровати. Но, не просидев и секунды, снова вскочил. — Нас найдут. — Он мрачно покачал головой.

— Мне страшно, Обе. Мы не должны были убивать Абулу.

— Не говори так. Он погубил наших братьев и заслуживал смерти.

— Не надо убегать, Обе. Отец найдет нам адвоката, — простодушно заявил я, задыхаясь от всхлипов. — Давай не будем убегать.

— Послушай, не глупи. Солдаты убьют нас! Мы ранили одного из них, и нас расстреляют как Гидеона Оркара[18], сам ведь знаешь. — Он подождал, пока до меня дойдет. — Представь, что с мамой будет. Солдаты — люди Абачи, в стране военный режим. Сбежим куда-нибудь — может, в деревню и оттуда напишем домой. Родители все устроят, встретят нас, отвезут в Ибадан, а оттуда мы полетим в Канаду.

Последние слова Обембе на время приглушили мои страхи.

— Ладно, — согласился я.

— Тогда собирайся, быстро, быстро.

Он подождал, пока я сложу свои вещи в сумку.

— Быстрей, быстрей, я слышу, как мама молится. Еще зайдет проведать нас.

---

[18] Примечания: 18

Майор Гидеон Гваза Оркар (1952–1990), нигерийский военный; в апреле 1990 года попытался свергнуть правительство генерала Бабангиды, но потерпел неудачу и был казнен.

Пока я запихивал свою одежду в один рюкзак, а нашу обувь — в другой, Обембе стоял, приникнув ухом к двери. Потом, не успел я ничего сообразить, он выскочил в окно со своей сумкой и обувью. В темноте едва виднелся его силуэт — я с трудом разглядел протянутые ко мне руки.

— Бросай мне свои вещи! — шепнул Обембе.

Бросив брату рюкзак, я сам выпрыгнул наружу и упал. Брат помог мне встать, и мы побежали через улицу, что вела к нашей церкви, мимо домов, погруженных в глубокий сон. Лампы на верандах да редкие уличные фонари почти не разгоняли ночную тьму. Обембе постоянно вырывался вперед и, дождавшись меня, бежал дальше. Останавливаясь, шепотом подгонял меня: «Давай-давай» или «Бегом-бегом». Страх усилился. Восставали из своих могил воспоминания, и странные видения сковывали мои движения. Я то и дело оборачивался на наш дом, пока он не скрылся из виду. Позади нас луна прорвалась сквозь облака и окрасила улицу и спящий город в серые тона. Откуда-то, перекрывая отдаленный шум, доносилось многоголосое пение под аккомпанемент барабанов и колокольчиков.

Мы пробежали приличное расстояние и, хотя в ночи разглядеть было трудно, добрались, на-

верное, до середины района. Внезапно отцовское наставление: «…Прежде чем что-либо сделать, что угодно, подумайте о ней. О том, чем это для нее обернется. И только потом — только потом! — принимайте решение…» — пронзило мой разум, и я словно наткнулся на невидимый прут. Я потерял равновесие, точно сошедший с рельсов товарный вагон, сердце загудело. Я не заметил, как оказался на земле.

— В чем дело? — спросил, обернувшись, Обембе.

— Я возвращаюсь.

— Что? Бенджамин, ты рехнулся?

— Я возвращаюсь.

Обембе подошел ко мне, и я, испугавшись, что он потащит меня за собой дальше, вскрикнул:

— Нет-нет, не подходи, не подходи! Позволь мне вернуться домой.

Обембе не остановился, и тогда я, вскочив на ноги, попятился. Из рассаженных коленок у меня сочилась кровь.

— Постой! Постой! — крикнул брат.

Я остановился.

— Я тебя не трону, — как бы сдаваясь, поднял Обембе руки.

Сбросив рюкзак, он подошел ко мне. Обнял и,

как только его руки оказались у меня на плечах, попытался увлечь за собой. Но я, как любил делать Боджа, поставил ему ножку, и мы оба повалились на землю. Мы боролись, и при этом Обембе повторял, что мы должны бежать вместе, а я умолял отпустить меня назад, к родителям, чтобы они не теряли нас обоих. Наконец я вырвался, порвав рубашку.

— Бен! — позвал Обембе, когда я отбежал на некоторое расстояние.

Я плакал, уже не сдерживаясь. Брат смотрел на меня, раскрыв рот. Он всегда сразу понимал, что к чему, и видел: я был твердо намерен вернуться.

— Если не идешь со мной, то передай им… — попросил он дрожащим голосом. — Передай папе с мамой, что я… сбежал.

Он едва мог говорить. Сердце его разрывалось от горя.

— Передай, что мы — ты и я — сделали это ради них.

В один миг я оказался рядом и обнял его. Обембе крепко прижал меня к себе, погладил по затылку. Он долго плакал у меня на плече, затем отстранился. Некоторое время он пятился, потом побежал. Но вдруг остановился.

— Я тебе напишу! — крикнул он.

И вот тьма поглотила его. Я дернулся вслед брату и прокричал:

— Нет, не уходи, Обе! Не уходи, не бросай меня! — Но его уже и след простыл. — Обе! — снова позвал я, в отчаянии бросаясь за ним. Однако Обе не остановился: похоже, он уже не слышал меня. Я споткнулся, упал и снова поднялся. — Обе! — еще громче, еще отчаянней позвал я в темноту, выйдя на дорогу. Ни слева, ни справа, ни впереди, ни позади я брата не увидел. Ни следа его. Кругом было тихо, ни души. Обембе исчез.

Я опустился на землю и снова разрыдался.

17. Мотылек

Я, Бенджамин, был мотыльком.

Хрупким созданием, что греется на свету, но вскоре теряет крылья и падает на землю. Когда умерли Икенна и Боджа, я почувствовал, будто укрывавший меня полог сорвало, но когда убежал Обембе, я рухнул с высоты вниз, как мотылек, у которого в полете вырвали крылья. Я превратился в существо, способное отныне лишь ползать, но не летать.

Я всегда жил подле братьев. Я рос, глядя на них, следуя их примеру, проживая свой вариант ранних лет их жизней. Без них я никогда ничего не делал — особенно без Обембе, от которого — почерпнувшего много мудрости от старших братьев и впитавшего еще больше из книг — я полностью зависел. Я жил с ними, полагался на них до того, что даже мысли у меня в голове появлялись, предварительно родившись в головах у них. И даже после смерти Икенны и Обембе я не сильно изменился, ведь рядом по-прежнему был Обембе — со своими ответами на мои вопросы. Но вот и он пропал, оставив меня на пороге двери,

в которую я боялся войти. Не то чтобы мне было страшно жить одному, я просто оказался к этому не готов, не знал, что делать.

Когда я вернулся, наша комната показалась мне мертвой: пустой и темной. Я лежал на полу и плакал, в то время как мой брат убегал, с рюкзаком на спине и маленькой дорожной сумкой в руке. Тьма над Акуре постепенно рассеивалась, а он все бежал, обливаясь потом и задыхаясь. Должно быть, он бежал — вдохновленный историей Клеменса Фореля — как из лагеря для военнопленных. Пронесся тихой, темной улицей — до самого конца. Остановился ненадолго, глядя на пересечение дорог и решая, в какую сторону двигаться дальше. Но, как и Фореля, его мучил страх погони, и этот же страх наделял его разум мощностью турбины, заставляя мысли крутиться быстро-быстро. Должно быть, Обембе часто спотыкался и падал в ямы, запутывался в ползучих стеблях. Его одолевали усталость и жажда. Должно быть, он взмок от пота, покрылся пылью и грязью. Но он мчался дальше, неся в душе черное знамя страха. Страха, наверное, и за меня: что станет со мной, его братом, вместе с которым он пытался потушить пламя, охватившее наш дом. Пламя, грозившее в ответ пожрать нас самих.

Мой брат, вероятно, все еще бежал, когда небо посветлело и наша улица пробудилась, содрогнувшись от громких криков и выстрелов — как будто в город вошла вражеская армия. Слышались приказы, вой, стук в двери, яростный быстрый топот. Жужжали пули, щелкали бичи. Все эти звуки собрались воедино у наших ворот: пришло с полдюжины солдат. Когда отец открыл им, его отпихнули в сторону. Один военный пролаял, точно раненый пес:

— Где они? Где эти малолетние преступники?

— Убийцы! — сплюнул другой.

Испугавшись шума, Нкем разревелась. Мать принялась стучаться ко мне:

— Обембе, Бенджамин, проснитесь! Проснитесь!

Но тут раздался громкий топот, и ее перебили. Послышался крик, визги, и кто-то упал на пол.

— Прошу вас, прошу, они невиновны, невиновны.

— Молчать! Где мальчишки?

В дверь моей комнаты принялись колотить руками и ногами.

— Открывайте немедленно, или мы взломаем дверь и застрелим вас.

И я открыл.

* * *

Домой я вернулся спустя три недели после того, как меня забрали и я вступил в новый и пугающий мир без старших братьев. Я вернулся помыться. По настоянию мистера Байо, адвокат Биодун убедил судью отпустить меня — даже не под залог, а просто съездить домой, принять ванну. Отдышаться. Отец передал, что мать волнуется: как же так, я уже три недели не мылся. Всякий раз, как он передавал слова матери, я силился вообразить, как именно она это говорила, ведь за те три недели я сам почти ничего от нее не слышал. Мать вернулась в то же состояние, в какое погрузилась после гибели Икенны и Боджи, — ее вновь осадили невидимые пауки горя. И хотя она молчала, каждый взгляд ее и каждый жест словно бы содержали в себе тысячу слов. Я избегал матери, уязвленный ее горем. Когда умерли Икенна и Боджа, кто-то сказал, что, потеряв ребенка, мать теряет частичку себя. Перед вторым заседанием она поила меня фантой — я хотел сказать ей что-то, но не сумел. Дважды во время суда мать теряла самообладание и разражалась криками или плачем. Один раз это случилось, когда обвинение во главе с очень темнокожим

мужчиной — в черной мантии он напоминал киношного демона — настаивало, что мы с Обембе виновны в преднамеренном убийстве.

В день перед первым заседанием адвокат Биодун посоветовал мне отвлечься и сосредоточиться на чем-нибудь постороннем — на окне, на барьере, отделяющем меня от судей… да на чем угодно. Конвой — охранники в коричневой форме — привел меня на встречу с ним, старым другом отца. Адвокат всегда улыбался и излучал уверенность, что порой раздражало. Они с отцом пришли ко мне в маленькую комнату для свиданий, а младший надзиратель запустил секундомер. В комнате стоял запах застарелого дерьма, постоянно напоминавший о школьном туалете. Адвокат Биодун просил меня не волноваться, заверив, что мы выиграем дело. При этом он добавил, что на суд будут оказывать давление, ведь я ранил одного из солдат.

В последний день моего ускоренного суда адвокат, раньше всегда такой уверенный в себе, уже не улыбался. Он был мрачен и тих. Экран его лица, на котором я прежде читал эмоции, подернулся рябью. Отец отвел меня в угол зала заседаний и открыл правду о том, что стало с его глазом, а потом подошел адвокат и сказал:

— Мы сделаем все, что в наших силах, остальное — в руках Божьих.

Забрать меня приехал пастор Коллинз — на своем фургоне, вместе с отцом и мистером Байо, который почти не виделся с собственной семьей в Ибадане и постоянно приезжал в Акуре — в надежде, что меня наконец отпустят и он заберет меня с собой в Канаду. Я его почти не узнал: с тех пор как мы виделись последний раз — а мне тогда было годика четыре, — он сильно изменился. Кожа у него сильно посветлела, а на висках пробилась седина. Говоря со мной, мистер Байо делал паузы, как водитель, который время от времени замедляет ход и после вновь ускоряется.

На бортах фургона стояло имя нашей церкви: «Церковь Ассамблей Бога, Акуре, Арароми» — и девиз жирным шрифтом: «Приходи какой есть, но выйди обновленным». Со мной разговаривали мало, потому что я почти не отвечал на вопросы, только кивал. С тех пор как меня забрали в тюрьму, я избегал бесед с родителями и мистером Байо. Не мог смотреть им в лицо. Отца так сильно поразило, что я выбросил на ветер свое спасение — шанс начать новую жизнь в Канаде, — что он только чудом, наверное, сохранял невозмутимое спокойствие. Я больше откровенничал с

адвокатом, человеком с тонким, как у женщины, голосом. Биодун часто — чаще остальных — заверял меня в скором освобождении и слово «скоро» повторял постоянно.

Однако по пути домой я не выдержал и все же задал вопрос, что вертелся у меня в голове:

— Обембе уже вернулся?

— Нет, — сказал мистер Байо, — но скоро вернется. — Отец хотел было что-то сказать, но мистер Байо перебил его, добавив: — Мы уже послали за ним. Он придет.

Я уже хотел спросить, как его нашли, но тут отец произнес:

— Да, это правда.

Я подождал немного и спросил отца, где же его машина.

— У Боде, на ремонте, — коротко ответил он. Обернулся и посмотрел мне прямо в глаза, и я поспешил отвести взгляд. — Со свечами проблемы, — пояснил отец. — Плохие свечи.

Говорил он по-английски, потому что мистер Байо был из йоруба и не понимал игбо. Я кивнул. Машина тем временем въехала на разбитую дорогу, и пастор Коллинз, подобно прочим горожанам, вырулил на обочину, чтобы не трястись на ухабах. Мы ехали почти вплотную к подлеску,

и о борт машины терлись стебли слоновой травы и прочих растений.

— С тобой хорошо обращаются? — спросил мистер Байо.

Он сидел вместе со мной сзади, а между нами лежали церковные брошюры, книги и листовки, и почти на всех них было одно и то же изображение пастора Коллинза с микрофоном.

— Да, — сказал я.

Меня не били, не мучали, но было чувство, что я солгал, потому как меня запугивали и унижали на словах. В первый день, когда из глаз моих безостановочно лились слезы, а в груди грохотало сердце, один из тюремщиков назвал меня «мелким убийцей». Но вскоре он исчез — после того как меня поместили в пустую камеру без окон, с решеткой вместо двери, сквозь прутья которой можно было разглядеть лишь соседние камеры. В них, словно звери в клетках, сидели заключенные. В некоторых камерах, кроме узников, больше ничего и не было. В моей имелся истрепанный матрас, ведро с крышкой, куда я испражнялся, да бочонок с водой, наполняемый раз в неделю. В камере напротив сидел светлокожий мужчина — шрамы, рубцы и грязь по всему телу и на лице придавали ему зловещий вид. Он сидел

в углу, слепо глядя на противоположную стену, совершенно невыразительно, словно в ступоре. Позднее он стал мне другом.

— Бен, тебя там не били? — уточнил пастор Коллинз, когда я ответил на вопрос мистера Байо.

— Нет, сэр, — сказал я.

— Бен, скажи правду, — обернувшись, попросил отец. — Прошу, скажи правду.

Наши глаза встретились. На этот раз я не сумел отвести взгляд и вместо ответа заплакал.

Мистер Байо сжал мою руку, приговаривая:

— Прости, прости. Ma su ku mo — не плачь. — Ему очень нравилось говорить на йоруба со мной и моими братьями. Во время предыдущего визита в Нигерию, в 1991-м, он часто шутил, дескать, мы с братьями, будучи детьми, освоили йоруба, язык Акуре, лучше, чем родители.

— Бен, — ласково позвал пастор Коллинз. Мы тем временем приближались к нашему району.

— Сэр?

— Ты великий человек и останешься таковым. — Он вскинул руку. — Даже если тебя посадят — а я надеюсь, что во имя Христа, они этого не сделают…

— Да, аминь, — вставил отец.

— …Но если все же дело закончится этим, знай:

нет ничего более великого и важного, чем пострадать за своих братьев. Нет ничего более великого! Господь наш Иисус говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»[19].

— Да! Воистину, — истово кивая, прорыдал отец.

— А ведь если тебя посадят, то ты пострадаешь не просто за друзей, но за братьев своих. — В ответ раздалось очень громкое «Да» отца и «Истинно, истинно так, пастор», с иностранным акцентом, мистера Байо.

— Нет ничего более великого, — повторил пастор.

Отец повторял свое «Да» до того рьяно, что даже пастор замолчал. А закончив, отец поблагодарил пастора — со скорбью в голове, но от всей души. Остаток пути мы провели в молчании. И хотя страх перед тюремный заключением усилился, мысль о том, что любой исход я приму во имя братьев, утешала. Странное было чувство.

К тому времени, как мы добрались до дома, я напоминал сам себе разбитый глиняный горшок, наполненный пылью. Дэвид все крутился вокруг

---

[19] Примечания: 19
Ин. 15:13.

меня, держась, однако, на приличном расстоянии и избегая моего взгляда. Всякий раз, как я тянулся взять его за руку, он отшатывался. Я бродил по дому, точно жалкий бродяга, внезапно оказавшийся при дворе короля. Я ступал осторожно и в свою комнату не заходил. Каждый шаг воскрешал прошлое с такой отчетливостью, что захватывало дух. Меня мало заботили дни, что я проводил в похожей на клетку камере с грунтовым полом, где на долгое время единственной компанией мне стала книга. Заботило то, как мое заключение сказалось на родителях, особенно на матери, а еще меня волновало, где сейчас брат. Моясь, я все размышлял о том, что рассказал мне отец на предыдущей неделе в зале суда.

— Ты должен кое-что знать, — сказал он мрачным голосом, ведя меня в угол, и я заметил слезы у него на глазах. Когда мы уединились и никто не мог нас подслушать, отец кивнул и выдавил улыбку, не желая показывать горя. Потом снова взглянул на меня и пальцем смахнул слезы. Снял очки и посмотрел на меня больным глазом. Он почти не снимал очков с того дня, как вернулся после операции. Слева у него на лице остался шрам. Наклонившись ко мне, отец взял меня за руку.

— Ge nti, Азикиве, — тихо произнес он на игбо. — Ты совершил великий поступок. Ge nti, eh. Не сожалей, но матери о том, что я сейчас скажу, — ни слова.

Я кивнул.

— Хорошо, — еще тише произнес он на английском. — Она об этом узнать не должна. Видишь ли, мне не удаляли катаракту… — Отец пристально посмотрел на меня. — Меня ранил безумец, которого ты потом убил.

— Ах! — вскрикнул я, и люди стали оборачиваться. Даже мать посмотрела в нашу сторону. В это время она сидела поодаль, с Дэвидом, обхватив руками свое слабое тело.

— Я же просил не кричать, — испуганным ребенком напомнил отец, оглядываясь на мать. — Понимаешь, когда безумец заявился на прощание с твоими братьями, меня это очень оскорбило. Мне стало стыдно, и я решил, что с меня довольно. Захотел убить его своими руками, раз уж на это не решаются ни окружающие, ни правительство. Я отправился к Абулу с ножом, но стоило приблизиться к нему, как он выплеснул мне в лицо содержимое котелка. Убитый тобой человек едва не ослепил меня.

Пока я пытался переварить сказанное отцом,

он нервно переплел пальцы. Перед моим мысленным взором встал тот день: образ очень живой, будто мучительная сцена из настоящего. Отец встал и вернулся на свое место, а я остался гадать, как рыба плавает в реке Оми-Ала и не идет ко дну и как она противостоит течениям.

Закончив мыться, я обтерся отцовским полотенцем и завернулся в него. Потом заново прокрутил в уме слова, сказанные отцом перед возвращением домой:

— Байо уже получил для вас визы. Если бы ничего не случилось, вы оба уже летели бы в Канаду.

Мне снова стало грустно, и в гостиную из ванной я возвращался в слезах. Мистер Байо сидел напротив отца, сложив руки на коленях и неотрывно глядя на него.

— Присаживайся, — произнес он. — Бенни, когда окажешься в зале суда, не бойся. Ничего не бойся. Ты ребенок, а убитый тобой человек был не просто безумцем. Он причинил тебе зло. Сажать тебя за это нельзя. Так что иди и скажи, как все было, и тебя отпустят. — Помолчав, он добавил: — О, нет, не надо плакать.

— Азикиве, я же просил, не надо, — напомнил отец.

— Нет, Эме, не так, он всего лишь ребенок, — сказал мистер Байо. — Тебя отпустят, и уже на следующий день я заберу тебя в Канаду. Я ведь поэтому задержался — жду тебя. Слышишь?

Я кивнул.

— Тогда, прошу, утри слезы.

От упоминания о Канаде сердце снова пронзила боль. Я подумал, как близок был к тому, чтобы отправиться в страну с фотографий, которые мистер Байо присылал нам, жить в доме из досок, среди деревьев, что на зиму сбрасывают листья и под которыми позировали на велосипедах его дочери Кеми и Шайо. Подумал о западном образовании, этом чаемом мной чуде, — упустив его, я не сумел осчастливить отца. Меня переполняло чувство упущенной возможности, и я, совершенно не думая, упал на колени, обхватил ноги мистера Байо и принялся умолять:

— Пожалуйста, мистер Байо, заберите меня прямо сейчас. Разве вы не можете забрать меня прямо сейчас?

Они с отцом молча переглянулись.

— Папа, прошу тебя, скажи ему, чтобы забрал меня, прямо сейчас! — умолял я, сложив ладони. — Прошу, папочка, попроси его увезти меня прямо сейчас.

Отец спрятал лицо в ладони и заплакал. До меня впервые дошло, что отец, наш папа, сильный мужчина, не может мне помочь: он превратился в ручного орла, со сломанными когтями и сильно изогнутым клювом.

— Послушай, Бен, — начал мистер Байо, но я уже не слушал. Я представлял себе полет на настоящем самолете, парящем в небе, точно птица. Пройдет много времени, прежде чем я соображу, что сказал мистер Байо: — Я не могу забрать тебя сейчас, потому что, знаешь ли, тогда твоего отца арестуют. Сперва надо предстать перед судом. Не беспокойся, тебя отпустят. У них нет другого выбора.

Он сунул мне в руку платочек и сказал:

— Утри слезы, пожалуйста.

Я зарылся лицом в платок, чтобы хоть на мгновение закрыться от мира, который превратился в грозящее спалить меня, крохотного мотылька, озеро пламени.

18. Белые цапли

Дэвид и Нкем были белыми цаплями.

Белыми, как овечья шерсть, птицами, что стаями пролетают по небу после бури: их крылья не запятнаны, их жизни чисты. И хотя мои младшие брат и сестра стали цаплями посреди бури, они пережили ее и встали на крыло, когда мой мир изменился.

Первым был отец. В следующий раз, когда мы увиделись, у него была седая борода. А увиделись мы в день моего освобождения, спустя шесть лет. Родные пришли ко мне, изменившиеся до неузнаваемости. Вид отца меня огорчил: худой и жилистый, он словно превратился в серп под ударами кувалды судьбы. В его голосе слышалась какая-то затаенная обида. Казалось, будто в пещере его рта залежались обломки несказанных слов: они заржавели, и всякий раз, как отец заговаривал, их разбрасывало по языку. За прошедшее время он явно много лечился, но всех перемен в нем так сразу было не заметить.

Мать тоже сильно постарела. Голос у нее, как и у отца, приобрел тяжесть, слова не слетали с ее уст,

но выползали наружу, словно ожиревшие. Мы сидели на деревянной скамье в приемной тюрьмы, ожидая, пока начальник поставит в документах последнюю подпись, и отец рассказывал, что, после того как мы с Обембе покинули дом, мать снова стала видеть пауков, но вскоре оправилась. Я, слушая его, смотрел на противоположную стену: там висели портреты омерзительных людей в форме и некрологи, напечатанные на дешевой бумаге. Синяя краска поблекла и покрылась плесенью из-за сырости. Я заставил себя сосредоточиться на часах, висевших там же, на стене, потому что часов давно не видел. Времени было пять сорок две — короткая стрелка приближалась к отметке шесть часов.

Однако сильнее всего поражали перемены в Дэвиде. Внешне он стал копией Боджи. Но если у Боджи характер был живой, то Дэвид держался застенчиво и сдержанно — на этом различия, правда, заканчивались. На территории тюрьмы мы только обменялись приветствиями, и по-настоящему брат заговорил со мной, только когда мы оказались в центре города. Ему сравнялось десять. Это был тот самый мальчик, для которого мать в месяцы беременности (и после, до рождения Нкем) пела песни. Мы тогда все верили,

что еще не рожденному ребенку песни матери в радость. Едва мать начинала петь и приплясывать, как мы с братьями, зачарованные ее голосом, собирались вокруг. Икенна хватался за ложки и барабанил по столу. Боджа принимался насвистывать, подражая звукам флейты. Обембе просто дудел в такт, как на дудочке. Я же, подхватывая ритм, хлопал в ладоши, а мать повторяла строчки:

Iyoghogho Iyogho Iyoghogho, Ийогого Ийого Ийогого,

Ka'nyi je na nke Bishopu Идем к епископу,
na five akwola на часах уже пять.

Ihe ne ewe m'iwe bun Печаль моя лишь оттого,
a efe'm akorako что белье не просохло,

Nwa'm bun aafo Но радостно оттого,
na'ewe ahuli что дитя под сердцем счастливо.

Мне вдруг сильно захотелось притянуть Дэвида к себе и крепко его обнять, но тут отец, словно отвечая на незаданный мною вопрос, сказал:

— Дома сносят. Повсюду.

Где-то вдалеке кран на глазах у толпы сносил дом. Чуть раньше я уже видел похожую сцену где-то возле заброшенного общественного туалета.

— Почему? — спросил я.

— Хотят обновить и расширить город, — не глядя на меня, ответил братишка. — Новый губернатор велел снести большинство домов.

Об изменениях в правительстве мне рассказывал проповедник, единственный, кого ко мне пускали. Из-за моего малого возраста судья счел пожизненное заключение или даже смертную казнь неадекватной мерой. Но и в детскую колонию меня не отправили, так как я совершил убийство. Посему меня приговорили к восьми годам тюремного заключения без права на свидания и переписку. Финальное заседание суда хранилось в моей памяти, точно в запечатанной бутылке, и часто по ночам, когда над ухом звенели москиты, я то и дело мельком видел сцены из зала суда: колышущаяся зеленая занавесь и судья на подиуме, глубоким гортанным голосом оглашающий приговор:

— …будешь отбывать срок, пока общество не сочтет тебя зрелым и способным вести себя цивилизованно, принятым в человеческом сообществе образом. В свете этого и властью, дарованной

мне судебной системой Федеральной Республики Нигерия, а также опираясь на рекомендации присяжных проявить снисходительность — ради твоих родителей, мистера и миссис Агву, — настоящим приговариваю тебя, Бенджамин Азикиве Агву, к восьми годам тюремного заключения без права на контакты с родными, до тех пор, пока ты, ныне десятилетний, не достигнешь возраста совершеннолетия, то есть восемнадцати. На этом судебное заседание объявляю закрытым.

* * *

Политика тюрьмы разрешала проповедникам навещать заключенных. Один из таких, евангелист Аджайи, приходил ко мне примерно раз в две недели, и именно через него я узнавал, что да как во внешнем мире. За неделю до того, как я узнал, что меня выпустят, Аджайи сообщил: власть в Нигерии впервые переходит от военных к гражданским, и Олусегун Агагу, новый губернатор штата Ондо со столицей в Акуре, объявил амнистию некоторым заключенным. Отец сказал, что мое имя возглавляло список счастливчиков. И так, знойный день 21 мая 2003 года стал днем, когда я вышел на свободу. Впрочем, повезло не всем. Через год после того, как меня

посадили, в 1998-м, Аджайи принес известие о смерти диктатора Абачи: генерал сдох, изойдя пеной. Поговаривали, будто он съел отравленное яблоко. Затем, ровно месяц спустя М.К.О, главный узник Абачи и его заклятый враг, умер почти точно так же — выпив чашку чая — накануне собственного освобождения.

Злоключения М.К.О. начались спустя несколько месяцев после нашей с ним встречи. Результаты выборов 1993 года — когда все уже думали, что победа у него в руках, — аннулировали. Последовавшая за этим цепь событий погрузила политику Нигерии в глубочайшую грязь. На следующий год, когда мы всей семьей устроились в гостиной смотреть выпуск новостей, то увидели сюжет: резиденцию М.К.О. в Лагосе окружили тяжеловооруженные солдаты, человек двести, и военная техника (даже танки пригнали). Самого Вождя забрали на тюремной машине. Обвинили в государственной измене, и началось его долгое заключение. Я хоть и был в курсе его несчастий, но все же известие о его смерти произвело эффект удара утяжеленным кулаком. Той ночью я не мог заснуть и лежал на матрасе, накрывшись маминой враппой и размышляя о том, как много этот человек значил для меня и моих братьев.

Когда мы пересекали участок реки Оми-Алы — самый широкий на территории города, — я заметил лодку с рыбаками. Забросив сети, они плыли по мутной воде. Вдоль дороги тянулся длинный ряд фонарей, укрепленных в бетонном разделителе полос. Постепенно открывали свои мертвые глаза забытые детали Акуре. Многое изменилось за шесть лет в городе, где я родился и по земле которого ходил. Дороги стали настолько широкими, что торговцев оттеснило от густых потоков машин и грузовиков на многие метры. Над полосами, от обочины к обочине, провели пешеходный мост. Доносившиеся отовсюду крики торговцев, нахваливающих товар, отпугивали созданий, что тихо закрались мне в душу. Когда мы встали в пробке, к нам подбежал человек в выцветшей футболке с символикой «Манчестер Юнайтед». Он принялся стучаться к нам, пытаясь пропихнуть буханку хлеба в окно со стороны матери, и она поспешила поднять стекло. А впереди, за тысячью ревущих в нетерпении и гудящих машин, под пешеходным мостом медленно разворачивался в обратную сторону мощный грузовик с прицепом. Этот динозавр мира автомобилей и стал причиной затора.

Все, что меня сейчас окружало, резко контра-

стировало с проведенными в тюрьме годами: там я только и делал, что читал, смотрел, молился, плакал, разговаривал сам с собой, надеялся, спал, ел и думал.

— Многое изменилось, — заметил я.

— Да, — сказала мать. Она улыбнулась, и я урывками стал вспоминать, как ее терзали пауки.

Я снова стал смотреть на улицу. Когда мы приближались к дому, я невольно произнес:

— Папа, Обембе так и не вернулся?

— Нет, ни разу не объявился, — резко ответил отец и покачал головой.

В этот момент я попытался поймать взгляд матери, но она смотрела в окно, и я встретился глазами с отцом — тот смотрел на меня в зеркало заднего вида. Мне захотелось рассказать, что Обембе несколько раз писал мне из Бенина: он теперь живет с одной женщиной — она любит его и приняла как сына. Наутро после побега брат сел на автобус до Бенина. Он писал, что вспомнил о Бенине из-за истории великого *Обы* Овонрамвена[20], бросившего вызов владычеству Британской империи. Приехав в город, Обембе

---

[20] Примечания: 20

Овонрамвен Ногбаиси, король Бенина (годы правления: 1888–1897). В результате британской военной операции лишился власти и бежал. Позднее он сдался и был изгнан в Калабар.

увидел выходящую из машины женщину и смело подошел к ней. Сказал, что ему негде спать. Она жила одна и, пожалев Боджу, приютила его. Обембе писал, что случилось нечто такое, что меня огорчит, и нечто такое, о чем мне пока знать рано и чего я еще не пойму. Правда, он пообещал рассказать обо всем позже. Из того, что он все же мне открыл, я понял: приютившая его женщина — одинокая вдова, а еще мой брат стал мужчиной. В том же письме он сообщал, что вычислил точную дату моего освобождения — 10 февраля 2005 года — и обещал в этот день вернуться в Акуре. Игбафе должен был держать его в курсе всего, что со мной происходит.

Игбафе и приносил его письма. Они с Обембе встретились, когда брат попытался — спустя шесть месяцев после своего побега — вернуться домой. Обембе проделал весь путь до дома, но войти во двор побоялся. Тогда он отыскал Игбафе, и тот, рассказав обо всем, обещал передавать мне письма. Следующие два года Обембе писал почти каждый месяц, и Игбафе передавал письма через младших тюремщиков, которых всякий раз подмазывал. Часто Игбафе приходилось задерживаться, пока я строчил ответ. А потом, спустя три года он вообще перестал приходить, и я так и не

узнал, в чем причина и что стало с Обембе. Шли дни, месяцы, годы, но новостей не было. Время от времени приходили весточки от отца и один раз — от Дэвида. Я стал перечитывать письма — всего шестнадцать — от Обембе, пока содержание последнего, датированного 14 ноября 2000 года, не стало болтаться в моей памяти, словно сок внутри кокоса.

Послушай, Бен!

Один я пока не могу предстать перед родителями. Не могу. Во всем виноват только я, во всем. Это я пересказал Ике слова Абулу, которых он не расслышал из-за самолета — моя вина. Я был так глуп, так глуп. Послушай, Бен, даже ты пострадал из-за меня. Я хочу вернуться к родителям, но один перед ними предстать не могу. Я вернусь в день, когда тебя выпустят, и тогда мы вместе подойдем к ним и попросим за все прощения. Ты будешь нужен мне в этот момент.

Обембе

И вот, подумав о письме, я вдруг вспомнил про Игбафе: может, через него удастся выяснить, почему Обембе перестал писать? Но стоило спро-

сить, живет ли еще Игбафе в Акуре, как мать уставилась на меня в сильнейшем удивлении.

— Наш сосед? — уточнила она.

— Да, сосед.

Мать покачала головой.

— Он умер.

— Что? — ахнул я.

Мать кивнула. Игбафе пошел по стопам отца и сделался водителем грузовика. Два года возил лес в Ибадан. Он погиб в аварии, когда его машина съехала в кювет, прямо в образовавшуюся из-за мощной эрозии яму.

Я слушал, затаив дыхание. Мы же выросли, играя вместе с этим мальчишкой. Я знал его всю жизнь, он вместе с нами рыбачил на Оми-Але. Это была ужасная новость.

— И давно это случилось?

— Года два назад или около того, — ответила мать.

— Неверно! — вмешался Дэвид. — Два с половиной.

Я глянул на него, охваченный сильным ощущением дежавю. Это было то ли в 1992-м, то ли в 1993-м, то ли в 1994-м, а может, вообще в 95-м или 96-м: Боджа точно так же поправил мать. Но сейчас ее поправил не Боджа, а самый младший

из его братьев.

— Да, — ответила она с полуулыбкой, — два с половиной года назад.

Смерть Игбафе потрясла меня еще сильнее оттого, что в то время я даже не мог вообразить себе такого: пока я сижу в тюрьме, кто-то из знакомых может погибнуть. Однако умерли многие: мистер Боде, автомеханик, был из их числа. Он тоже погиб в автокатастрофе. Отец писал об этом в письме, которое буквально сочилось негодованием. Последние строчки надолго останутся в моей памяти:

Каждый день молодые гибнут на обветшалых и неровных участках шоссе, в этих смертельных ловушках, которые называются дорогами. Да, эти болваны в столице заявляют, что наша страна выживет. Все наши беды от бед с их головами и лжи.

На дорогу выбежала беременная женщина, и отец дал по тормозам. Женщина виновато замахала руками и перебралась наконец через проезжую часть. Тем временем мы оказались в начале нашей улицы, хотя я не сразу ее узнал. Ее подчистили и возвели новые здания. Казалось, обновили все, будто сам мир родился заново.

Знакомые дома возникали в поле зрения, точно просветы на свежем поле битвы. Я увидел место, где некогда стоял фургон Абулу. От машины осталось только несколько кусков металла — словно поваленные деревья в зарослях крапивы. Там паслись, механически поклевывая землю, курица и ее цыплята. Зрелище меня удивило. Стало интересно, куда же делся фургон. Кто его убрал? Я снова задумался об Обембе.

Чем ближе мы подъезжали к дому, тем больше я думал о брате, и эти мысли стали угрожать моей детской радости. Мне стало казаться, что мечтам о солнечном завтра — если Обембе не вернется — скоро придет конец. Они рухнут и умрут, как изрешеченный пулями человек. Отец сказал, что мать считает Обембе мертвым. Четыре года назад, вернувшись после годового заключения в Мемориальной психиатрической клинике епископа Хьюза, она закопала его фото в землю. Ей приснилось, что Абулу убил Обембе — точно как родного брата, пришпилив его к стене копьем. Во сне мать пыталась снять Обембе со стены, но он медленно испустил дух у нее на глазах. Поверив, будто Обембе и правда мертв, она погрузилась в траур: плакала, не слушая слов утешения. Отец был не согласен, но счел благоразумным — ради

ее скорейшего выздоровления — не спорить. Так ему посоветовал друг, Генри Обиалор: все пройдет само, если ей не перечить. Поначалу Дэвид и Нкем отказывались принимать это на веру, заявляя, что если Абулу к этому времени был уже мертв, то он не мог убить Обембе. Однако отец уговорил их сделать вид, что они согласны. Он сопровождал мать на похоронах. Она заставила его пойти, пригрозив наложить на себя руки. Но закопали в песок, рядом с Икенной, конечно, не Обембе, а лишь его фото.

Отец так изменился, что во время беседы совсем не смотрел в глаза. Это я заметил еще в приемном зале тюрьмы, когда он рассказывал о матери. Прежде он был сильным человеком, неуязвимым, всегда отстаивал свою многодетность: хочу столько потомков, чтобы наш клан добился успехов в самых разных областях.

— Мои дети станут великими, — говорил он. — Адвокатами, врачами, инженерами. Вот взгляните, наш Обембе стал солдатом.

Многие годы он таскал с собой этот мешок грез, даже не подозревая, что в нем завелись могильные черви. Это был мертвый груз, уже тронутый тленом.

Домой мы приехали почти в темноте. Ворота

нам открыла девочка, в которой я сразу же — хоть и не без удивления — узнал Нкем. У нее было лицо матери, а ростом она намного превышала обычную семилетку. На спину ей ниспадали длинные косички. Увидев ее, я сразу же понял: Нкем и Дэвид — это цапли. Белоснежные, издалека похожие на голубей птицы, прилетающие после бури, целыми стаями. Они оба хоть и родились до бури, потрясшей наш дом, сами в ней не пострадали. Они ее пропустили, как человек, спящий в самый разгар жестокого шторма. Даже первое длительное отсутствие матери из-за болезни стало для них тихим дуновением ветерка, а не шквалом, и потому не разбудило.

За цаплями водилась еще и слава предвестников благих времен. Считалось, что ногти они чистят лучше любой пилки. Всякий раз, завидев в небе цапель, мы и прочие дети Акуре бежали за ними, призывно махали руками вслед низколетящей белой стае, повторяя одну и ту же кричалку:

— Цапля, цапля, сядь сюда!

И чем сильнее ты махал руками, тем быстрее кричал, а чем сильней ты махал руками и чем быстрее кричал, тем белее, чище и ярче становились ногти. Я думал об этом, когда сестренка устремилась ко мне и тепло обняла. Расплакав-

шись, она повторяла и повторяла:

— С возвращением, брат Бен.

Ее голос звучал словно музыка для моих ушей. Родители и Дэвид остались позади, у машины, и смотрели на нас. Я говорил Нкем, как я рад наконец вернуться, и тут кто-то дважды свистнул. Вскинув голову, я увидел тень — она мелькнула за забором, рядом с колодцем, из которого много лет назад достали Боджу. Это зрелище поразило меня.

— Там кто-то есть, — сказал я, тыча пальцем в полутьму.

Никто и с места не стронулся. Меня будто не слышали. Все просто стояли и смотрели. Отец обнимал мать, а на лице Дэвида играла широкая улыбка. Взглядами они то ли просили меня выяснить, в чем дело, то ли показывали, что я ошибаюсь. Но стоило мне взглянуть на то место, где годы назад подрались мои старшие братья, и я увидел, как кто-то карабкается на забор. Я пошел в ту сторону, и сердце в груди вновь принялось колотиться в безумном ритме.

— Кто здесь? — громко позвал я.

Никто сперва не ответил, никто не пошевелился. Тогда я обернулся, хотел спросить у родных, что же это было, но все они смотрели на меня, по-

прежнему не говоря ни слова. Окутанные тьмой, они напоминали силуэты на черном заднике. Тогда я снова повернулся к забору и увидел, как на его фоне поднялась тень.

— Кто здесь? — снова спросил я.

Наконец тень ответила мне — громко и отчетливо, словно момент, когда я последний раз слышал этот голос, и настоящее не разделяло ничего: ни суд, ни решетки, ни руки конвоиров, ни наручники, ни барьеры, ни годы, ни километры. Словно минувшее было лишь мгновением, которое потребовалось прощальному крику Обембе, чтобы прозвучать и стихнуть. Или так: лишь интервалом между тем мигом, когда я услышал: «Это я, твой брат Обе», и тем, когда понял, что это он.

Тень двинулась ко мне, и я замер. Сердце встрепенулось вольной птицей. Это он, мой верный брат, появился передо мной во плоти, как цапля — после бури в моей жизни. И пока он шел ко мне, я вспомнил, как в последний день суда мне привиделось его возвращение. Перед тем, как в тот день я подошел к барьеру, отец заметил, что я снова плачу. Тогда он отвел меня в угол, к огромным аквамариновым стенам.

— Сейчас не время, Бен, — шепнул он. — Нет…

— Знаю, папа, мне только маму жаль, — ответил я. — Передай, пожалуйста, ей, что нам жаль.

— Нет, послушай меня, Азикиве, — произнес отец. — Ты выйдешь к суду как мужчина, каким я всегда хотел тебя видеть. Выйдешь к суду как мужчина, каким ты был, взяв в руки оружие, чтобы отомстить за братьев. — Он жестами изобразил великана, а по носу у него скатилась слеза. — Ты расскажешь, как все было. Расскажешь, как настоящий мужчина, каким я тебя воспитывал: как грозный гигант. Как… помнишь, как…

Он умолк, поглаживая себя по бритой голове и силясь вспомнить нужное слово, которое затерялось на задворках его разума.

— Как рыбаки, какими вы однажды были, — наконец произнес отец. Губы у него дрожали. — Слышишь, Бен? — Он встряхнул меня. — Я спросил: ты меня слышишь?

Я не ответил. Просто не мог, хоть и заметил суматоху у дверей зала: приближались конвоиры. Народу прибывало, среди прочих пришли репортеры с камерами. Видя это, отец нетерпеливо произнес:

— Бенджамин, ты не подведешь меня.

Я вовсю плакал, и сердце б*у*хало у меня в груди.

— Слышишь меня?

Я кивнул.

Позднее, когда все заняли свои места и обвинитель — гиена — описал нанесенные Абулу увечья («…на теле многочисленные раны, нанесенные рыболовными крючками, вмятина в черепе, прокол кровеносного сосуда в грудной клетке…»), судья попросил меня высказаться в свою защиту.

И когда я встал, в голове у меня зазвучало отцовское напутствие: «…Как грозный гигант». Я обернулся и взглянул на родителей, сидевших вместе, рядом с Дэвидом. Отец кивнул мне. Потом одними губами произнес что-то, и я кивнул ему в ответ. Он улыбнулся. Я позволил словам свободно течь, голос мой парил над арктической тишиной зала. Я начал так, как всегда хотел начать:

— Мы были рыбаками. Я и мои братья стали…

Мать издала громкий пронзительный крик, напугав и переполошив весь зал. Отец попытался зажать ей рот, просил вести себя потише — шепотом, срываясь на крик. Все внимание обратилось на него, пока он то просил прощения у судьи: «Мне очень, очень жаль, ваша честь», то принимался снова успокаивать мать: «Nne, biko, ebezina, eme na'ife a — не плачь, не надо». Однако я не смотрел на них. Мой взгляд оставался прико-

ван к зеленым занавесям, скрывающим тяжелые и покрытые пылью жалюзи на высоких окнах. Сильный порыв ветра всколыхнул шторы, сделав их похожими на зеленые флаги. Я закрыл глаза и ждал, отдавшись темноте, пока шум стихнет. И вдруг увидел силуэт человека с рюкзаком за плечами. Он шел домой — тем же путем, что и покинул его. Он уже почти дошел, почти вернулся, но тут судья трижды стукнул молоточком по столу и произнес:

— Можешь продолжать.

Я открыл глаза, откашлялся и начал заново.

Благодарности

Роман подписан лишь моим именем, однако создавались «Рыбаки» трудами многих. Среди них:

Унсал Озунлу — великий учитель и первый читатель, мой турецкий отец; Бехбуд Мохаммадзаде, мой лучший друг, бесценный брат; Ставрула, сопровождавший меня почти до самой последней страницы; Николас Дельбанко, помощник, пастырь, прививавший мне добрые привычки; Эйлин Поллак — зоркий читатель, соколиный глаз, исписывала поля рукописи заметками красным; Кристина, чей отклик в корне поменял ситуацию; Андреа Бошан, добрый помощник; Лорна Гудисон, источник мира и любви…

Джессика Крейг, первоклассный агент, проводник, друг, с которым мне всегда спокойно; Элена Лаппин, заказчик и редактор, невидимая рука за каждой страницей, ее вера просто безгранична; Джуди Клейн — редактор и источник веселья; Адам Фройденхайм, изумительный издатель — терпеливый, даже когда чаша его терпения переполнена; Хелен Зелль, настоящий рог изобилия и подарок для авторов…

Билл Клегг, который подбадривал меня с самого начала, вестник добра; Питер Штейнберг, который первым рассказал всем о книге; Аманда Броуэр, самая проворная; Линда Шонесси, агент, разослабшая книгу всем и вся; Питер Хо Дэвис, мой расторопный вестник; Эмека Окафор; Берна Сари; Агнес Круп, Д.В. Гибсон и чудесные люди из «Ледиг Хауз» (Аманда Кертин, Франсиско Хагенбек, Марк Пастор, Саския Джейн, Ева Бонне и остальные); мои чудесные единомышленники по творчеству, великие писатели, и сокурсники с факультета писательского мастерства Мичиганского университета, посиневшие от чернил…

Папа, отец многих; Ннем, наша мать; тетушка, мой историк; сестры — Мария, Джой, Келечи, Пис; братья — Майк, Чиназа, Чуквума, Чарльз, Псалм, Лаки, Чидибере. Эта книга посвящается вам…

Еще я благодарен всем, кого просто не успеваю здесь упомянуть. Знайте: и вы приложили руку к созданию этой книги. Я благодарен вам не меньше, чем тем, кого перечислил выше. И в сотни раз большую благодарность выражаю моим читателям.